

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. ГОРЬКОГО

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XVIII–XIX ВЕКОВ

Тексты

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2001

ББК Ч 612.18
О–826

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Уральского государственного
университета им. А. М. Горького

Научный редактор М. М. Ковалева
Составитель Л. Д. Иванова

Отечественная журналистика XVIII–XIX веков: Тексты. Екате-
О–826 ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 400 с.
ISBN 5–7996–0116–5

Книга включает тексты по истории отечественной журналистики XVIII–
XIX веков, а также документы и материалы, характеризующие политику
правительства в области печати.

Предназначена для студентов факультетов и отделений журналистики.

ББК Ч 612.18

ISBN 5–7996–0116–5

© Л. Д. Иванова, составление, 2001
© Уральский государственный университет, 2001

От составителя

Предлагаемое издание включает тексты, предусмотренные программой курса «История отечественной журналистики XVIII–XIX веков». При отборе материалов учитывались требования государственного образовательного стандарта по специальности «Журналистика».

Журнальные и газетные публикации XVIII–XIX веков, вошедшие в книгу, дают представление о становлении журналистики как профессиональной деятельности, о процессе формирования основных принципов и функций российской печати. Каждый раздел книги завершается текстами документов и материалов, отражающих политику правительства в этой области.

Впервые приводятся публикации славянофилов, образцы фельетонов 30-х годов XIX века, а также материалы из общероссийской массовой газеты «Северная пчела». Новым по сравнению с подобными изданиями является раздел «Журналисты 1950–1960-х годов о вопросах литературы и искусства», позволяющий полнее представить особенности развития отечественной журналистики середины XIX века в контексте духовной культуры общества. Он включает эстетические манифесты представителей основных течений литературно-художественной критики – «эстетического» («искусства для искусства») и «реального», а также полемические статьи 60-х годов.

Многие тексты представлены в полном варианте, некоторые – в отрывках или сокращении, при этом логический строй изложения сохранен. Указаны год и место первой публикации, а также источник, из которого они заимствованы.

Тексты приводятся в хронологической последовательности, сопровождаются внутритекстовыми и подстрочными примечаниями. Стилистические, орфографические и пунктуационные особенности языка эпохи в большинстве случаев сохранены.

XVIII ВЕК

1. ЖУРНАЛИСТИКА ПЕРИОДА МОНОПОЛИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

УКАЗ ОТ 16/28 ДЕКАБРЯ 1702 ГОДА

Декабря 16. Именной. *О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях.* Великий государь указал: по Ведомостям о воинских и о всяких делах, которые надлежит для объявления Московского и окрестных государств людям печатать Куранты, а для печати тех Курантов, Ведомости в которых приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать из тех приказов в Монастырской приказ, без мотчания (волокиты. – *Примеч. сост.*), а из Монастырского приказа те Ведомости отсылать на Печатный двор и о том во все приказы из Монастырского приказа послать памяти.

Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. 4. С. 201.

«ВЕДОМОСТИ» (1702–1727)

1702. 16 декабря

Ведомости с цесарских писем, присланных через почту в нынешнем 1702-м году декабря в 5 день.

...Из Франкфурта пишут:

Французы паки (снова. – *Примеч. сост.*) реку Рейн перешли и тут окопались. Цесарской же генерал, хотя их оттуда выгнать, пушки большие готовит.

...Из Гаги, октября в 16 день:

Французы город Лутих покинули и в цитадель вобрались.

Из Амстердама, октября в 17 день:

Все французские письма сказывают, что серебряной корован в Вигос в целости приплыл, нагружения же до удивления мало.

Из Аугсбурга пишут октября во 12 день:

Цесарские люди восемь кораблей с запасом на Денаве реке от баерских взяли.

На Москве, 1702, декабря 16.

Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. М., 1952. Вып. 1. С. 38–42.

1703. 2 января

На Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 400. Те пушки ядром по 24, по 18 и 12 фунтов. Гоубицы бомбом пудовые и полупудовые. Мартиры бомбом девяти, трех и двухпудовые и меньше. И еще много форм готовых великих и средних к литью пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 пуд. лежит.

Повеление его величества московские школы умножаются и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили.

В математической штурманской школе больше 300 учатся и добре науку приемлют.

На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеска и женска полу 386 человек.

Из Персиды пишут: Индейский царь послал в дарах великому Государю нашему слона и иных вещей немало. Из града Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путем.

Из Сибири пишут: В Китайском государстве езуитов вельми не стали любить за их лукавство, а иные из них смертью казнены...

На Москве, 1703, генваря в 2 день.
Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. М., 1903. С. 3.

1709. 2 июля

Из лагара от Полтавы в двадцать седьмый день июня, в письме власныя (собственной. – *Примеч. сост.*) руки его царского величества ко благороднейшему государю царевичу писано:

Объявляю Вам о зело превеликой и неначаемой виктории, которую господь бог нам чрез неописанную храбрость наших салдат даровати изволил с малою войск наших кровию таковым образом.

Сего дня на самом утре жаркий неприятель нашу конницу со всею армеею конною и пешею отаковал, которая хотя зело по достоинству держалась, однакоже принуждена была уступить, токмож с великим убытком неприятелю. Потом неприятель стал во фронт против нашего лагара, против которого тотчас всю пехоту из странжемента (искаж. «ретраншемент», т. е. внутренняя оборонительная ограда. – *Примеч. сост.*) вывели, и перед очи неприятелю поставили. А конница наобоих фланках. Что неприятель увидя, тотчас пошел отаковать нас. Против которого наши встречу пошли, и тако оного встретили, что тотчас с

поля збили, знамен и пушек множество взяли. Також генерал фетл-маршал Штакенберхом, Гамольтоном и Розеном, також первый министр граф Пипер с секретарми Емерлином и Цидергермом в полон взяты, при которых несколько тысяч офицеров и рядовых взято, о чем подробну вскоре писать будем, а ныне за скоростию невозможно. И единым словом сказать, вся неприятельская армия фаетонов конец (намек на миф о гибели Фазтона. – *Примеч. сост.*) восприяла. А о короле еще не можем ведать, с нами ли или со отцы нашими обретается (убит. – *Примеч. сост.*). А за достальными розбитыми неприятельми посланы господа генералы порутчики, князь Голицын и Боур с конницей. И о сей у нас неслыханой новине воздаем мы должное благодарение победодателю богу, а вас и господ министров и всех наших сею викториєю поздравляем.

Приведен еще князь Виртельбергской, сродственник самого короля шведского.

Получено и печатано в Москве 1709-го, июля в 2 день.
Ведомости времен Петра Великого. Вып. 2. М., 1903. С. 24–25.

1720. 17 декабря

Сего декабря в 13 день, здесь в Санктпитебурхе на площади, сожжен богохульник и иконоборец Шуйского уезда Василия Змиева крестьянин Ивашка Красный за то, что октября 23 дня сего-ж 720 году, как было в Москве из соборной церкви Успения просвятия богородицы крестное хождение в соборную ж церковь чудотворного образа пресвятой богородицы именуемого казанская, он, Ивашка, обругал спасителей образ и животворящий крест господень в Никольских воротах бил палкою и для того пойман и прислан в Санктпитебурх.

В расспросе и с розысков с трех пыток и с огня в том ругательстве и иконоборстве и что на восточную апостольскую церковь возлагал хулу, винился и сказал, что он умысля, по образу спасителю и по кресту господню бил палкою, и в таковом богопротивном намерении соборной апостольской церкви не покорился и святого покаяния и святых пречистых тайн отрекся, да он же винился в злом умысле на убийство царского величества.

Печатано в Санктпитебурге, 1720, декабря в 17 день.
Пекарский П. Наука и литература при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 2. С. 500.

**Известия о северном морском ходе россиян
из устьей некоторых рек, впадающих в ледяное море,
для проводывания восточных стран**

...Уже больше 100 лет прошло, как от реки Лены к востоку находящиеся реки Яна, Индигирка, Алазея и Колыма, чрез посыланные в разные времена казацкие партии известны учинились. Но понеже в сии места сухим путем ездить было трудно, а соединение помянутых рек с рекою Леною посредством ледяного моря способнее казалось, то чрез немалое время водяной путь предпочтен был сухому пути.

Оной водяной путь отправлялся судами, называемыми кочи, которые обыкновенно в Илимском уезде при устье реки Куты, или в нужном случае на других местах, также и при самых впадающих в ледяное море реках строились, и притом такую пользу имели, что на оных как по рекам, так и по морю ходить можно было. Длиною они были в 12 сажен, с палубою, с парусами и якорями. Но между прочими неспособностями находился в них также и сей недостаток, что они за неискусством в мореплавании только прямым ветром ходили, а боковых ветров с пользою употреблять не умели.

Елисей Юрьев, прозванный Буза, Енисейской казачей десятник, был первой, которому по Енисейского воеводы Прокофья Федоровича Соковнина в 1636 году приказано было сии земли сыскивать, и так он в 1637 году с десятью человеками служивых, которых он взял с собою из Олекминского острогу, и с 40 человеками промышленных людей туда отправился, и по тогдашним запискам прибыл он из Олекминского острогу в две недели к устью реки Лены.

Сей отправленной десятник по силе данной ему инструкции, по которой он должен был все впадающие в ледяное море реки проводить, живущие при оных реках язычные народы в ясашный платеж привести, и по силе того пошел он сперва в ближайшие от Лены места, а именно, к находящейся от нее на запад реке Оленек, до которой он от устья реки Лены на парусах в один день дошел. В 1637 году собрал помянутый Елисей Буза с тамошних тунгузов ясак, и притом построил на устье впадающей с востоку в Оленек реки Пирикты ясашное зимовье, а на другой год поехал он с своими товарищами сухим путем чрез горы к Лене реке, и построил весною на устье впадающей

между Жиганом и Сиктатом с западной стороны в Лену реки Молоды два коча, и отправился на оных летом в 1638 году на второй путь.

К морю пришел он в 10 дней и, ехавши потом пятеры сутки по морю способным ветром на восток, пришел к устью Яны реки и по оной пошел вверх в самое то время, как отправленная из Якуцка партия казаков сухим путем туда прибыла, которая проведавши верхние места Яны реки отправились далее сухим же путем для проведения рек Индигирки и Алазеи.

В низу Яны реки жили тогда юкагиры, а в верьху якуты, у которых Буза зимовал; и понеже в верхних местах лесу довольно было, которого внизу оной реки не находится, то строил он там четыре новые коча, и на оных следующим летом 1639 году опять в море отправился.

Потом отправил он казака Прокофья Лазарева сына Козлова с 4-мя промышленными на одном коче с собранною в реке Яне ясашною казною назад на реку Лену. Сие судно прибыло в 10 дней к устью реки Лены, в Жиганы в 3 недели, а потом в Якуцк пришло; как сие из поданного в Якуцкую канцелярию сентября 17 дня 1640 году репорта довольно явствует. А сам пошел он с 17 человеками служивых и промышленных людей опять в море.

В 1641 году прибывши в Якуцк первой воевода Петр Петрович Головин, которой тогда был стольник, а потом окольничий, как сей город, так и прочие к нему принадлежащие места привел в лучшее состояние.

В августе месяце 1641 году подали помянутому воеводе Головину некоторые казаки челобитную, чтоб повелено было их отпустить морем на реку Яну, которую тогда Янгою и Югандою называли. Они желали туда ехать на собственном своем коште без обыкновенного провианту, а напротив того обязались они пред прежним ясашным сбором с устья реки Яны в прибавку два срока соболей ясаку в казну привести; по которому обязательству их желание исполнено.

В 1642 году прибыл вышеобъявленной десятник Елисей Буза назад в Якуцк, и вновь о своих изобретениях никакого дальнего известия с собою не привез, кроме двух юкагирских аманатов (заложников. – *Примеч. сост.*), которые объявляли о некоторой между Яною и Индигиркою в ледяное море впадающей реке, называемой Нерога, что над оною рекою в крутой горе серебряная руда находится, и что немного повыше серебряной руды живет в сделанных в земле юртах

некоторой народ, называемый Наттила, у которых много серебра находится, и пропитание имеют они только от рыбной ловли, по тому, что река Нерога весьма рыбою изобильна.

И понеже такое объявление к получению впредь великого сокровища немалую надежду подало, то посланы немедленно люди, которым о истине того обстоятельнее осведомиться велено; но из всего ничего подлинно не нашлось, так что имени реки Нероги после того времени не слышно было, и никакой реки там не находится, разве разуместь под сим именем реку Хрому.

В 1642 году от помянутых казаков предприят был первой морской путь из реки Индигирки в Алазею; после которого времени вскоре и Колыма, или Ковыма, река известна учинилась, так что в 1643 году на реке Алазее уже один юкагирский шаман с Колымы реки в аманатах содержался. А в 1646 году помянутые казаки дошли и до Колымы реки, и в следующие три года на оной реке три ясашных зимовья или не большие остроги построили, которые после того главною причиною восточного морского ходу из устья Лены были.

Тогдашнего богатства Колымы реки для великих собольих промыслов, и для бывшего там с неверными народами весьма прибыльного торгу, довольно описать не можно. Во всех трех зимовьях были всегдашние ярманки, от чего оные малые остроги Нижнею, Середнею и Верхнею Ярманкою названы, так что еще и поныне от построенных тогда там торговых лавок некоторые знаки видны; ибо, кроме посыланных туда казаков за ясашным сбором, ездили также многие российские торговые и промышленные люди ежегодно морем, хотя и не без великого страху, убытку и трудности.

Сие по большей части от того происходило, что между двумя большими реками Чендоном и Хромою, которые между двумя другими реками Яною и Индигиркою падают в ледяное море, протянувшись далеко на север в ледяное море великой нос, которой тогда Святым назван и часто в морском ходу препятствовал. Сверх того иногда море не было так долго ото льду чисто, чтоб на таких худо оснащенных судах свободно ходить можно было; иногда зима рано становилась, и суда на пустых местах, или в дальнем расстоянии от земли нечаянно замерзали; а иногда от случающихся в сих местах жестоких ветров не весьма крепкие суда у морских берегов разбивались...

В Санкт-Петербурге июня 21 дня 1742 года, с. 197–202.

«Примечания» к «Ведомостям». Ч. 50 и 51.

**О должности журналистов в изложении ими сочинений,
назначенных для поддержания свободы рассуждений***

Всякий знает, как стали значительны и быстры успехи наук с тех пор, как было сброшено иго рабства и место его заступила свобода суждения. Но нельзя знать также, что злоупотребление этой свободы было причиною весьма ощутительных зол, число которых однако ж далеко не было так велико, если б большая часть пишущих не смотрела на свое авторство как на ремесло и на средство к пропитанию, вместо того чтоб иметь в виду точное и основательное исследование истины...

... Вот правила, которыми нужным считаем заключить это рассуждение и которые советуем затвердить хорошенько как лейпцигскому журналисту, так и всем его собратьям:

1. Кто берется сообщить публике содержание новых сочинений, должен наперед взвесить свои силы, ибо он предпринимает труд тяжелый и весьма сложный, которого цель не в том, чтобы передавать вещи известные и истины общие, но чтоб уметь схватить новое и существенное в сочинениях, принадлежащих иногда людям самым гениальным. Говорить о них неверно и нерассудительно — значит подвергать себя презрению и посмеянию, значит уподобиться карлу, который захотел бы поднять на своих плечах горы.

2. Чтобы быть в состоянии произнести приговор искренний и справедливый, надобно освободить свой ум от всякого предрассудка, от всякого предубеждения и не требовать, чтобы авторы, которых мы беремся судить, рабски подчинялись идеям, господствующим над нами, считая и без того этих писателей нашими истинными врагами, с которыми мы призваны вести открытую войну.

3. Сочинения, о которых отдается отчет, должны быть разделены на два разряда: к первому принадлежат сочинения одного автора, писавшего их как частное лицо; к второму — труды, издаваемые це-

* Статья написана Ломоносовым в 1754 году на латинском языке в ответ на ряд рецензий с необоснованной критикой его работ по физике в немецких изданиях 1752-1754 годов. Напечатана в 1755 году при содействии немецкого ученого Л. Эйлера на французском языке в научном амстердамском журнале без подписи автора; на русском языке впервые опубликована в «Сборнике материалов для истории Академии наук в XVIII веке» (СПб., 1865. Ч. 2).

лыми корпорациями с общего согласия, по тщательном их рассмотрении. И те и другие заслуживают, конечно, всякого внимания и уважения со стороны критика. Нет такого сочинения, которое не требовало бы соблюдения естественных законов справедливости и приличия. Нельзя однако ж не согласиться, что нужно вдвое больше осторожности, когда дело идет о сочинениях, уже носящих на себе печать уважительного одобрения, просмотренных и признанных достойными издания от лиц, которых совокупные знания превосходят сведения журналиста, и прежде, нежели он решится указать недостатки и осуждать, он должен неоднократно взвесить то, что намерен сказать, для того, чтобы быть в состоянии поддержать и оправдать свои слова, если в том встретится надобность. Так как сочинения этого рода бывают обыкновенно тщательно обработаны и предметы в них рассматриваются систематически, то малейшие пропуски могут подать повод к опрометчивым суждениям, которые сами по себе постыдны, но становятся такими еще более, когда в них ясно высказывается небрежность, невежество, поспешность, дух партий и недобросовестность.

4. Журналист не должен торопиться порицать гипотезы. Они позволительны в предметах философских, и это даже единственный путь, которым величайшие люди успели открыть истины самые важные. Это как бы порывы, доставляющие им возможность достигнуть знаний, до которых умы низкие и пресмыкающиеся в пыли никогда добраться не могут.

5. Особенно же пусть журналист запомнит, что всего бесчестнее для него красть у кого-либо из своих собратьев высказываемые им мысли и суждения и присвоивать их себе, как будто бы он сам придумал их, тогда как ему едва известны заглавия книг, которые он уничтожает. Так бывает часто с наглым рецензентом, который отваживается делать извлечения из сочинений физических и медицинских.

6. Журналисту позволено опровергать то, что по его мнению заслуживает того в новых сочинениях, хотя это вовсе не настоящее его дело и не прямое призвание. Но кто уже раз берется за то, должен вполне ознакомиться с мыслями автора, разобрать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные доводы прежде, нежели он присвоит право осуждать другого. Одни сомнения и произвольные вопросы не дают этого права, ибо нет такого невежды, который не мог бы предложить гораздо более

вопросов, нежели самый сведущий человек в состоянии разрешить. Журналист не должен особенно воображать, что непонятное и необъяснимое для него, таково же и для автора, который мог иметь свои причины к тому, чтобы сократить или опустить некоторые обстоятельства.

7. Наконец, никогда не должен иметь слишком высокого мнения о своем превосходстве, и о достоинстве своих суждений. Выполняемое им дело само по себе уже неприятно для самолюбия тех, кого он затрагивает: было бы с его стороны очень неблагоприятно оскорблять их намерения и вынуждать к обнаружению его бессилия.

Ломоносов М. В. Стихотворения. М., 1935. С. 293, 304–306.

2. ИДЕИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

НАЧАЛО ЧАСТНОИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ.

А. П. СУМАРКОВ

О домостроительстве

Домостроительство состоит в приумножении изобилия. Многие превозносятся прехвальным именем домостроителя и заслужили себе похвалу; но рассмотрим, похвалы ли они достойны, или чего иного, и в чем состоит домостроительство, а паче, какая от него истинная польза. На первое услышу я сей ответ: дабы умножены были тщанием хозяина прибыли, дабы тем обогащалось государство. Чьи прибыли? ежели только единого хозяина, так его только ему единому разрешение вина и елѣя, а крестьянам его сухоядение, а польза государственная или паче общественная – умножение изобилия всем, а не единому. Почему ж называют тех жадных помещиков экономами, которые или на свое великолепие или на заточение злата и серебра в сундуки сдирают со крестьян своих кожи и коих мануфактуры и прочие вымыслы крестьян отягощают и все время у них на себя отъемлют, учиняя их невинными каторжниками, кормя и поя, как водовозных лошадей, противу права и морального и политического, единственно ради своего излишнего изобилия, раздражая и божество и человечество. Блаженство состоит во спокойствии духов. Что приятнее богу и государю: то ли, когда господин обитатель великой деревни ест при-

везенных из Кизляра фазанов и пьет столстнее токайское вино, а крестьяне его едят сухари и пьют одну воду; или когда помещик ест кашу и пьет квас, а крестьяне – то же. Вкус помещика потоне, так пускайщи его будут погуще, погуще и квас, когда ему угодно. Когда солнце ровно освещает и помещика и крестьянина, так можно и крестьянину такие же есть яйца, какие высокородный его помещик кушать изволит. Должно жити мещанину пышные поселянина, дворянину – мещанина; но можно и крестьянину такую же есть курицу, какую вельможа; ибо от вельможи больше рассудка требуется, а не прожорливости. Никак не вообразительно мне, чтобы вельможа от маленького человека, а малочинной от крестьянина весьма отличен был. Каждый человек есть человек, и все преимущества только в различии наших качеств состоят; а чины суть утверждения наших отличных качеств; сожаления достойно, что то не всегда бывает. Но как то ни есть, уступим политическому расположению, когда моральное мало свойственно роду человеческому, и утвердим поместничество или паче власть нашу, свойственную единому человеколюбию. Власть быти должна; не деревня будет, но гнездо разбойническое, где нет у поселян ни прикащику, ни старосты. Тело без головы быти не может; однако и мизинец ноги есть член тела.

Помещик, обогащающийся непомерными трудами своих подданных, суетно возносится почтенным именем домостроителя, и должен он назван быть доморазорителем. Такой изверг природы – невежа и во естественной истории и во всех науках тварь безграмотная – не почитающий ни божества, ни человечества, каявшийся по привычке и по той же привычке возвращавшийся на свои злодеяния, заставляющий поститься крестьян своих ради пополнения сундуков своих, разрушающий блаженство вверенных ему людей, стократно вредяе разбойника отечеству. Увеселяюся ли я тогда, имея доброе сердце и чистую совесть, когда мне такой изверг показывает сады свои, оранжереи, лошадей, скотину, птиц, рыбные ловли, рукоделия и прочее? но я с такими домостроителями не схожуся, и пищи, орошенные слезами, не вкушаю. Много оставит он детям своим; но и у крестьян его есть дети. В таком обеде пища – мясо человеческое, а питье – слезы и кровь их. Пускай он то сам со своими чадами кушает...

Трудолюбивая пчела. 1759.

Сумароков А. П. Полное собрание сочинений. 1787. Ч. 10.

Сон. Счастливое общество

Заснув некогда, увидел я в успокоении моем мечтание благополучия общества, приведенного в такое состояние, какового несовершенство естества достигнуть может. Был я в такой мечтательной стране и рассмотрел подробно мечтательное оныя благосостояние.

Страна сия обладаема великим человеком, которого неусыпное попечение, с помощью избранных его помощников подало подвласному ему народу благоденствие. Желая объявить о порядке его владения, начну я собственною его особою. Сей государь во многоделии своем смешенных мыслей и следственно мрачного вида не имеет. Он имеет обыкновение не всегда в делах, но иногда и в забавах упражняться; однако и в них не погубляет он драгоценного времени; ибо и они на всенародной основаны пользе. Всех подданных своих приемлет он ласково и все дела выслушивает терпеливо. Достоинство не остается без воздаяния, беззаконие без наказания, а преступление без исправления. Сим имеет он народную любовь, страх и почтение. Получить его милость нет иной дороги, кроме достоинства. Раздразнить его, кроме беззакония и нерадения, ничем невозможно. Слабости прощает он милосердно, беззакония наказует строго. Начальниками делает он людей честных, разумных и во звании своем искусных. Отроки по склонностям в обучение отдаются, люди совершенного возраста по способности распределяются; а в начальники производятся по достоинству, и оттого им подчиненные исполняют их повеления с великим усердием, а они о их благополучии стараются. Сей государь ничего служащего пользе общества не забывает, а о собственной своей пользе, кроме истинной своей славы, никогда не думает.

Благочестие, не допускающее примеситься себе суеверию в сей стране, есть основание народного благополучия. Духовные содержатся в великом почтении, которого они и достойны. Они во многом подобны стоическим философам; ибо страсти самую малую искру области над ними имеют, а они равны и во благополучии и во злополучии. К пище привыкли они необходимой. Кроме необходимости, ни в чем ничего не требуют и довольствуются содержанием без малейшего излишества, не имея притом и ни малейшего вредного человеческого естеству недостатка. Все они люди великого учения и беспорочной жизни. Первое служит ко наставлению добродетели, а второе к показанию образца проповедуемой ими добродетельной жизни. Свет-

ские почитают их безмерно; но сие не приключает им высокомерия, но увеличивает их человеколюбие. Во светские дела они ни под каким видом не вмешиваются, а науки благочестия просвещением почитают. О домостроительстве они не пекутся; ибо содержит их общество, и получают они определенное, а больше того им никто участно дать не дерзает, ибо то наказанию подвержено; да они и сами в сие преступление не впадают; сие нарушает правила их и опровергает почтение, заслуженное ими по справедливости. Они ко светским, а светские к ним имеют любовь, и от того между духовными и светскими согласие, что на свете бывает редко. Суеверия и лицемерия они неприятели, первое язвою благочестия почитая, а второе – лукавством, затмевающим сияние благочестия под ложным видом умножения лучей его, и маскою злодеяния, ибо-де истинное благочестие притворства не требует.

Главное светское правление называется там Государственный совет. В него никаких частных дел не вносится. Там распорядки, исправления, узаконения и прочие государственные основания, или по повелению монарха или ко предложению оному. Узаконения в области сей делаются очень редко, а отменяются еще реже. Книга узаконений их не больше нашего календаря, и у всех выучена наизусть, а грамоте тамо все знают. Сия книга начинается тако: ЧЕГО СЕБЕ НЕ ХОЧЕШЬ, ТОГО И ДРУГОМУ НЕ ЖЕЛАЙ. А оканчивается: ЗА ДОБРОДЕТЕЛЬ ВОЗДАЯНИЕ, А ЗА БЕЗЗАКОНИЕ КАЗНЬ. Права их оттого в такую малую вмещены книгу, что все они на одном естественном законе основаны. Преступить закон тамо народ весьма опасается; ибо заслужив приличное вине своей наказание, уменьшение оного иметь не уповает, а живучи честно, ничего не опасается. Дражайшая безопасность, упование на невинность и неизбежное наказание твердо содержат людей сего народа в границах честности.

В Государственном совете и во всех судебных местах больше судей, нежели писцов, и бумаги исходит очень мало. Писцы их пишут очень коротко и ясно. Дела во всех приказах вершатся не по числу голосов, но по книге узаконений, отчего ни споров, ни неправды не бывает. Те, которые неправильно бьют челом сверх потерянныя тяжбы и убытка, у всех в презрение приходят, а те, которые не по книге узаконений дела вершат, за неправду лишаются должностей своих и для того наблюдаются. Дела оканчивают очень скоро, для того, что очень мало спорят, а еще меньше пишут, и ни челобитчиков, ни ответчиков

лишнего говорить не допускают; а главная причина скорости их — беспристрастие. За малейшие взятки лишается судья и чина своего и всего имения; однако дети винных людей ничего не теряют, ибо все им возвращается. Дети тамо за отеческие прослуги не наказываются, а за услуги не награждаются.

Не имеют тамо люди ни благородства, ни подлородства, и преимушествуют по чинам, данным им по их достоинствам; и столько же права крестьянский имеет сын быть великим господином, сколько сын первого вельможи. А сие подает охоту ко снисканию достоинства, ревность ко услугам отечеству и отвращение от тунеядства. Всякая наука, всякое полезное упражнение, всякое художество и всякое ремесло, по размеру своей доброты и по размеру успеха труждающегося, тамо в почтении, а тунеядство в превеличайшем презрении, и слово «тунеядец» жестокая тамо брань, которой гнушась, к работе люди с самого младенчества привыкают. Пьянство — мгла благоразумия и источник наглых и вредительных поведений, также в великом тамо презрении, и благоразумным обыкновением вкореняется от него в людях отвращение при воспитании. Денежные игры, приличные тунеядцам и добывателям бесполезного обществу труда денег и погубителям времени, могущего употребленным быть на что-нибудь надобное, у них, почитая вольность, хотя и не заказаны подобно как и пьянство, однако часто упражняющиеся в них люди презираются.

Больше месяца в судебных тамо местах никакое дело не продолжается, а по месяцу времени берут только самые завязчивые дела. Что не требует раздумчивости, на то в самую минуту предложения делается ими решение. Всякое челобитье у них законною нуждою почитается, ради которой челобитчики и ответчики от своих должностей увольняются, а ежели должность просящих суда или оправдающихся по важности увольнения не терпит, тогда определенные на то стряпчие, все собрав доказательства и оправдания, с принадлежащими справками, подписанными судейскими руками, о деле стараются под смотрением начальника стряпчих, что у них чин великий. Дела из города в город и из приказа в приказ не переносятся, а ежели судящие несправедливо осудят, тогда оное дело рассматривается в Государственном совете, что бывает очень редко, а по сему рассмотрению следует судьям наказание; а когда проситель судей обнесет неправильно, он еще большему наказанию подвергается, что еще

реже бывает. Судьи для подозрения от дел не отрешаются; ибо никто против узаконений голоса подать не дерзает, подобно как законодавцы не должны дерзать делать узаконений против истины. И тако не судьи тамо страшны, но суд, который основан на узаконениях, а узаконения на истине.

Войски их стоят под воинственным советом, а сей совет под Государственным. Главные люди в воинской службе называются военачальниками, а под ними полководцы, и так ниже. Всякий военачальник и все воинские начальники прежде быть рядовыми, все нижние степени пройти и все оных исполнения познать и в них совершенно углубиться одолженны. Но не только едина привычка, ниже притом и мужество еще не довольны тамо для военачальника. Остроумие и великое знание сверх того ему необходимы: первое – для скорого проницания, а второе – для благоразумного расположения его предприятий. Воины по степеням исполняют повеления своих начальников с превеликим наблюдением и делают им великое почтение, а начальники ни малейшего к подчиненным не имеют уничтожения. В мирное время войска их непрестанно воинским обрядам обучаются и снабжены всем, во всякое время ко бранному походу готовы. К суровой жизни военные люди всеми мерами стараются привыкнуть и как защитники отечества народом почитаемы и любимы. Они имеют похвалу, что коль велико во время сражения их мужество, толики после победы их человеколюбие и великодушие. Сим приносят они сугубую славу своему отечеству и сугубое почтение от самих неприятелей. Подчиненные так обвыкли повиноваться своим начальникам, что во время жесточайшего распаления единым словом обуздываются. Добычь воинская им неизвестна; то у них заказано, а что получится, то после порядочно и рассматрительно разделяется, отчего воины думают о победе, а не о добыче. Побежденных и сопротивляющихся убивать запрещено под лишением жизни.

Больше бы мне еще грезилось, но я живу под самую колокольню: стали звонить и меня разбудили, и лишили меня сего приятнейшего привидения. Дай боже, чтобы сны подобны сну сему многим виделись, а особливо наперсникам фортуны.

Трудолюбивая пчела. СПб., 1759. Ч. 2, декабрь. С. 738–747.
Русская сатирическая проза XVIII века. Л., 1986. С. 353–357.

Трутенъ

1769. Лист IV. Мая 19 дня

Ведомости. Из некоторого приказа

Явилось порожнее место, которое в год две тысячи рублей безгрешного приносит дохода. Надобно знать, что сие место требует человека разумного, ученого и прилежного; ибо от него блаженство и жизнь великого числа людей зависит. Трое домогаются сего места.

Первой из них дворянин без разума, без науки, без добродетели и без воспитания; хотя он во младых еще летах записан был в службу, но оной, живучи у матери между няnek и шутих, никогда не исполнял, а доставал чины чрез предстательство, преимущественно перед теми, которые служили. Душ за ним тысячи две, но сам он без души. Короче сказать, все достоинство сего молодца в том только и состоит, что он дворянин и родня многим знатым боярам.

Второй искатель места есть дворянин же, но родством ни с каким случайным боярином не связан. Поведения доброго, разума хотя и не пылкого, однако наукою подкрепленного. Служит в полках и хотя отменного ничего не сделал, но по крайней мере исполняет свою должность с прилежностью. Знает человечество, из подвластных себе наказует только винных, крестьян своих не грабит, живет нероскошно и по мере своего дохода, купцов по примеру других дворян не обманивает; словом, дворянин сей человек порядочной, и хотя он к важным должностям не вовсе годится, однако благополучно бы было наше отечество, ежели бы таких дворян гораздо побольше у нас завелось!

Третьей проситель места, по наречию некоторых глупых дворян, есть человек подлой, ибо он от добродетельных и честных родился мещан. Природной его разум, соединенной с долговременным и в России и в чужих краях учением, учинили его мужем совершенным. Мало таких наук, которых бы он не знал или о которых бы он не имел понятия; защитник истины, помощатель бедности, ненавистник злых нравов и роскоши, любитель человечества, честности, наук, достоинства и отечества; верной друг, благоразумной отец, безмятежной сосед, рассматрительной и беспристрастной судья. Во всех местах, куда он от правительства был определяем, оставлял примеры разумного своего поведения; благополучны были те люди, которыми он

повелевал; неустрашими были те солдаты, которыми он предводительствовал, и неприятель всегда разбит, с которым он сражался. Покрытой ранами и содержа себя одним жалованием, никогда не негодовал на свою скудность, но сносил оную без роптания; словом, он показал собою, что не порода, но добродетели делают человека достойным почтения честных людей. Не просил бы он и упомянутого выше места, ежели бы здоровье его позволяло долее служить в армии или ежели бы он не был в состоянии подвластных сему месту учинить благополучными и восстановить их от разорения, в которое приведены были бывшим судьей.

Читатель! угадай: глупость ли, подкрепляемая родством с боярами, или заслуги с добродетелию награждаются?

1769. Лист V. Мая 26 дня

Господин Трутень!

Второй ваш листок написан не по правилам вашей прабабки. Я сам того мнения, что слабости человеческие сожаления достойны, однакож не похвал, и никогда того не подумаю, чтоб на сей раз не покрывила своею мыслию и душою госпожа ваша прабабка, дав знать на своей стр. 340 в разделении 52, что похвальнее снисходить порокам, нежели исправлять оные. Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно, они порокам сшили из человеколюбия кафтан, но таких людей человеколюбие приличнее называть пороколюбием. По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным снисходит или (сказать по-русски) потакает; и ежели смели написать, что учитель, любви к слабостям не имеющий, оных исправить не может, то и я с лучшим основанием сказать могу, что любовь к порокам имеющий никогда не исправится. Еще не понравилось мне перьвое правило упомянутой госпожи, то есть, чтоб отнюдь не называть слабости пороком, будто Иоанн и Иван не все одно. О слабости тела человеческого мы рассуждать не станем, ибо я не лекарь, а она не повивальная бабушка, но душа слабая и гибкая в каждую сторону покривиться может. Да и я не знаю, что, по мнению сей госпожи, значит слабость. Ныне обыкновенно слабостию называется в кого-нибудь по уши вклю-

биться, то есть в чужую жену или дочь; а из сей мнимой слабости выходит: обесчестить дом, в который мы ходим, и поссорить мужа с женою или отца с детьми; и это будто не порок? Кои построжее меня о том при досуге рассуждают, назовут по справедливости оный беззаконием. Любить деньги есть та же слабость, почему слабому человеку простительно брать взятки и обогащаться грабежами. Пьянствовать также слабость или еще привычка; однако пьяному можно жену и детей прибить до полусмерти и подраться с верным своим другом. Словом сказать, я как в слабости, так и в пороке не вижу ни добра, ни различия. Слабость и порок, по-моему, все одно, а беззаконие дело иное.

На конце своего листка ваша госпожа прабабка похвалит тех писателей, кои только угождать всем стараются, а вы сему правилу, не повинувшись криводушным приказным и некстати умствующему прокурору, невеликое сделали угождение. Не хочу я вас побуждать, как это делают прочие, к продолжению сего труда, ниже вас хвалить; зверек по когтям виден. То только скажу, что из всего поколения вашей прабабки вы первый, к которому я пишу письмо. Может статься, скажут г. критики, что мне как трутню с Трутнем иметь дело весьма сходно; но для меня разумнее и гораздо похвальнее быть трутнем, чужие дурные работы повреждающим, нежели такую пчелою, которая по всем местам летает и ничего разобрать не умеет. Я хотел было сие письмо послать к госпоже вашей прабабке, но она меланхолических писем читать не любит, а в сем письме, я думаю, она ничего такого не найдет, от чего бы у нее от смеха три дни бока болеть могли.

Покорный ваш слуга
Правдулюбов.

1769. Лист VI. Июня 2 дня

Ведомости в Санктпетербурге. Из Литейной

Змеян, человек неосновательной, езда по городу, надседаая кричит и увещевает, чтоб всякой помещик, ежели хорошо услужен быть хочет, был тираном своим служителям; чтоб не прощал им ни малейшей слабости; чтоб они и взора его боялись; чтоб они были голодны, наги и босы и чтоб одна жестокость содержала сих зверей в порядке и послушании. В самом деле *Змеян* поступает со своими рабами как проповедует. О человечество! колико ты страждешь от безумия *Змеянова*, и естли б все дворяне пример брали с сего чудовища, то не было

у нас кроме мучителей и мучеников. Однако благоразумный *Мирен* не следует мнению *Змеянову* и совсем отменно с подвластными себе обходится. Ежели *Мирен* не наилучших в России слуг имеет, так по крайней мере не бояться, чтоб он ими был проклинаем.

* * *

Молодого Российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и которой, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньею, желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего города.

Продажа

За вексельной иск, описанное и оцененное в 14 р. 57 к. 3/4 оставшее после покойного судьи *Правдулюбова* стяжание, состоящее в верности отечеству, нелицеприятии, правосудии, истинном понятии законов, милосердии о бедных и здравом рассуждении, имеет быть продано с публичного торгу, ибо наследников ко оному стяжанию из всей его родни не явилось; желающие покупать, могут явиться у аукциониста, которой продавать будет.

* * *

Недавно пожалованный воевода отъезжает в порученное ему место и для облегчения в пути продает свою совесть; желающиекупить, могут его сыскать в здешнем городе.

Письмо Правдулюбова издателю «Трутня»

Издатель Трутня, во утешение Всякой Всячине, своей современнице, не хотел напечатать сего письма, но по справедливости не мог он в том отказать г. Правдулюбову, тем паче, что он от Всякия Всячины отдан на суд публике, и так благоразумные и беспристрастные читатели чей суд по форме, или без формы, как им угодно окончать могут. Оправдание г. Правдулюбова здесь следует.

Господин издатель!

Госпожа Всякая Всячина и наши нравоучительные рассуждения называют ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет, и русских писаний обстоятельно разуместь не может; а сия вина многим нашим писателям свойственна...

В пятом листе Трутня ничего не писано, как думает госпожа Всякая Всячина ни противу милосердия, ни противу снисхождения, и публика, на которую и я ссылаюсь, то разобрать может. Ежели я написал, что больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным потакает, то не знаю, как таким изъяснением я мог тронуть милосердие? Видно, что госпожа Всякая Всячина так похвалами избалована, что теперь и то почитает за преступление, если кто ее похвалит.

Не знаю, почему она мое письмо называет ругательством? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная; но в моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нет ни кнутов, ни виселиц, ни протчих слуху противных речей, которые в издании ее находятся.

Госпожа Всякая Всячина написала, что пятый лист Трутня уничтожает. И это как-то сказано не по русски; уничтожить, то есть в ничто превратить, есть слово самовластию свойственное, а таким безделицам, как ее листки, никакая власть не прилична; уничтожает верхняя власть какое-нибудь право другим. Но с госпожи Всякой Всячины довольно бы было написать, что презирает, а не уничтожает мою критику. Сих же листиков множество носится по рукам, и так их всех ей не уничтожить не можно.

Она утверждает, что я имею дурное сердце потому, что, по ее мнению, исключая моими рассуждениями снисхождение и милосердие. Кажется я ясно написал, что слабости человеческие сожаления достойны, но что требуют исправления, а не потачки; и так думаю, что сие мое изъяснение знающему российский язык и вправду не покажется противным ни справедливости, ни милосердию. Совет ее, чтобы мне лечиться, не знаю, мне ли больше приличен или сей госпоже. Она, сказав, что на пятый лист Трутня отвечать не хочет, отвечала на оный всем своим сердцем и умом, и вся ее желчь в оном письме сделалась видна. Когда ж она забывается и так мокротлива, что часто не туда плюет, куда надлежит, то кажется для очищения ее мыслей и внутренности не бесполезно ей и полечиться.

Сия госпожа назвала мой ум тупым потому, что не понял ее нравочений. На то отвечаю: что и глаза мои того не видят, чего нет. Я тем весьма доволен, что госпожа Всякая Всячина отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас прав.

Покорный ваш слуга *Правдулюбов*.

6 июня, 1769 года.

Расставание или последнее прощание с читателями

Против желания моего, читатели, я с вами разлучаюсь; обстоятельство мои и ваша обыкновенная жадность к новостям, а после того отвращение, тому причиною. В минувшем и настоящем годах издал я во удовольствие ваше, а может быть, и ко умножению скуки, ровно пятьдесят два листа, а теперь издаю 53 и последний: в нем-то прощаюсь я с вами и навсегда разлучаюсь. Увы! как перенести сию разлуку? Печаль занимает дух... Замирает сердце... Хладеет кровь, и от предстоящего несчастья все члены немеют... Непричесанные мои волосы становятся дыбом, словом, я все то чувствую, что чувствуют в превеликих печалях. Перо падает из рук... Я его беру опять, хочу писать, но оно не пишет. Ярость объемлет мое сердце, я бешусь; бешенство не умаляет моей скорби, но паче оную умножает, но я познаю мою ошибку, перо еще не очинено. Я бросил его опять, беру другое и хочу изъяснить состояние души моей, но печаль затмевает рассудок, с какою скорбью возможно сравнить печаль мою?

Нет! печали всего света с моею сравниться не могут! Я пишу мою скорбь, и опять вычерниваю; буквы, мною написанные, кажутся малы и, следовательно, не могут изъяснить великость оных. Я черню и перечерниваю, засыпаю песком: но ах! вместо песошницы я употребил чернильницу. Увы! источники чернильные проливаются по бумаге и по столу. Позорище сие ослабляет мои чувства... Я лишаюсь оных... падаю в обморок... упал на стол, замарал лице и так лежу... Чернильный запах, коснувшись моего обоняния, возвращает мою память... открываю глаза... но при воззрении из глаз моих слезы проливаются реками и, смешавшись с чернилами, текут со стола на пол. В таком положении нечаянно взглянул я на читателей; но что я вижу? Ах, жестокие! вы не соболезнаете со мной? на лицах ваших изображается скука... Варвары, тигры! вы не проливаете слез, видя мою горесть? Так-то вас печали других трогают? теперь неудивительно мне, что при представлении трагедии, в самом печальном явлении, на которое сочинитель всю полагал надежду и надеялся, что весь партер потопите слезами: но увы! ни у единого из вас не видно тогда было ни капли слез: жестокие! вместо пролития слез вы тогда зевали, будто бы было вам то в тягость. Так-то награждаете вы труды авторские? но почто бесплодно терять слова? окамененных ваших сердец ничем невозможно тронуть!

Ну, прощайте, неблагодарные читатели, я не скажу больше ни слова.

Всеобщая придворная грамматика

Предуведомление

Сия Грамматика не принадлежит частно ни до которого двора: она есть всеобщая, или философская. Рукописный подлинник оной найден в Азии, где, как сказывают, был первый царь и первый двор. Древность сего сочинения глубочайшая, ибо на первом листе Грамматики хотя год и не обозначен, но именно изображены сии слова: *вскоре после всеобщего потопа.*

Глава первая. Вступление

Вопр. Что есть Придворная Грамматика?

Отв. Придворная Грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.

Вопр. Что значит хитро льстить?

Отв. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна.

Вопр. Что есть придворная ложь?

Отв. Есть выражение души подлой пред душою надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет.

Вопр. На сколько родов разделяются подлые души?

Отв. На шесть.

Вопр. Какие подлые души первого рода?

Отв. Те, кои сделали несчастную привычку, без малейшей нужды, в передних знатных господ шататься вседневно.

Вопр. Какие подлые души второго рода?

Отв. Те, кои, с благоговением предстоя большому барину, смотря ему в очи раболепно и алчут предузнать мысли его, чтобы заранее угодить ему подлым таканьем.

Вопр. Какие суть подлые души третьего рода?

Отв. Те, которые пред лицом большого барина, из одной трусости, рады все всклепать на себя небывальщины и от всего отпереться.

Вопр. А какие подлые души рода четвертого?

Отв. Те, кои в больших господах превозносят и то похвалами, чем гнушаться должны честные люди.

Вопр. Какие суть подлые души пятого рода?

Отв. Те, кои имеют бесстыдство за свои прислуги принимать воздаяния, принадлежащие одним заслугам.

Вопр. Какие же суть подлые души рода шестого?

Отв. Те, которые презрительнейшим притворством обманывают публику: вне дворца кажутся *Катонами*; вопиют против льстецов; ругают язвительно и беспощадно всех тех, которых трепещут единого взора; проповедуют неустрашимость; и по их отзывам кажется, что они одни своею твердостью стерегут целость отечества и несчастных избавляют от гибели; но, переступя чрез порог в чертоги государя, делается с ними совершенное превращение: язык, ругавший льстецов, сам подлаживает им подлейшую лесть; коего ругал за полчаса, пред тем – безгласный раб; проповедник неустрашимости боится нестати взглянуть, нестати подойти; страж целости отечества, если находит случай, первый протягивает руку ограбить отечество; заступник несчастных, для малейшей своей выгоды, рад погубить невинного.

Вопр. Какое разделение слов у двора примечается?

Отв. Обыкновенные слова бывают: *односложные, двусложные, троесложные и многосложные*. Односложные: *так, князь, раб*; двусложные: *силен, случай, упал*; троесложные: *милостив, жаловать, угождать*, и наконец многосложные: *Высокопревосходительство*.

Вопр. Какие люди обыкновенно составляют двор?

Отв. Гласные и безгласные.

Глава вторая. О гласных и о частях речи

Вопр. Сколько у двора бывает гласных?

Отв. Обыкновенно мало: три, четыре, редко пять.

Вопр. Но между гласными и безгласными нет ли еще какого рода?

Отв. Есть: полугласные, или полубояре.

Вопр. Что есть полубоярин?

Отв. Полубоярин есть тот, который уже вышел из безгласных, но не попал еще в гласные; или, иначе сказать, тот, который пред гласными хотя еще безгласный, но перед безгласными уже гласный.

Вопр. Что разумеешь ты чрез придворных безгласных?

Отв. Они у двора точно то, что в азбуке буква ъ, то есть, сами собою, без помощи других букв, никакого звука не производят.

Вопр. Что при словах примечать должно?

Отв. Род, число и падеж.

Вопр. Что есть придворный род?

Отв. Есть различие между душою мужскою и женскою. Сие различие от пола не зависит; ибо у двора иногда женщина стоит мужчины, а иной мужчина хуже бабы.

Вопр. Что есть число?

Отв. Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно; а иногда счет: сколькими полугласными и безгласными можно свалить одного гласного; или же иногда, сколько один гласный, чтоб устоять в гласных, должен повалить полугласных и безгласных.

Вопр. Что есть придворный падеж?

Отв. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, большая часть бояр думает, что все находятся перед ними в *винительном падеже*; снискивают же их расположение и покровительство обыкновенно *падежом дательным*.

Вопр. Сколько у двора глагогов?

Отв. Три: *действительный, страдательный*, а чаще всего *отложительный*.

Вопр. Какие наклонения обыкновенно у двора употребляются?

Отв. Повелительное и неопределенное.

Глава третья. О глаголах

Вопр. Какой глагол спрягается чаще всех и в каком времени?

Отв. Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: *быть должным*. (Для примера предлагается здесь спряжение *настоящего времени*, чаще всех употребительнейшего).

Настоящее:

Я должен.	Мы должны.
Ты должен.	Вы должны.
Он должен.	Они должны.

Вопр. Спрягается ли сей глагол в прошедшем времени?

Отв. Весьма редко: ибо никто долгов своих не платит.

Вопр. А в будущем?

Отв. В будущем спряжение сего глагола употребительно; ибо само собою разумеется, что всякий непременно в долгу *будет*, если еще не есть.

Около 1783.

(Друг честных людей или Стародум).

Фонвизин Д. И. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 40–78.

**Рассуждение о истребившейся в России
совсем всякой формы государственного правления
и от того о зыблеме состоянии как империи,
так и самих государей**

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют. Просвещенный ясностью сея истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть несовершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла. И действительно, все сияние престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на нем вместе с государем; но, вообразя его таковым, которого ум и сердце столько были б превосходны, чтоб никогда не удалялся он от общего блага и чтоб сему правилу подчинил он все свои намерения и деяния, кто может подумать, чтоб сею подчиненностью беспредельная власть его ограничивалась? Нет. Она есть одного свойства со властью существа вышнего. Бог потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага; а дабы сия возможность была бесконечным знамением его совершенства, то постановил он правила вечныя истины для самого себя непреложные, по коим управляет он вселенною и коих, не перестав быть богом, сам преступить не может. Государь, подобие бога, преемник на земле вышней его власти, не может равным образом ознаменовать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем, и которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным государем.

Без сих правил, или, точнее объясниться, без непременных государственных законов, не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет той опоры, на которой бы их общая сила утвердилась. ... Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть Государство, но нет Отечества; есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей. Одно пристрастие бывает подвигом всякого узаконения; ибо не нрав государя приноравливается к законам, но

законы к его нраву. Какая же доверенность, какое почтение может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства, то есть соображения с общою пользою? Кто может дела свои располагать там, где без всякой справедливой причины завтра вменится в преступление то, что сегодня не запрещается? Тут каждый, подвержен будучи прихотям и неправосудию сильнейших, не считает себя в обязательстве наблюдать того с другими, чего другие с ним не наблюдают.

Тут с одной стороны, на законы естественные, на истины ощутительные дерзкое невежество требует доказательств и без указа им не повинуетя, когда, с другой стороны, безумное веление сильного с рабским подобоострастием непрекословно исполняется. Тут, кто может, повелевает, но никто ничем не управляет; ибо править должныствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному *любимицу*. Я назвал его недостойным потому, что название *любимца* не приписывается никогда достойному мужу, оказавшему Отечеству истинные заслуги, а принадлежит обыкновенно человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю. ... От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен. Пороки *любимца* не только входят в обычай, но бывают почти единым средством к возвышению. Если любит он пьянство, то сей гнусный порок всех вельможей заражает. Если дух его объят буйством и дурное воспитание приучило его к подлому образу поведения, то во время его знати поведение благородное бывает уже довольно заградить путь к счастью; но если провидение в лютейшем гневе к человеческому роду пропускает душою государя овладеть чудовищу, которое все свое любочестие полагает в том, чтоб Государство неминуемо было жертвою насильств и игрищем прихотей его; если все уродливые движения души влекут его первенствовать только богатством, титулами и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не значают, как: «боготворите меня, я могу вас погубить»; если беспредельная его власть над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению, сластолюбец, бесстыдный, ленивец, тогда нравственная язва становится всеобщою; все сии пороки разливаются и заражают двор,

город и наконец – Государство. ... И что же может остановить стремление порока, когда идол самого государя пред очами целого света, в самых царских чертогах водрузил знамя беззакония и нечестия; когда, насыщая бесстыдно свое сластолюбие, ругается он явно священными узами родства, правилами чести, долгом человечества и пред лицом законодателя божеские и человеческие законы попирает дерзает? ...

Таковое положение долго и устоять не может. При крайнем ожесточении сердец все частные интересы, раздробленные существом деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все устремляется расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть Государство? Колосс, державшийся цепями. Цепи разрываются, колосс падает и сам собою разрушается. Деспотичество, рождающееся обыкновенно от анархии, весьма редко в нее опять не возвращается. ...

Правота и кротость суть лучи божественного света, возвещающие людям, что правящая ими власть поставлена от бога и что достойна она благоговейного их повиновения; следственно всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей, коих несчастья времен попустили, уступая силе, унижить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. ... Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обстоятельствах, кои разрушаются так скоро, как их наблюдать перестают. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные; ибо не было еще в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ее государем; и если она без государя существовать может, а без нее государь не может, то очевидно, что первобытная власть была в ее руках и что при установлении государя не о том дело было, чем он нацию пожалует, а какою властью она его облакает. Возможно ль же, чтобы нация добровольно постановила сама закон, разрешающий государя делать неправосудие безотчетно.

Рассматривая отношения государя к подданным, первый вопрос представляется разуму, что же есть государь? Душа правимого им общества. ...

Державшийся правоты и кротости просвещенный государь не поколеблется никогда в истинном своем величестве; ибо свойство правоты таково, что самое ее никакие предубеждения, ни дружба, ни склонности, ни самое сострадание поколебать не могут. ... При всякой милости, оказуемой вельможе, должен он весь свой народ иметь пред глазами. Он должен знать, что Государственным награждается одна заслуга Государству, что не повинно оно платить за угождения его собственным страстям, и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы Государства, есть грабеж в существе своем и форме. Он должен знать, что нация, жертвуя частию естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому вручает дел правление, и что следственно их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями. ... Он повинен отвечать ему (Государству) не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого он не сделал. ...

Истинное право есть то, которое за благо признано рассудком и которое следственно производит некое внутреннее чувство, обязывающее нас повиноваться добровольно. В противном случае повиновение не будет уже обязательство, а принуждение. Где же нет обязательства, там нет и права. ... Сила и право совершенно различны, как в существе своем, так и в образе действия. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железа, топоры. Тиран, где бы он ни был, есть тиран, и право народа спасать свое бытие пребывает вечно и везде непоколебимо.

При Исследовании, в чем состоит величайшее благо государств и народов и что есть истинное намерение всех систем законодательств, найдем два главнейших пункта, а именно те, о коих теперь рассуждаемо было: *вольность и собственность*. Оба сии преимущества, равно как и форма, каковою публичной власти действовать, должны быть устроены сообразно с физическим положением Государства и моральным свойством Нации.

Теперь представим себе Государство, объемлющее пространство, какого ни одно на всем известном земном шаре не объемлет и которого по мере его обширности нет в свете малолюднее ... Государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько

часов на самый край конечного разрушения и гибели ... Государство, движимое вседневными и часто друг другу противоречущими указами, но не имеющее никакого твердого законоположения; Государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьей над человеком другого состояния, где каждый следственно может быть завсегда или тиран, или жертва; Государство, в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборонять Отечество, купно с Государем и корпусом представлять Нацию, руководствуемое одною честью, *дворянство* уже именем только существует и продается всякому подлецу, ограбившему Отечество; где знатность, сия единственная цель благородных души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых Отечеству, затмевается фавором, поглотившим всю пищу истинного любочестия; Государство не деспотическое, ибо Нация никогда не отдавала себя Государю в самовольное его управление и всегда имела трибуналы гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое, ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия, ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства.

Просвещенный и добродетельный монарх, застав свою империю и свои собственные права в такой несообразности и неустройстве, начинает великое свое служение немедленным ограждением общия безопасности посредством законов непреложных. В сем главном деле не должен он из глаз выпускать двух уважений: первое, что государство его требует немедленного врачевания от всех зол, приключаемых ему злоупотреблением самовластия; второе, что государство его ничем так скоро не может быть подвергнуто конечному разрушению, как если вдруг и не приуготовя Нацию, дать ей преимущества, коими наслаждаются благоустроенные европейские народы.

В заключение надлежит признать ту истину, что главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением.

Русская проза XVIII века. Л., 1950. Т. 1. С. 465–518, 529–539.

И. А. КРЫЛОВ

«Почта духов»

Письмо осьмое

От сальфа Световида к волшебнику Маликульмульку

Когда воображаю я, мудрый и ученый Маликульмульк, что человек ничем другим не отличается столько от прочих творений, как величиною своей души, приобретаемыми познаниями и употреблением в пользу тех дарований, коими небо его одарило; тогда, обратя взор мой на жилище смертных, с сожалением вижу, что поверхность обитаемого ими земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для общества совершенно бесполезно и кои не только не вменияют в бесчестие слыть тунеядцами, но по странному некоему предубеждению почитают праздность, презрение наук и невежество наилучшими доказательствами превосходства человеческого.

Деревенский дворянин, который, провождая всю свою жизнь, гоняясь целую неделю по полям с собаками, а по воскресным дням напиваясь пьян с приходским своим священником, почел бы общественным благородство древней своей фамилии, еслиб занялся когда чтением какой нравоучительной книги, ибо с великим трудом едва научился он разбирать и календарные знаки. Науки он почитает совсем не свойственным упражнением для людей благородных; главнейшее их преимущество составляет в том, чтоб повторять часто с надменностью сии слова: *мои деревни, мои крестьяне, мои собаки* и прочее подобное. Он думает, что исполняет тогда совершенно долг дворянина, когда, целый день гоняясь за зайцами, возвращается вечером домой и рассказывает с восторгом о тех неисповедимых чудесах, которые наделали в тот день любимые его собаки, – словом, ежедневное его упражнение состоит в том, что он пьет, ест, спит и ездит с собаками.

Дворянин, живущий в городе и следующий по стопам нынешних модных вертопрахов, не лучше рассуждает о науках: хотя и не презирает он их совершенно, однакож почитает за вздорные и со всем за бесполезные познания. «Неужели, – говорит он, – должен я ломать голову, занимаясь сими глупостями, которые не принесут мне никакой прибыли? К чему полезна философия? Ни к чему более, как только, что упражняющихся в оной глупцов претворяет в совершенных

дураков. Разбогател ли хотя один ученой от своей учености? Наслаждался ли он лучшим здоровьем, нежели прочие? – Совсем нет. – Ученые и философы таскаются иногда по миру; они подвержены многим болезням по причине чрезмерного их прилежания; зарывшись в книгах, провожают они целые дни в своих кабинетах; и, наконец, после тяжких трудов, живучи во всю свою жизнь в бедности, умирают таковыми же. Куда какое завидное состояние! – Поистине, надобно сойти с ума, чтоб им последовать. Пусть господа ученые насыщают желудки свои зелеными лаврами и утоляют жажду струями Ипокрены; что до меня касается, я не привык к их ученой пище. Стол, уставленный множеством блюд с хорошим кушаньем, и несколько бутылок бургундского вина несравненно для меня приятнее. Встав из-за стола, спешу я как наискорее заняться другими веселостями: лечу на бал, иногда еду в театр, после в маскарад; и во всех сих местах пою, танцую, резвлюсь, кричу и всеми силами стараюсь, чтобы ни о чем не помышляя, упражняться единственно в забавах».

Вот, премудрый Маликульмульк, каким образом рассуждает о науках большая часть дворян...

Почта духов. 1789. Ч. 1.

А. Н. РАДИЩЕВ

Беседа о том, что есть сын Отечества

Не все рожденные в Отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). – Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. – Поудержись, чувственное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге. – Вступи и виждь! – Кому не известно, что имя сына Отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту, или другому бессловесному животному? Известно, что человек – существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободою волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. – Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, извлеченным от божественных и естественных гражданским или общежительным. – Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшать-

ся величественным именем сына Отечества? – Он не человек, но что? Он ниже скота; ибо и скот следует своим законам и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчастнейших, коих коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тягломому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежду освободиться от своего ига, получая равные с лошадию воздеяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, в прочем обременены тяжестью своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои ни что иное, как мертвые тела, погребенные одно подле другого; работают необходимое для человека из страха; им ничего, кроме смерти, не желательно, и коим наималейшее желание заказано, и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что они достойного человечества сделали? Какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? Какое добро, какую пользу принесло Государству сие великое число рук? – Не о сих здесь слово; они не суть члены Государства, они не человеки, когда суть не что иное, как движимые Мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот! – Человек, человек потребен для ношения имени сына Отечества! – Но где он? где сей украшенный сим величественным именем? – Не в объятиях ли неги и любострастия? – Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? – Не зарытый ли в скверноприбыточестве, зависти, зловождении, вражде и раздоре со всеми даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют, и к одному и тому же устремляются? – или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пьянства? – Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все дома, для бессмысленнейшего пустоглаголения, для

обольщения целомудрия, для заражения благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем саж, щеки коробками белил и сурика, или лучше сказать живописною палитрою, кожу тела своего вытянутою барабанной кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего его тела присходящим, задушается целою аптскою благовонных опрыскиваний, – словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки; он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко, – он щеголь. – Не сей ли есть сын Отечества? – или тот, поднимающий величавым образом на твердь небесную взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, – словом, всеми, одному ему известными средствами, раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные? – потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. – Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! Сей ли есть сын Отечества? – Или тот, простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого Отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света, и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие унылую и томную жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который восхищается радостью, ежели открывается ему случай к новому приобретению; пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие не поколеблет его сердца; все сие для него не значит ничего; – он умножает свое имение, а сего и довольно. – И так не сему ли принадлежит имя сына Отечества?..

Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя уничижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех

средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием, и не обрета нигде утешения своего. — Не доказывает ли сие, что он любит *Честь*, без которой он, как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сие есть истинная честь; ибо ложная, вместо избавления, покоряет всему вышесказанному, и никогда не успокоит сердца человеческого. — Всякому врождено чувство истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предупреждений к тихому ее, чести то есть, свету. — Нет ни одного из смертных толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению *Чести*. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонского, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже род смертных так, что одна и при том гораздо большая часть оных должна непременно быть в рабском состоянии, и следовательно, не чувствовать, что есть *Честь*? А другая в господственном, потому что не многие имеют благородные и величественные чувствования. — Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена в мрачность варварства, зверства и рабства; но сие не мало не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и совершенствованию себя, и следовательно, к люблению истинной славы и *Чести*. Причиною тому или род провождаемой жизни, или обстоятельства, в коих быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечного. — Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества. Что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежелиб вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много, то другие бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ (зрелищ), извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания, и при которых истинный Друг человечества содрогается. — Что бы такое представ-

ляла тогда природа. Кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? – По истине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким рождается оная пламенная любовь к снисканию Чести и похвалы у других. – Сие происходит из врожденного человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувство столь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя. – И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к *Чести* и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностью и похвалою от других есть величайшее и надежнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? – Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувство, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? – Какое есть средство к избавлению от страха пасть на веки под ужаснейшим бременем оных? ежели отъять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему существу, не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа, ради взаимной помощи, и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всем заглушении сего внутреннего гласа. Чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя, кто посеял в человеке чувство сие искать прибежища? – Врожденное чувство зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. – И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами, и к заботе нравиться им? – По истине не что иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратии своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства. – Рассматри-

вающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! – и се начало того побуждения к люблению *Чести*, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! Се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостью при воззрении его, похвалами, восклицаниями. – Се предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын Отечества есть одно и то же; следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом *Честолобив*.

Сим да начинает украшать он величественное наименование сына Отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбити ближних; ибо единою любовию приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благоразумие и честность, не заботясь ни мало о воздаянии, почести, превозношении и славе, которая есть сопутница, или паче, тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемую не вечерним солнцем правды; ибо те, которые гоняются за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.

Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. – Благодаря и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоговением подчиняется он всему тому, что порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении Отечеству; служа оному, он знает, что содействует здравоносному обращению, так сказать, крови государственного тела. – Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонавия и тем отнять у Отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оного; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовью к целостности и спокойствию своих соотчичей; ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, не-

утомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей и пороков. И ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу Отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; если же она нужна для Отчества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствование Соотечественников своих. Словом, он *благонравен*! Вот другой верный знак сына Отечества! Третий же и, как кажется, последний отличительнейший знак сына Отечества, когда он *благороден*. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенен истинно мудрым любочестием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинаясь законам и блюстителям оных, подражающим властям, как всего себя, так и все, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим Отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчицей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага Отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от радости при едином имени Отечества, и который не инако чувствует при том воспоминании (которое в нем не престанно) как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его чести. Он не жертвует благом Отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оного; верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце, и который в ее тишине и удовольствии ничто в свете уподобиться не может. Ибо истинное *благородство* есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честью, которая не находится, как в непрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим Соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам Естества и Народоуправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына Отечества!

Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сии качества сына Отечества, и

хотя всяк сроден иметь оные, но не могут однакож не быть нечисты, смешны, темны, запутаны, без надлежащего воспитания и просвещения Наукам и Знаниям, без коих наилучшая способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустройством. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. – Почему прежде нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви Отечества, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви к наукам и искусствам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьным, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса, возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры или зодчества.

Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания, и на сих правилах основанного, введен благочестивыми монархами, и просвещенная Европа с изумлением видит успехи оного, восходящие к предложенной цели исполинскими шагами!

Беседующий гражданин. 1789. 3.

Радищев А. Н. Полное собрание сочинений. Л., 1938. Т. 1. С. 213–224.

П. А. ПЛАВИЛЬЩИКОВ

Нечто о врожденном свойстве душ российских

Естьли бы Российский народ отличался от всех племен земнородных единым только подражанием и никакой другой способности не имел, то чем бы он мог удивить вселенную, которая смотрит на него завистными глазами? Вся Европа, столица учености и вкуса, противу воли своей во многом отдает справедливость России, – восхищается добродетелями ее, которых вне России нет. Естьли учиться значит только подражать, то давно бы науки упали, поелику подражание всегда бывает слабее своего подлинника: где нет творческого

духа, там нет и произведения; но мы видим совсем тому противное: науки час от часу приходят в совершенство; ученик бывает несравненно знающее своего учителя; из чего видно, что когда Россияне заняли некоторые познания от иностранцев, сие не доказывает, что они только подражают.

Я хочу спросить у всего света: кому подражал Петр Великий в неустрашимости, в твердости великих своих предприятий, в неимоверной быстроте объемлющей все единым взором очес, в созидании на незыблемом основании блаженства подданных своих, в предприятиях почти человечество превышающих?..

Пусть докажут мне, кому подражают Россияне, когда ополчаются на врагов государя и, следовательно, отечества? Кто устоял противу мужества Россиян? Перед ними все бежало; едина слава на следах у них. Кто ужаснее Россиянина в сражении и кто милосерднее к побежденному?.. А сему разве можно научиться?.. Нет; с этим свойством должно родиться смертному...

Не знаю, в природе ли человеческой или в привычке искать должно причины той непреодолимой склонности к месту своего рождения или вообще к той земле, на которой человек увидел свет, к тому воздуху, которым начал питаться в первые мгновения жизни? Те нравы, те обычаи, родство, вера, образ правления – все совокупно влечет человека к своему отечеству. Напрасно мудрец проповедует, что он гражданин целого света; может быть сердце его никогда не согласовалось с его словами: ни один мудрец не предпочитал своему отечеству земли чужой, где бы он ни жил.

Воспитатель должен знать совершенно свое отечество исторически, географически и философически; должен знать, в какое состояние готовится его воспитанник; и на сих правилах благоразумия, имея в виду единую пользу отечества, устраивает юное сердце, насаждает науки и созидает благие нравы... труд безмерный! но достойный всех наград...

Когда же люди модного воспитания не разумеют по-русски, то не могут они и судить ни о чем Русском. Воспитатели их, представляя добро иностранное, утверждают, что Россия о подобном и не воображала до них, и что ни есть в ней, то все худо... всякому свое мило. Ни о чем понятия не имеющий птенец упитывается подобными толками и нечувствительно привыкает ненавидеть Русское и пленяться иностранным... вот отчего Русские модно-воспитанники кажутся обезья-

нами... кого воспитывал француз, тот подражает французам; воспитанник англичанина поставляет за первый предмет казаться англичанином и так далее. Многократные опыты, случающиеся ежечасно в глазах наших, утверждают истину моих доводов... и кажется, что воспитатели разных земель, не видав друг друга никогда в глаза и не слыхавши об имени, единодушно согласились вливать в Россиян ненависть и презрение к России...

Я не отрицаю, чтоб не нужно было занять чего у иностранцев; но что и как занимать? В том вся важность. Петр Великий занял у иностранцев строй воинский, но сообразовал его со свойством воинов своих... Научили нас чужестранцы рядом ходить, разом палить, одеваться короче и ловчее; но твердость и неустрашимость — наша. Петр Великий занял строение кораблей, но учредил флот по своему благорассмотрению и от того превзошел всех своих учителей.

Итак, напрасно отрицают, что будто в Россиянах нет творческого духа... напрасно отрицают у нас свойство, которого ни один народ не имеет: оно состоит в непостижимой удобности все понимать. Не знающие отличить глагола *понимать* от *перенимать* дерзают приписывать Россиянам действие последнее; но какая разность между ими!

Перенимать значит то же самое делать, что видишь в том, кому следуешь: в сем действии мысль не объемлет самого существа дела, а схватывает одну только поверхность, и тогда человек бывает слепой только подражатель.

Понимать же значит проникать мыслями во внутренность дела, доходить до основания и ясно постигнуть умом его существо; в таком случае человек сам бывает творец и может превзойти своего учителя.

Один только Россиянин доказал свету, что для него нет ничего невозможного, и это свойство существует в душе его; он объемлет мыслью все, до чего только понятие его коснуться может; возьмем сперва способность выговора... Ни один народ не доходил до совершенного выговора языка чужестранного; а Россияне достигают до произношения совершенного во всех языках так, что тот народ, чей язык употреблен, не различит по выговору Россиянина от самого себя. Все искусства и науки у всех племен земнородных весьма медлительно восходили на известную степень своего совершенства; а в России они сделали такой скорый шаг, который привел весь свет в удивление... долго бы надобно было работать подражанию, чтобы хотя одну тень того, что мы имеем, произвести. ...

Русский все удобен понимать. Крестьяне, например, взятые в рекруты, не все становятся в ряды под ружье: надобны в службе музыканты, мастеровые и самые художники. Крестьяне, не знающие ничего, кроме пашни, разочтены по десяткам, смотря по необходимости, без всякого рассмотрения о их склонностях и способностях, кроме того, что статные и стройные отбираются в строевое служение... велют одним быть музыкантами... — не прошло трех месяцев, эти крестьяне точно таковы; естли же потом попадутся к искусным учителям, то бывают из них и виртуозы, то есть отменные в своем роде... Пусть похвалится какой-нибудь народ подобным свойством...

Неустрасимость Россиян есть отменное их свойство... Были народы храбрые, жаждущие воевать и побеждать, как-то Римляне. Они били весь свет по склонности и охоте к войне; но Россияне не для того бьют врагов, что они охотники драться, а для того, чтоб их самих не били. Необходимость сражаться выводит в поле Россиян всегда с сердечным сокрушением, и для того всегда они возвращаются с торжеством. Римлян, сих воинов света, победили; храбрость их навеки исчезла, и слава с именем их погибла. Россияне никогда побеждены не будут... Сказал один король, знающий войну и по своему собственному опыту, что Русских можно побить иногда, но победить никогда. Итак, Россияне не есть народ воинствующий, но народ побеждающий. Храбрость и отвага их основательны, а неустрасимость преславна...

...Одно только скажу, что изочтенных здесь свойств у россиян никто оспорить не может, т. е. что вообще россияне во всех состояниях и сословиях неустрасимы, правдивы, славолюбивы и об ней скромны, великодушны, жалостливы, быстропонятны ко всему, благочестивы без суеверия, терпеливы и веселы; а главное их свойство, что они во всем тверды. Не отрицаю и слабостей, а может быть, самых пороков, но они при блистании их великих добродетелей не весьма приметны, да и описывать их нет нужды, по коликү главное российское свойство есть доброе; а пороки их происходят от неумеренной, а иногда и не к стати употребляемой добродетели.

Зритель. 1792. Ч. 1. С. 9–12, 168–175, 180–181.

ЦЕНЗУРА: ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Указ о «Вольных типографиях» 1783 года

Генваря 15. Именной, данный Сенату. – О позволении во всех городах и столицах заводить типографии и печатать книги на российском и иностранных языках, с освидетельствованием оных от Управы благочиния.

Всемилоостивейше повелеваем типографии для печатания книг не различать от прочих фабрик и рукоделий, и вследствие того позволяем, как в обеих столицах наших, так и во всех городах империи нашей, каждому по своей собственной воле заводить оные типографии, не требуя ни от кого дозволения, а только давать знать о заведении таковом Управе благочиния того города, где он ту типографию иметь хочет. В сих типографиях печатать книги на российском и на иностранных языках, не исключая и восточных, с наблюдением однакож, чтобы ничего в них противного законам Божиим и гражданским, или же к явным соблазнам клонящегося издаваемо не было; чего ради от Управы благочиния отдаваемые в печать книги свидетельствовать, и ежели что в них противное сему нашему предписанию явиться, запрещать; а в случае самовольного напечатывания таковых соблазнительных книг, не только книги конфисковывать, но и о виновных в подобном самовольном издании недозволенных книг сообщать, куда надлежит, дабы оные за преступление законно наказаны были.

Полное собрание законов. Т. 21. С. 792.
Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. М., 1952. Вып. 1. С. 111–112.

Указ о печати 1796 года

Сентября 16. Именной, данный Сенату. – Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей конец ценсур в городах: Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивилловской таможне, и об упразднении частных типографий. ...

2. Частными людьми заведенные типографии, в рассуждении злоупотреблений, от того происходящих, исключая те только, кои по особому дозволению нашему, вследствие учиненных с главнейшими в государстве нашем местами соглашений или договоров устроены, упразднить, тем более, что для печатания полезных и нужных книг имеется достаточное количество таковых типографий, при раз-

ных училищах устроенных. 3. Никакие книги, сочиняемые или переводимые в государстве нашем, не могут быть издаваемы в какой бы то ни было типографии, без осмотра от одной из ценсур, учреждаемых в столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах ничего закону божию, правилам государственным и благонравию противного не находится. 4. Учрежденные, как выше сказано, в обеих столицах, таже в Риге, Одессе и при таможене Радзивилловской, ценсуры должны наблюдать те же самые правила и в рассуждении привозимых книг из чужих краев, так что никакая книга не может быть вывезена без подобного осмотра, подвергая сожжению те из них, кои найдутся противными закону божию, верховной власти или же развращающие нравы...

Полное собрание законов. Т. 23. С. 993.
Сборник материалов к изучению истории русской журналистики. М., 1952. Вып. 1. С. 112.

Указ о цензуре от 22 октября 1796 года

«Составить в каждом месте из трех особ – из одной духовной, одной гражданской и одной ученой», цензуры. «Духовных особ избрать синоду, гражданских – сенату, а ученых – академии наук и московскому университету». А избранным цензорам в свою осередь «сочинить себе штаты, сколько потребно канцелярских служителей, и на них, и на канцелярские расходы – денег, и оные штаты представить сенату».

Энгельгардт Н. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати. СПб., 1904. С. 28.

XIX ВЕК

3. ЖУРНАЛИСТИКА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

И. М. БОРН

На смерть Радищева

...Но участь правды быть гонимой;
Мне скажут многие из вас,
Сынов мечты блестящей, мнимой,
Минутной славы! И у нас
Имеет правда, добродетель,
Своих страдальцев: там Сократ,
Мудрец и смертных благодетель,
Казнен; а в ссылке там стократ
Пьют Патриоты смерти чашу:
На что же добродетель нам? –
Влача в златых цепях жизнь вашу,
Прилична речь сия рабам!..

...Такими мыслями занимался я, идучи к вам, любезные друзья! – На сих днях умер Радищев, муж вам всем известный, коего смерть более нежели с одной стороны в очах философа, важна для человечества. Жизнь подвержена коловратности и всяким переменам. Нет дня, похожего на другой. Как легчайший ветер возмущает поверхность вод, так жизнь наша есть игралище вечного движения. Радищев знал сие и с твердостью философа покорился року. Будучи в Иркутской губернии, в местечке Илимске, сделался благодетелем той страны; ум его просвещал, а добродушие утешало всех, помогало всем, и память добродетельного мужа пребудет там священной у позднейшего потомства. Когда они слышали, что просветитель их, их отец, их ангел-хранитель (он многих вылечил...), что Радищев их оставляет, стеклись к нему благодарные на расстоянии пяти сот верст! Всякий нес что-нибудь от сердечной благодарности, слезы каждого мешались со слезами торжествующего честного человека. ...

Радищев с горестию расстался с илимскими жителями; на возвратном своем пути остался он везде в памяти. В проезд мой через Тару остановился я в том доме, где он прожил неделю, и хозяин не мог

нахвалиться его добродушием, его ласковостию. Такова сила ума и добродетели! Истинно великий человек везде в своем месте, счастье и несчастье его не переменяют. Во всяком кругу действий, как в большом, так и в малом, творит он *возможное* благо. Истина и добродетель живут в нем, как солнце на небе, вечно не изменяющееся. ...

Свиток муз. 1803. Кн. 2. С. 136–144.

Поэты-радищевцы. Л., 1935. С. 243–246.

В. В. ПОПУГАЕВ

Негр

(перевод с испанского)

Солнце катилось к заходу на горизонте белого мыса; светлые лучи его, блестя как золото, отражались в водах тихо зыблущегося моря и приятным трепетанием своего блеска привлекали взор Амру, невольника, отягченного цепями, сидевшего на берегу. Белые исторгли его из недра семейства, дабы везти в сахарные плантации в Америку. Корабль на утро готовился к отъезду, и матросы вели уже некоторых участников бедствия Амру заключить в печальную темницу сего ужасного здания вод. ...

Европеец, славящийся своим просвещением и человеколюбием, сколь ужасное ты чудовище! Ты предпочитаешь себя неграм, чем ты их превосходишь? – никогда негр не отягчал оковами белого! Все зло, кое он ему сделал, есть то, что принял неблагородного и пекся о нем во всех правилах священного гостеприимства! Если ж когда и принимал оружие, устремляясь на его поражение, то не с намерением привести его в неволю, но дабы защитить собственную безопасность, жизнь и имение от жадного его корыстолюбия и вероломства. ...

Негры – народ великодушный, что делаете вы, продавая собратий ваших прямым врагам вашим? Увы! Сие путь к вашему уничтожению. Скоро загремят оковы во всем отечестве нашем, в сей славной обители праотцев наших, в земле независимости, и что будет сему виною? – простодушие и корыстолюбие тех, коих избрали мы блюстителями нашего покоя. Но хотя негры и подпадут неволе, свет будет знать, что не недостаток храбрости в них сему виною, а коварство – подлый, низкий порок белых. Храбрый не трепещет пасть в узы врага, но страшится отдаться в оные добровольно. А вы, о варвары! Страшитесь гнева небес за коварное сердце ваше – вы погибнете без вся-

кой пощады; глас трубы правосудия загремит на вас по окончании века; вы дадите отчет за отъятие воли нашей! Кто дал вам на сие право? Кто позволил вам делать невольниками собратий ваших? Негр не может принадлежать белому ни по каким правам. Воля не есть продажною, цена золота всего света не в силах оной заплатить, и никакой тиран ею располагать не должен». В сию минуту солнце скрылося, и несчастный негр умолк, последовав печально за матросом, долженствовавшим его, как и других, заключить в мрачную темницу корабля.

Периодическое издание «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». СПб., 1804.

И. П. ПНИН

Гражданин

Что есть гражданин? Тот ли, который, достигши места, хитростию и пронырством им занимаемого, дотоле почитает оное, доколе оно питает его гордость и алчность? Тот ли, который, поработен будучи постыднейшим страстям, на то только употребляет могущество, ему данное, чтобы не щадить имения и жизни своих сограждан? Тот ли, который, испровергая законы чести и справедливости, на сих плачевных развалинах общественного блага воздвигает бранный памятник своего счастья? Тот ли, который, убежден будучи гласом совести о своих пороках или неспособностях, под видом притворной любви к отечеству похищает знания, долженствующие быть предоставлены просвещенной и скромной добродетели? Не сей ли, наконец, с суровым оком, нечувствительным сердцем самолюбец, для которого благополучие государства есть не иное что, как пустое название, и коего душа, в презрительную беспечность погруженная, не ощущала никогда сего чувствования, соединяющего человека с подобным ему, столько ж неспособный соболеznовать о несчастьях, как и радоваться об успехах своего отечества? Нет, конечно; титул гражданина не принадлежит существам, толь преступными злоупотреблениями себя уничижающим. От общества отверженные, они не оставят по себе ничего более, как бесславие и презрение, в их жизни их преследовавшие. — Что ж есть *истинный* гражданин? О, вы, которым хочу я представить образ одного, внемлите! *Истинный* гражданин есть тот, который, общим избранием возведен будучи на почтительный степень

достоинств, свято исполняет все должности, на него возлагаемые. Пользуясь доверенностию своих сограждан, он не щадит ничего, жертвует всем, что ни есть для него драгоценнейшего, своему отечеству, трудится и живет единственно только для доставления благополучия великому семейству, коего он есть поверенный. Столь же беспристрастный судия, как закон, которого он есть орудие и которого справедливые решения никогда не причиняли слез угнетенной невинности, — он есть тот человек, который, завсегда следуя по стезе добродетели, посвящает себя совершенно всем полезным должностям: то налагая узду закона на беспорядки, общество возмущающие, то возбуждая трудолюбие, поощряя торговлю, ободряя все художества, отдаляя, предупреждая бдительностию своею несчастья, которые непредвидение или заблуждение могли бы навлечь на соотечественников его. Он есть хранитель государственного сокровища, который, зная, что залог, попечениям его вверенный, часто бывает плод трудолюбия, предпочитает богатству, на грабительстве и злодействе основанному, славу честного и бескорыстного человека. Он есть тот воин, который, подобно Курцию, ввергается в бездну, у ног его разверстую. Наконец, он есть тот, который, будучи добрым отцом, нежным супругом, почтительным сыном, искренним и верным другом, являет всем почтением к законам и нравам живой пример гражданских добродетелей.

Вот каких граждан отечество признает за истинных своих детей!

Санкт-Петербургский журнал. 1798. Ч. 2. С. 215–218.

Письмо к издателю

Милостивый государь мой!

На сих днях нечаянно попалась мне в руки старинная манжурская рукопись. Между многими мелкими в ней сочинениями нашел я одно весьма любопытное по своей надписи: «Сочинитель и Цензор». Немедленно перевел оное и сообщаю вам, милостивый государь мой, сей перевод с просьбою поместить его в вашем журнале.

Сочинитель и Цензор

(перевод с манжурского)

Сочинитель

Я имею, государь мой, сочинение, которое желаю напечатать.

Цензор

Его должно наперед рассмотреть. А под каким оно названием?

Сочинитель

Истина, государь мой!

Цензор

Истина? О! ее должно рассмотреть и строго рассмотреть.

Сочинитель

Вы, мне кажется, излишний берете на себя труд. Рассматривать истину? Что это значит? Я вам скажу, государь мой, что она не моя и что она существует уже несколько тысяч лет. Божественный Куна начертал оную в премудрых своих законах. Так говорит он: «Смертные! любите друг друга, не обижайте друг друга, не отнимайте ничего друг у друга, просвещайте друг друга, храните справедливость друг к другу; ибо она есть основание общежития, душа порядка и, следовательно, необходима для вашего благополучия». Вот содержание моего сочинения.

Цензор

Не отнимайте ничего друг у друга! будьте справедливы друг к другу!.. Государь мой, сочинение ваше непременно рассмотреть должно. (С живостью): Покажите мне его скорее.

Сочинитель

Вот оно.

Цензор

(Развертывая тетрадь и пробегая глазами листы):

Да... ну... это еще можно... и это позволить можно... но этого... никак пропустить нельзя (указывая на места в книге)!

Сочинитель

Для чего же, смею спросить?

Цензор

Для того, что я не позволяю – и следовательно, это непозволительно.

Сочинитель

Да разве вы больше, г. Цензор, имеете права не позволить печатать мою Истину, нежели я предлагать оную?

Цензор

Конечно, потому что я отвечаю за нее.

Сочинитель

Как? вы должны отвечать за мою книгу? А я разве сам не могу отвечать за мою Истину? Вы присваиваете себе, государь мой, совсем не принадлежащее вам право. Вы не можете отвечать ни за об-

раз мыслей моих, ни за дела мои; я уже не дитя и не имею нужды в дядьке.

Цензор

Но вы можете заблуждаться.

Сочинитель

А вы, г. Цензор, не можете заблуждаться?

Цензор

Нет, ибо я знаю, что должно и чего не должно дозволить.

Сочинитель

А нам разве знать это запрещается? разве это какая-нибудь тайна? Я очень хорошо знаю, что я делаю.

Цензор

Если вы согласитесь (показывая на книгу) выбросить сии места, то вы можете книгу вашу издать в свет.

Сочинитель

Вы, отнимая душу у моей Истины, лишая всех ее красот, хотите, чтобы я согласился в угождение вам обезобразить ее, сделать ее нелепою? Нет, г. Цензор, ваше требование бесчеловечно; виноват ли я, что Истина моя вам не нравится и что вы ее не понимаете?

Цензор

Не всякая истина должна быть напечатана.

Сочинитель

Почему же? Познание истины ведет к благополучию. Лишать человека сего познания – значит препятствовать ему в его благополучии, значит лишать его способов сделаться счастливым. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой; ибо истины между собою составляют непрерывную цепь. Исключить из них одну – значит отнять из цепи звено и ее разрушить. Притом же истинно великий муж не опасается слушать истину, не требует, чтоб ему слепо верили, но желает, чтоб его понимали.

Цензор

Я вам говорю, государь мой, что книга ваша без моего засвидетельствования есть и будет ничто, потому что без одного не может она быть напечатана.

Сочинитель

Г. Цензор! позвольте сказать вам, что Истина моя стоила мне величайших трудов; я не щадил для нее моего здоровья, просиживал для нее дни и ночи, словом, книга моя есть моя собственность. А

стеснять собственность, как говорит премудрый Кун, никогда не должно, ибо чрез сие нарушается справедливость и порядок. Впрочем, вернее, засвидетельствование ваше можно назвать ничего не значащим, ибо опыт показывает, что оно нисколько не обеспечивает ни книги, ни сочинителя. Притом, г. Цензор, вы изъясняетесь слишком непозволительно.

Цензор (гордо)

Я говорю с вами, как Цензор с Сочинителем.

Сочинитель (с благородным чувством)

А я говорю с вами, как гражданин с гражданином.

Цензор

Какая дерзость!

Сочинитель

О Кун! благодетельный Кун! Если бы ты услышал разговор сей, если бы ты видел, как исполняют твои законы; если бы ты видел, как наблюдают справедливость; если бы видел, как споспешествуют тебе в твоих божественных намерениях, тогда бы... тогда бы справедливый гнев твой... Но прощайте, г. Цензор, я так с вами заговорился, что потерял уже охоту печатать свою книгу. Знайте, однако ж, что истина моя пребудет неизменно в сердце моем, исполнённом любви к человечеству и которое не имеет нужды ни в каких свидетельствах, кроме собственной моей совести.

Журнал российской словесности. 1805. № 12. Декабрь.

О влиянии правительства на промышленность

Торговля, земледелие и мануфактуры суть источники народного богатства, которые возрастают с покровительством и ободрением сих отраслей промышленности.

В сей истине уже уверены правительства, которые единодушно стремятся привести в исполнение нужные для того меры; но опыты часто удостоверяют нас, что довольно только желать приблизиться к цели; и иногда случается, что одним мало обдуманном постановлением иссякается источник, и вместо умножения благосостояния стесняется ход общества в достижении к народному богатству.

Не должно никогда терять из виду, что ошибка в отношении к промышленности повлечет для себя вредные последствия для всех ее отраслей и состояний: угождая, например, мануфактуристам, мож-

но возбудить недовольствие в целом народе; они основывают свои предприятия на законодательстве существующем; малая перемена в оном заставляет их переменить и род занятий и согласовать свои труды и употребление капитала с настоящими обстоятельствами.

Правительству надобно быть убежденну, что все его постановления имеют большее или меньшее влияние на успехи промышленности. Оно не должно ничего делать наудачу. Как в шахматах одна шашка, не на том месте поставленная, рождает расстройство и даже проигрыш целой игры, так еще более может произойти с гражданскими постановлениями: трудно в них заменять и малые недостатки. Если оставлено без внимания и неважное обстоятельство, то от одной части замешательство перейдет к другой, и малая ошибка в частях делается великою в целом. Это особливо случается с теми постановлениями, которые не заимствованы из происшествий и состояния самого государства.

В различных родах промышленности, где каждый более или менее споспешествует успехам другого и соперничествует, весьма трудно согласовать различные выводы, чтобы, покровительствуя одному, не вытеснить другой род и не потрясать все здание. Самый малый налог может поколебать равновесие и нанести жестокий удар, начиная от первого производителя до последнего иждивателя. ...

Влияние Правительства на промышленность. Чтоб быть оной полезным, должно быть основано на благоразумии и просвещении; ему следует постоянно руководствоваться одним началом – *общеею пользою*, быть удалену пристрастия и переменчивости.

Правительство ограничить себя облегчением способов к заготовлению различного рода запасов для продовольствия, обеспечением прав собственности, открытием путей к сбыту произведений, доставлением наивозможно большей свободы промышленности. После сего оно может покоиться и представить все остальное собственному попечению производителей. ...

Правительство, которое знает свою истинную пользу, должно сколько возможно более споспешествовать умножению произведений: богатство казны увеличивается по мере налогов, а сии последние возрастают по мере способов и от влияния, основанного на просвещении. Не столько трудно определить количество податей, как образ их взимания; если они похищают большую часть чистого выигрыша рабо-

ты, то иссякается источник произведения, и тогда промышленность не окажет никаких успехов.

Правительство должно быть уверено самыми опытами в истине, что пожертвования, которые оно сделает для ободрения земледелия, мануфактур и торговли, вознаградятся; и налоги должны падать более не на главные потребности жителей, но на предметы роскоши...

Невский зритель. 1820. Ч. 1, № 3. С. 1–10.

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

Земля безглавцев

Ты знаешь, любезный друг, что я на своем веку довольно путешествовал. Часть моих странствований тебе известна, другую я отлагал сообщить тебе, опасаясь, что даже ты, уверенный в моей правдивости, сочтешь ее если и не ложью, по крайней мере произведением расстроенного, больного воображения.

Но недавно возвратился в Москву мой приятель – лейтенант М<атюшкин>. Он столько мне рассказывал чудесного об Сибири, об мамонтовых рогах и костях, об шаманах и северном сиянии, что несколько ободрил меня насчет моего собственного путешествия. К тому ж на днях я перечел всему свету известные, дивные, но справедливые похождения англичанина Гулливера. Ужели в моем повествовании встретишь более невероятностей?

В мою бытность в Париже однажды, апреля ...го дня 1821, в прекрасный весенний день, из улицы св. Анны, где жил, отправился я на гулянье. Тогда праздновали крестины дюка Бордосского. В числе зятейников, тешивших зевак Полей Елисейских, нашелся воздухоплаватель, преемник Монгольфьера. Я набрел на толпу, окружавшую его. Он готовился подняться и вызывал кого-нибудь из предстоящих себе в спутники. Друзья мои, парижане, – не трусы, но на сей раз что-то колебались. Подхожу, спрашиваю, в чем дело, и предлагаю смельчаку свое товарищество. Мы сели, взвились, и в два мига огромный Париж показался нам муравейником. Как описать чувство гордости, радости, жизни, которое тогда пролилось в меня! Исчезло для меня все низменное; я воображал себя духом бесплотным. Казалось, для меня осуществились мечты одного из Пифагоровых последователей: «По смерти буду бурей, с конца земли пронесусь в конец земли; душа моя обретет язык в завываниях, найдет тело в океанах воздуха! Или

нет, буду звездой вовек восходящею: ни время, ни пространство не удержит меня; воспарю – и не будет пределов моему парению!».

Усилия моего вожатого спустить челнок прервали мои сладостные думы и видения. Газ, наполнявший шар, был необыкновенно тонок и легок; мы поднялись на высоту необычайную, нам дышать стало трудно; вдруг обморок обуял обоих нас. Когда очнулся, я увидел страну мне вовсе не известную. По горло в пуху лежал я возле француза, не пришедшего еще в чувство; челнок наш носился над нами – игральные ветров. Мало-помалу мы встрепнулись и стали спрашивать друг у друга, где мы? «Ma foi, je ne le sais pas» (Ей-ей, я этого не знаю! (фр.). – *Примеч. сост.*) – воскликнул, наконец, мой вожатый. Мы находились уже не на земле. Перелетев в беспамятстве за пределы, где еще действует ее притяжение, мы занеслись в лунный воздух, потеряли равновесие и, наконец, выпали в пух месячный, который, будучи не в пример гуще и мягче нашей травы, не дал нам разбиться вдребезги. ...

Вскоре прибыли мы в довольно большой город, обсаженный пашкетовыми и пряничными деревьями. Мы узнали, что это Акардион – столица многочисленного народа Безглавцев. Он весь был выстроен из ископаемого леденца; его обмывала река Лимонад, изливающаяся в Шербетное озеро.

Ни слова, любезный друг, о произведениях сей страны; отчасти достопримечательности оной изгладились из моей памяти, отчасти столь чудесны, что покажутся тебе неправдоподобными. Вспомни, однако же, что луна не есть наш мир подлунный.

Войдя в город, француз остановил обывателя и попросил нам указать гостиницу. К моему удивлению Безглавец его очень хорошо понял и вступил с нами в разговор. Товарищ мой клялся, что слышит самое чистое парижское наречие; мне показалось, что Безглавец говорит по-русски. Мы отобедали, сняли со стола, слуги вышли, и я спросил своего спутника: «Как и чем мы расплатимся?» – «Il faut voir!» (Посмотрим! (фр.). – *Примеч. сост.*) – отвечал беспечный клеветр похождениям моих. Входит мальчик и на вопрос мой отвечает: «Пятьдесят палочных ударов и четыре пощечины, которые принять от вас немедленно явится сам хозяин. – Надеюсь, что и меня, сударь, вы потрудитесь наделить пинком или оплеухой!». Мы расплатились. «Скажи, – спросил я потом у содержателя гостиницы, – каким образом в вашем городе вы все знаете языки наших отечеств?» – «Не муд-

рено, милостивый государь, – отвечал он мне, – Акефалия граничит с Бумажным Царством, с областями человеческих познаний, заблуждений, мечтаний, изобретений! Мы отделены от них только Чернильною рекою и Стеною картонною!». По сему известию я тотчас решился туда отправиться, ибо Акефалия и в особенности столица Акардион стали мне уже с первого взгляда ненавистными. – Рассуди сам, друг мой: не прав ли я?

Большая часть жителей сей страны без голов, более половины – без сердца. Зажиточные родители к новородившимся младенцам представляют наемников, которые до двадцатилетнего их возраста подпиливают им шею и стараются вытравить сердце: они в Акефалии называются воспитателями. Редкая вымя может устоять против их усилий; редкое сердце вооружено на них довольно крепкою грудью.

Я вспомнил о своем отечестве и с гордостью поднялся на цыпочки, думая о преимуществе нашего русского воспитания перед акефалийским: мы вверяем своих детей благочестивым, умным иностранцам, которые, хотя ни малейшего не имеют понятия ни об нашем языке, ни об нашей святой вере, ни о прародительских обычаях земли нашей, но всячески силятся вселить в наших юношей привязанность ко всему русскому.

Однако черни в Акефалии позволено сохранять сердце и голову, совершенно излишние, по их мнению, части тела человеческого, – но и самые простолудимы силятся сбить их с рук и по большей части успевают в своих покушениях.

Естествоиспытатель, без сомнения, из примера акефалийцев стал бы выводить весьма глубокомысленные опровержения предрассудка, что для существования необходимы голова и сердце. Я – человек темный и не в состоянии вдаваться в слишком отвлеченные умозрения. Рассказываю только что видел. Одно меня поразило: с потерю головы сей народ становится весьма остроумным и красноречивым. Акефалийцы не только не теряют голоса, но, будучи все чревовещателями, приобретают, напротив, необыкновенную быстроту и легкость в разговорах; одно слово перегоняет в настоящих Безглавцах другое; каламбуры, эпиграммы, нежности взапуски бегут и, подобно шумному, неиссякаемому водопаду, низвергаются и потрясают воздух.

«Посему, – скажешь ты, – их словесность без сомнения находится в цветущем состоянии!». Не ошибешься. Хотя я в Акардионе и недолго пробыл, однако мог заметить, что у них довольно много политических и ученых ведомостей, вестников, модных журналов. Пле-

мя акардийских Греев и Тибуллов особенно велико; они составляют особенный легион. Между тем элегии одного несколько трудно отличить от элегий другого: они все твердят одно и то же, все грустят и тоскуют о том, что *дважды два – пять*. Эта мысль, конечно, чрезвычайно нова и поразительна, но под их пером уже несколько обветшала, по крайней мере так уверял меня один из знатоков их поэзии.

Как истинный сын отечества, я порадовался, что наши русские поэты выбрали предмет, который не в пример богаче: с семнадцати лет у нас начинают рассказывать про свою отцветшую молодость. Наши стихотворения не обременены ни мыслями, ни чувствами, ни картинами; между тем заключают в себе какую-то неизъяснимую прелесть, не понятную ни для читателей, ни для сочинителей; но всякий не славянофил, всякий человек со вкусом восхищается ими.

Избавившись от голов и сердец, акефалийцы получают ненасытную страсть к палочным ударам, которые составляют их текущую монету. Сею жаждою мучатся почти все: старцы и юноши, мужчины и женщины, рабы и вельможи. Впрочем – что город, то норы, что деревня, то обычай; но Безглавцы омерзели мне по своему нелепому притворству: они беспрестанно твердят о головах, которых не имеют, о доброте своих сердец, которыми гнушаются. Получающие самые жестокие побои, ищущие их везде, где только могут, утверждают, что их ненавидят.

Я оставил своего товарища в Акардионе и на другой день рано поутру отправился к пределам Бумажного Царства.

(Продолжение когда-нибудь.)

Мнемозина. 1824. Ч. 2.

Дельвиг А. А., Кюхельбекер В. К. Избранное. М., 1987. С. 494–498.

А. А. БЕСТУЖЕВ

Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов

Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных чувств и гениальных творений. Простор около умов высоких порождает гениев; они рвутся расшириться душою и наполнить пустоту. По времени круг сей стесняется; столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают их. Жажда нового ищет нечерпанных ис-

точников, и гении смело кидаются в обход мимо толпы в поиске новой земли, мира нравственного и вещественного; пробивают свои стези; творят небо, землю и ад родником вдохновений; печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой характер, озаряют обоих своей славою и все человечество своим умом!

За сим веком творения и полноты следует век посредственности, удивления и отчета. Песенники последовали за лириками, комедия вставала за трагедиею; но история, критика и сатира были всегда младшими ветвями словесности. Так было везде, кроме России; ибо у нас век разбора предидет веку творения; у нас есть критика и нет литературы; мы, пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали и брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать причины столь странного явления.

Первая заключается в том, что мы воспитаны иноземцами. Мы высосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народною гордостью, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унижить даже и то, что есть. К довершению несчастья мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной ни с нравом русского народа, ни с духом русского языка. Застав ее, после блестящих произведений, в поре полемических сплетней и приняв за образец бездушных умников века Людовика XV, мы и сами принялись толковать обо всем вкривь и вкось. Говорят: чтобы все выразить, надобно все чувствовать; но разве не надобно всего чувствовать, чтобы все понимать? а мы слишком бесстрастны, слишком ленивы и недовольно просвещены, чтобы и в чужих автографах видеть все высокое, оценить все великое. ...

Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей: теперь мы начинаем чувствовать и мыслить — но ошупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум — дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но, не занятый политикою, весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попадается, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества заражены той же болезнью. Мы, как дети, которые испытывают первую свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что внутри.

Теперь спрашивается: полезна или нет периодическая критика? Джеффри (английский литературный критик (1773–1850). – *Примеч. сост.*) говорит, что «она полезна для периодической критики». Мы не можем похвалиться и этим качеством: наша критика недалеко ушла в основательности и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности и более в забаву, чем в пользу. Словом, я думаю, наша полемика полезнее для журналистов, нежели для журналов, потому что критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало; но между тем листы наполняются, и публика, зевая над статьями вовсе для ней незанимательными, должна разбирать по складам надгробия безвестных людей. Справедливо ли, однако ж, так мало заботиться о пользе современников, когда подобным критикам так мало надежды дожить до потомства?

Мне могут возразить, что это делается не для наставления неисправимых, а для предупреждения молодых писателей. Но, скажите мне, кто ставит охранный маяк в луже? Кто будет читать глупости для того, чтобы не писать их?

Говоря это, я не разумею, однако ж, о критике, которая аналитически вообще занимается установкою правил языка, открывает литературные злоупотребления, разлагает историю, и, словом, везде, во всем отличает истинное от ложного. Там, где самохвальство, взаимная похвальба и незаслуженные брани дошли до крайней степени, там критика необходима для разрушения заговоренных броней какой-то мнимой славы и самонадеянности, для обличения самозванцев литераторов. Желательно только, чтобы критика сия отвергла все личности, все частности, все расчетные виды; чтобы она не корпела над запятыми, а имела бы взор более общий, правила более стихийные. Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно.

Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо следует другой: «а отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных?». Предслышу ответ многих, что от *недостатка ободрения*! Так, его нет, и слава богу! – Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, – но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, вызываю вас! Я вижу в бедности измож-

денных гонением или недостатком лиц ваших – рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение – их горнило. Порох на воздухе дает только вспышки, но сжатый в железе, он рвется выстрелом и движет и рушит громады... И в этом отношении к свету мы находимся в самом благоприятном случае. Уважение или по крайней мере внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили все внимание толпы, – но тут в проигрыше, конечно, не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда недостает собственной решимости вырваться из бисерных сетей света, – но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества, скрывать искру божества как пятно, стыдиться доблести как порока!! Уединение зовет его, душа просит природы, богатое нечерпанное лоно старины и мощного свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!

Однако ж такие чувства могут зародиться только в душах, куда заранее брошены были семена учения и размышления, только в людях, увлеченных случайным рассеянием, у которых есть к чему воротиться. Но таково ли наше воспитание? Мы учимся припеваючи и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уж он деловой, – и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником, оттого что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдье сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь – бестенная китайская живопись; наш свет – гроб повапленный!¹

¹ Гроб повапленный – символ безжизненности, от слова «вапа» – бурая краска, которой красили дешевые гробы.

Так ли жили, так ли изучались просветители народов? Нет! в тишине затворничества зрели их думы. Терновою стезею лишений пробивались они к совершенству. Конечно, слава не всегда летит об руку с гением; часто современники гнали, не понимая их; но звезда будущей славы согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, которое вопрошали они, дабы разгадать современное и научить потомство. Правда, и они прошли через свет, и они имели страсти людей; зато имели и взор наблюдателей. Они выкупили свои поступки упорченной опытностью и глубоким познанием сердца человеческого. Не общество увлекло их, но они повлекли за собой общества. Римлянин Альфиери (итальянский драматург (1749–1803). – *Примеч. сост.*), неизмеримый Бейрон гордо сбросили с себя золотые цепи фортуны, презрели всеми заманками большого света, – зато целый свет под ними и вечный день славы их наследие!!

Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни нашей, кроме многосторонности и безличия самого учения, которое во все мешается, все смешивает и ничего не извлекает, – нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней мере, наша муза остается невестою-невидимкою. Конечно, можно утешиться тем, что мало потери, так или сяк пишут сотни чужестранных и междуусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя водить на помочах. Оглядываясь назад, можно век назади остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас образцами. Притом все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они, следовательно, подражать им рабски в других обстоятельствах – невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только мерою достоинства наших творений. Так чужое высокое понятие порождает в душе истинного поэта неведомые дотоле понятия. Так, по словам астрономов, из обломков сшибающихся комет образуются иные, прекраснейшие миры!

Полярная звезда. 1825.

Избранные социально-политические произведения декабристов.
Л., 1951. Т. I. С. 469–473.

ЦЕНЗУРА: ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Н. Энгельгардт

Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903)

По уставу 1804 года цензура имела «рассматривать» книги, «назначаемые в общественному употреблению», предмет же сего «рассматривания есть доставить обществу книги и сочинения, способствующие к истинному просвещению ума и образованию нравов, и удалить книги и сочинения, противные сему намерению» (отд. I, ст. 1 и 2). Устав был короток (47 статей), цензоров по штату в Петербурге полагалось всего трое, «рассматривание» полагалось снисходительное и благожелательное. Он должен был только «наблюдать, чтобы ничего не было в оных противного закону Божию, правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина» (ст. 15). Если же цензор в доставленной ему рукописи найдет некоторые места, противные означенному, то не делает сам собою никаких в оных поправок; но, означив таковыя места, отсылает рукопись к издателю, дабы он сам исключил или переменял оныя. По возвращении же исправленной одобряет (ст. 16). «Впрочем, цензура в запрещении печатания или пропуска книг и сочинений руководствуется благоразумным снисхождением, удаляясь всякого пристрастного толкования сочинений или мест в оных, которые по каким-либо мнимым причинам кажутся подлежащими запрещению. Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать его выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать» (ст. 21). «Скромное и благоразумное исследование всякой истины, относящееся до веры, человечества, гражданского состояния, законоположения, управления государственного или какой бы то ни было отрасли правления, не только не подлежит и самой умеренной строгости цензуры, но пользуется совершенною свободою тиснения, возвышающею успехи просвещения» (ст. 22). «Сочинения или переводы, одобренные цензурою, могут быть напечатаны вновь, не подвергаясь вторичному рассмотрению» (ст. 39). Цензура не должна «задерживать рассмотрение рукописей, особенно для журналов, чтобы они не теряли «цену новости» (ст. 23). Таков этот идиллический устав, подписанный друзьями юного монарха, из первого кружка его: Ада-

мом Чарторыским, Новосильцевым, Потоцким... В нем всего одна грозная статья (19). Если бы в цензуру прислали сочинение, явно отвергающее бытие Божие, оскорбляющее верховную власть и проч., то комитет «немедленно объявляет о такой рукописи правительству для отыскания сочинителя и поступления с ним по законам». Но как прислать подобную рукопись в цензуру мог только человек, находящийся в белой горячке, а в здравом уме такого простака ожидать было напрасно, то и угроза являлась безопасной, производя, однако, приятный для уха «зловещих стариков», читавших это создание юного царствования, кандалный звон. Таков был устав!

Энгельгард Н. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904. С. 59–60.

**Из предписания князя А. Н. Голицина
попечителю С. Уварову. 22 августа 1820 г. № 1289**

...В книжке «Невский зритель», часть 1-ая, март, помещена опять целая статья под названием: «О влиянии правительства на промышленность», в коей делаются замечания правительству в постановлениях и распоряжениях его и даются оному наставления весьма неприличные ни в каком отношении. Таковое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в каком случае не может быть позволено. Посему покорнейше прошу вас, милостивый государь, предписать единожды навсегда цензуре ни под каким видом не пропускать никогда подобных сочинений и переводов под ответственностью в противном случае не пропускать цензурного комитета или того цензора, который сие нарушит.

Русская старина. 1900. Т. 104. С. 662–663.

Устав о цензуре 1826 г.

Параграф 3

Обязанность цензуры при рассматривании всех сих произведений состоит в ограждении святыни, престола, постановленных от него властей, законов отечественных, нравов и чести народной и личной от всякого, не только злонамеренного и преступного на них покушения.

Параграф 4

Главное управление цензуры вверяется министру народного просвещения.

Параграф 5

Для пособия ему в разрешении важнейших по цензуре дел и высшего руководства цензоров, учреждается верховный цензурный комитет.

Параграф 6

Три главнейшие в отношении к цензуре попечения, а именно: а) о науках о воспитании юношества; б) о нравах и внутренней безопасности, и в) о направлении общественного мнения, согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства, определяют состав верховного цензурного комитета из трех членов: министра народного просвещения, министра внутренних дел и министра иностранных дел, или исправляющих их должности.

Параграф 129

Право издания в свет всякого повременного издания может быть предоставлено только человеку добрых нравов, известному на поприще отечественной словесности, доказавшему сочинениями хороший образ мыслей и благонамеренность свою и способному направлять общественное мнение к полезной цели.

Параграф 136

Если цензурный комитет, по немалому числу запрещенных им статей, удостоверится, что издатель повременного сочинения не имеет хорошего образа мыслей и намерен давать своему изданию вредное для читателей направление, то, сделав из таковых статей выписку, представляет, через кого следует, министру народного просвещения, с мнением о воспреещении уличенному таким образом в неблагонамеренности писателю продолжать издание повременного своего сочинения.

Параграф 137

По рассмотрении дела сего в главном цензурном комитете, министр народного просвещения волен запретить всякое повременное издание, не дожидаясь окончания года, тогда подписчикам предоставляется право отыскивать на издателе или на издателях следующие им по расчету, за невыданные части годового издания деньги.

Параграф 138

Издатель или издатели повременного сочинения, подвергшиеся единожды помянутому пред сим запрещению, навсегда лишаются

права издавать повременные сочинения, как сами собою, так и в товариществе с другими.

Параграф 159

Всякое сочинение, перевод, подражание или извлечение, в котором отвергается, ослабляется или представляется сомнительным святое учение откровения, достоверность и святость книг священного писания, подвергается запрещению.

Параграф 165

Все, что в каком то ни было отношении обнаруживало в сочинителе, переводчике или художнике нарушителя обязанностей верно-подданного к священной особе государя императора и достоуважения к августейшему его дому, подлежит немедленному преследованию, а сочинитель, переводчик или художник задержанию и поступлению с ним по законам.

Параграф 166

Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение.

Параграф 213

Так как устав о цензуре не должен быть неизвестным никому из писателей или художников, издающих в свет произведения свои, то в случае важных обстоятельств, ответственность за содержание напечатанных уже творений их не прекращается от того, что они напечатаны по одобрению цензора. Ибо гораздо виновнее тот, кто, занимаясь на свободе одним только сочинением своим, обдумывает в тишине кабинета что-либо вредное для общественной безопасности и нравов и потом издает в свет, нежели цензор, рассматривавший сочинение его по обязанности своей наряду со многими другими.

10 июня 1826 г.

Сборник постановлений и распоряжений по цензуре
с 1720 по 1862 г. СПб., 1862.

С. 130–131, 160–163, 164–168, 171, 179–186, 187.

4. ЖУРНАЛИСТИКА 30-х ГОДОВ XIX ВЕКА

Н. А. ПОЛЕВОЙ

Письмо издателя к NN

(в отрывках)

Для изображения *совершенного* журнала вообразите зеркало, в котором отражается весь мир нравственный, политический и физический. Такой журнал едва ли не более многих книг принесет пользы. Совершенство – удел не земного мира; по крайней мере, старание приблизиться к идеалу есть уже *усовершенствование*.

Не все могут уделять время на чтение огромных томов: многие ли привыкли к обдуманному, систематическому чтению? – Здесь преимущество на стороне журналов: истинно полезное, истинно изящное предлагает вам журналист, не пугая обширными определениями, пестротой выписок, толщиной книги. В журнале литературном нет места сухой учености. Позволим иногда и философу сказать в нем несколько слов, но пусть говорит он улыбаясь, помнит о дружбе Сократа с грациями и бережет утрюмость свою для книг; историк пусть расскажет нам что-нибудь занимательное, важное, но расскажет легко и приятно, а терны учености посеет в отдельной книге.

Главное: сыскать скользкую дорожку, которая вьется между излишнею легкостью. Читателю скучно находить и в журнале, что находил он в огромной книге, после которой хотел отдохнуть; еще несноснее найти статью длинную, сухую, разорванную в несколько номеров журнала; все однакож лучше найти что-нибудь, нежели ничто, в легкой как пух книжечке, обертка которой обременена нулевым перечнем поэзии и прозы!..

Вообще можно пожелать, чтобы журналисты более пользовались важным преимуществом своим – представлять отчетные извлечения из всех книг любопытных и важных и уведомлять читателей обо всем, что слышно нового; журналист – разнощик вестей; встречаясь с ним, не спрашивают: что вы знаете? Но – нет ли чего-нибудь нового?

Вот почему я полагаю критику одним из важнейших отделений журнала – пусть только будет она умна, правдива, дельна. Присовокупите к тому избранные новости литературные, важнейшие новости в науках и художествах, обзор всеобщего просвещения и умеете предлагать это неодносторонно разнообразно. ...

Как читатель, с русским журналистом я заключил бы еще некоторые особенные условия, и кроме того, что говорено было нами вообще о журналах, сказал бы ему отдельно, ибо в настоящем положении литературы, наук и просвещения в нашем отечестве мы делаем некоторое исключение из Европы вообще.

Я просил бы русского журналиста заметить, с какою ревностью стараются теперь везде о *сближении* и быстром обмене ученых открытий и литературных произведений. И нам не должно принять участие в общем деле? – Говорят, что в целом свете издается более десяти тысяч журналов. Отделим *двадцатую часть*, выбросим из нее на половину: еще 250 журналов к услугам русского журналиста! Богатства ума и познаний Америки, Азии, Европы готовы наполнить его журнальную выставку! А оптовые произведения, которые может он передать читателям? – Среди толпы обыкновенных людей всегда возвышается несколько исполинов, богатых новыми, превосходными творениями. В литературе нет курса на ум, и журналисту надобны только уменье выбрать и охота перевести.

Но он может оказать важную услугу отечеству. Мы – жители Севера, соседи Азии и посредники Европы в истории, статистике и географии полусвета; от нас ждут ученые люди точных и правильных сведений о северной литературе и истории – и ждут нетерпеливо. Посмотрите, как недостаточны понятия их даже об нас самих и как они вызывают нас на труд полезный и славный. Недавно Шатробан просил Московское Общество Истории и Древностей о мене сведений; издатель Всеобщего бюллетеня, Ферюссак, приглашал русских ученых к участию в его обширном предприятии; Академии и ученые общества французские и немецкие задают вопросы касательно России и Севера; а ученые перепечатавают наши книги. Русский журналист, не связанный однообразием журнала, может выполнить требования иностранцев, предоставляя им результаты ученых трудов и изысканий наших, указывая им ошибки, наводя их на путь истинный, которым пойдет трудолюбие немца и догадливость француза. Если бы в русском журнале появилась статья: разбор всех сочинений касательно истории, географии и статистики русской, или – разбор всех сочинений, в которых иностранцы говорили о России, – мне кажется, та или другая могли бы называться любопытными статьями и придавать русскому журналу вес и полноту.

Я поставил бы в обязанность русскому журналу другой, не менее важный, подвиг – беспристрастный надзор за отечественною лите-

ратурой. Обличение невежества, похвала уму и познаниям – его дело. Публика судит; но у нас не учредилось еще судилище общего мнения. Литература только что разворачивается, вкус наш, так сказать, не устоялся, и зло можно прекращать в начале. Пусть поэты и прозаики наши летают во всех возможных направлениях умозрения и фантазии, – журналист может и должен разбирать и ценить труды их, отделять репейник, быть посредником здравого смысла, чистого вкуса, изящного слова. Пусть заслужит он доверие читателей беспристрастием, правотою суждений – его труд не потерян. ...Каким образом отличить читателю хорошее от дурного, не ошибиться в выборе, если ему предлагают толстую книгу и громкое газетное объявление? – Прибавьте советы юному (NB. В некоторых летах потребны не советы, но уличение), трудолюбивому писателю и исследователю. Журналист посредствует между им и публикою; предлагает отрывки из творения, готового вступить в свет и улучшает его советами читателей и своими замечаниями.

Вот идеальное изображение цели и пользы журнала, издаваемого для чтения общего, не отдельно для какого-нибудь сословия читателей!

Московский телеграф. 1825. № 1. С. 7–12.

А. С. ПУШКИН

О записках Видока

В одном из № «Лит. Газеты» упоминали о *Записках парижского палача*; нравственные сочинения Видока, полицейского сыщика, суть явление не менее отвратительное, не менее любопытное.

Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека.

Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом (*un bon Français*), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! Он уверяет, что служил в военной службе, и как ему не только дозволено, но предписано всячески передеваться, то и шеголяет орденом Почетного Легиона, возбуждая в кофейнях негодование честных бедняков, состоящих на половинном жалованье (*officiers*).

Он нагло хвастается дружною умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой). Он с удивительной важностию толкует о хорошем обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях, отчасти надеясь на их презрение, отчасти по расчету; суждения Видока о Казимире де ла Вине (К. де ла Винь (1783–1843) – французский поэт. – *Примеч. сост.*), о Б. Констане (Б. Констан (1787–1830) – французский писатель. – *Примеч. сост.*) должны быть любопытны именно по своей нелепости.

Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагоприятный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений; раздражительность, смешная во всяком другом писателе, но в Видоке утешительная, ибо видим из нее, что человеческая природа, в самом гнусном своем унижении, все еще сохраняет благоговение перед понятиями, священными для человеческого рода.

Предлагается важный вопрос:

Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч. не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?

Литературная газета. 1830. № 20.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т.

М.: Л., 1949. Т. 11. С. 129–130.

Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов

In aenam cum aequalibus descendi (Cic.)¹

Посреди полемики, раздирающей бедную нашу словесность, Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин более десяти лет подают утешительный пример согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных. Сей назидательный союз

¹ Я вышел на арену вместе с равными мне (Цицерон).

ознаменован почтенными памятниками, Фаддей Венедиктович скромно признал себя учеником Николая Ивановича, Н. И. поспешно провозгласил Фаддея Венедиктовича *ловким своим товарищем*. Ф. В. посвятил Николаю Ивановичу своего «Дмитрия Самозванца», Н. И. посвятил Фаддею Венедиктовичу свою «Поездку в Германию». Ф. В. написал для «Грамматики» Николая Ивановича хвалебное предисловие¹, Н. Ив. в «Северной пчеле» (издаваемой гг. Гречем и Булгариным) напечатал хвалебное объявление об «Иване Выжигине» (роман Ф. В. Булгарина. – *Примеч. сост.*). Единодушие истинно трогательное! – Ныне Николай Иванович, почитая Фаддея Венедиктовича оскорбленным в статье, напечатанной в № 9 «Телескопа» (рецензия Н. И. Надеждина на роман Булгарина «Петр Иванович Выжигин». – *Примеч. сост.*), заступился за своего товарища со свойственным ему прямотою и горячностью. Он напечатал в «Сыне отечества» (№ 27) статью, которая, конечно, заставит молчать дерзких противников Фаддея Венедиктовича; ибо Николай Иванович доказал неоспоримо:

1) Что М. И. Голенищев-Кутузов возведен в княжеское достоинство в июне 1812 г. (с. 64).

2) Что не сражение, а план сражения составляет тайну главнокомандующего (с. 64).

3) Что священник выходит на встречу подступающему неприятелю с крестом и святою водою (с. 65).

4) Что секретарь выходит из дому в статском изношенном мундире, в треугольной шляпе, со шпагою, в белом изношенном исподнем платье (с. 65).

5) Что пословица *vox populi – vox dei* (Глас народа – глас божий (лат.)). – *Примеч. сост.*) есть пословица латинская и что она есть истинная причина французской революции (с. 65).

6) Что «Иван Выжигин» не есть произведение образцовое, но, *относительно*, явление приятное и полезное (с. 62).

7) Что Фаддей Венедиктович живет в своей деревне близ Дерпта и просил его (Николая Ивановича) не посылать к нему вздоров (с. 68).

И что, следственно, *Ф. В. Булгарин своими талантами и трудами приносит честь своим согражданам*, то и доказать надлежало.

¹ См. «Грамматику» Греча, напечатанную в типографии Греча. – *Примеч. А. С. Пушкина.*

Против этого нечего и говорить: мы первые громко одобряем Николая Ивановича за его откровенное и победоносное возражение, приносящее столько же чести его логике, как и горячности чувствований.

Но дружба (сие священное чувство) слишком далеко увлекла пламенную душу Николая Ивановича, и с его пера сорвались нижеследующие строки

– «Там – (в № 9 «Телескопа») – взяли *две глупейшие, вышедшие в Москве* – (да, в Москве) – книжонки, сочиненные каким-то А. Орловым».

О, Николай Иванович, Николай Иванович! Какой пример подаете вы молодым литераторам? Какие выражения употребляете вы в статье, начинающейся сими строгими словами: «*У нас издавна, и по справедливости, жалуются на цинизм, невежество и недобросовестность рецензентов*»? Куда девалась ваша умеренность, знание приличия, ваша известная добросовестность? Перечтите, Николай Иванович, перечтите сии немногие строки – и вы сами с прискорбием сознаетесь в своей необдуманности.

– «*Две глупейшие книжонки!.. какой-то А. Орлов!..*» Шлюсь на всю почтенную публику: какой критик, какой журналист решился бы употребить сии неприятные выражения, говоря о произведениях живого автора? ибо, слава богу; почтенный мой друг Александр Анфимович Орлов жив! Он жив, несмотря на зависть и злобу журналистов; он жив, к радости книгопродавцев, к утешению многочисленных читателей!

– «*Две глупейшие книжонки!..*» Произведения Александра Анфимо-вича, разделяющего с Фаддеем Венедиктовичем любовь российской публики, названы: *глупейшими книжонками!* – Дерзость неслыханная, удивительная, оскорбительная не для моего друга (ибо и он живет в своей деревне близ Сокольников; и он просил меня не посылать ему всякого вздору); – но оскорбительная для всей читающей публики!¹

– «*Глупейшие книжонки!..*»! Но чем докажете вы сию глупость? Знаете ли вы, Николай Иванович, что более 5000 экземпляров сих *глупейших книжонок* разошлись и находятся в руках читающей публики, что Выжигины г. Орлова пользуются благосклонностью публики наравне с Выжигиными г. Булгарина; а что образованный класс

¹ См. разбор «Денницы» в «С[ыне] о[тчества]». – Примеч. А. С. Пушкина.

читателей, которые гнушаются теми и другими, не может и не должен судить о книгах, которых не читает?

Скрепя сердце, продолжаю свой разбор.

– «Две глупейшие! – (глупейшие!) – вышедшие в Москве – (да, в Москве) – книжонки»...

В Москве, да, в Москве!.. Что же тут предосудительного? К чему такая выходка противу первопрестольного града?.. Не в первый раз заметили мы сию странную ненависть к Москве в издателях «Сына отечества» и «Северной пчелы». Больно для русского сердца слушать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной, о Москве, пострадавшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от всякого сброду.

Москва донныне центр нашего просвещения: в Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих *ubi bene, ibi patria* («Где хорошо, там и родина» (лат.) – *Примеч. сост.*), для коих все равно: бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить все русское, – были бы только сыты.

Чем возгордилась петербургская литература?.. Г. Булгариным?.. Согласен, что сей великий писатель, равно почтенный и дарованиями и характером, заслужил бессмертную себе славу; но произведения г. Орлова ставят московского романиста если не выше, то, по крайней мере, наравне с петербургским его соперником. Несмотря на несогласие, царствующее между Фаддеем Венедиктовичем и Александром Анфимовичем, несмотря на справедливое негодование, возбужденное во мне неосторожными строками «Сына отечества», постараемся сравнить между собою сии два блистательные солнца нашей словесности.

Фаддей Венед. превышает Александра Анфимовича пленительною щеголеватостию выражений. Александр Анф. берет преимущество над Фадд. Венедиктовичем живостию и остротою рассказа.

Романы Фаддея Венед. более обдуманы, доказывают большее терпение¹ в авторе (и требуют еще большего терпения в читателе); повести Александра Анф. более кратки, но более замысловаты и заманчивы.

Фаддей Венед. более философ; Александр Анф. более поэт.

¹ Гений есть терпение в высочайшей степени – сказал известный Бюффон. – *Примеч. А. С. Пушкина.* (Ж. Бюффон (1707–1788) – французский натуралист.)

Фад. Венед. гений; ибо избрал имя *Выжигина*, и сим смелым нововведением оживил пошлые подражания Совестьюдрану и Английскому Милорду (герой лубочных романов XVIII века. – *Примеч. сост.*), Александр Анф. искусно воспользовался изобретением г. Булгарина и извлек из оного бесконечно разнообразные эффекты.

Фаддей Венед., кажется нам, немного однообразен; ибо все его произведения не что иное, как Выжигин в различных изменениях: «Иван Выжигин», «Петр Выжигин», «Дмитрий Самозванец, или Выжигин XVII столетия», собственные записки и нравственные статьи – все сбивается на тот же самый предмет. Александр Анф. удивительно разнообразен. Сверх несметного числа «Выжигиных», сколько цветов рассыпал он на поле словесности! «Встреча Чумы с Холерою»; «Сокол был бы Сокол, да Курица его съела, или Бежавшая жена»; «Живые обмороки», «Погребение Купца» и проч. и проч.

Однако же беспристрастие требует, чтоб мы указали сторону, с коей Фаддей Венед. берет неоспоримое преимущество над своим счастливым соперником; разумею нравственную цель его сочинений. В самом деле, любезные слушатели, что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем, сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под. Г. Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него – Ножевым, взяточник – Взяткиным, дурак – Глаздуриным и проч. Историческая точность одна не позволила ему назвать Бориса Годунова – Хлопоухиным, Дмитрия Самозванца – Каторжниковым, а Марину Мнишек – княжною Шлюхиной, зато и лица сии представлены несколько бледно.

В сем отношении г. Орлов решительно уступает г. Булгарину. Впрочем, самые пламенные почитатели Фаддея Венед. признают в нем некоторую скуку, искупленную назидательностью; а самые ревностные поклонники Александра Анф. осуждают в нем иногда необдуманность, извиняемую, однакож, порывами гения.

Со всем тем Александр Анф. пользуется гораздо меньшей славой, нежели Фаддей Венед. Что же причиною сему видимому неравенству?

Оборотливость, любезные читатели, оборотливость Фаддея Венедиктовича, ловкого товарища Николая Ивановича! «Иван Выжигин» существовал еще только в воображении почтенного автора, а уже в «Северном архиве» (журнал истории, статистики и путешествий,

издавался с 1822 года Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем. – *Примеч. сост.*), «Северной пчеле» и «Сыне отечества» отзывались об нем с величайшею похвалою. Г. Ансело (французский поэт, был в России в 1826 году, написал книгу «Шесть месяцев в России». – *Примеч. сост.*) в своем путешествии, возбудившем в Париже общее внимание, провозгласил сего, еще не существовавшего, «Ивана Выжигина», лучшим из русских романов. Наконец «Иван Выжигин» явился; и «Сын отечества», «Северный архив» и «Северная пчела» превознесли его до небес. Все кинулись его читать; многие прочли до конца; а между тем похвалы ему не умолкали в каждом номере «Сев. архива», «Сына отеч.» и «Сев. пчелы». Сии усердные журналы ласково приглашали покупателей; ободряли, подстрекали ленивых читателей, угрожали местью недоброжелателям, недочитавшим «Ивана Выжигина» из единой низкой зависти.

Между тем, какие вспомогательные средства употреблял Александр Анфимович Орлов?

Никаких, любезные читатели!

Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках.

Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых.

Он не заманивал унижительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей.

Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии.

Он не отвечал ни на одну критику; он не называл своих противников дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и тому под.

Но – обезоружил ли тем он многочисленных врагов? Ни мало. Вот как отзывались о нем его собратья:

«Автор вышеисчисленных творений сильно штурмует нашу бедную русскую литературу и хочет разрушить русский Парнас не бомбами, но каркасами, при помощи услужливых издателей, которые щедро платят за каждый манускрипт знаменитого сего творца по двадцати рублей ходячею монетою, как уверяли нас знающие дело книгопродавцы. Автор есть муж – из ученых, как видно по латинским фразам, которыми испещрены его творения, а сущность их доказывает, что он, как сказано в «Недоросле»: «Убоясь бездны премудрости, вспять обратился». – Знаменитое лубочное произведение: «Мыши кота

хоронят, или Небылицы в лицах», есть Илиада в сравнении с творениями г. Орлова, а Бова Королевич – герой, до которого не возвысился еще почтенный автор... Державин есть у нас Альфа, а г. Орлов Омега в литературе, то-есть, последнее звено в цепи литературных существ, потому *заслуживает внимания, как все необыкновенное*¹ ... Язык его, изложение и завязка могут сравняться только с отвратительными картинами, которыми наполнены сии чада безвкусыя, и с смелостью автора. Никогда в Петербурге подобные творения не увидели бы света, и ни один из петербургских уличных разносчиков книг (не говорим о книгопродавцах) не взялся бы их издавать. По какому праву г. Орлов вздумал наречь своих холопей, Хлыновских степняков Игната и Сидора, детьми Ивана Выжигина, и еще в то самое время, когда автор Выжигина издает другой роман под тем же названием?.. Никогда такие омерзительные картины не появлялись на русском языке. Да здравствует московское книгопечатание!» («Сев. пч.». 1831. № 46).

Какая злонамеренная и несправедливая критика! Мы заметили уже неприличие нападения на Москву; но в чем упрекают здесь почтенного Александра Анфимовича?.. В том, что за каждое его сочинение книгопродавцы платят ему по 20 рублей? что же! бескорыстному сердцу моего друга приятно думать, что, получив 20 рублей, доставил он другому 2000 выгоды², между тем, как некоторый петербургский литератор, взяв за свою рукопись 30 000, заставил охать погорячившегося книгопродавца!!!

Ставят ему в грех, что он знает латинский язык. Конечно; доказано, что Фаддей Венедиктович (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает по-латыни; но ужели сему незнанию обязан он своею бессмертною славою?

Уверяют, что г. Орлов из ученых. Конечно; доказано, что г. Булгарин вовсе не учен, но опять повторяю: разве невежество есть достоинство столь завидное?

Этого недовольно: грозно требуют ответа от моего друга: как дерзнул он присвоить своим лицам имя, освященное самим Фаддеем Венедиктовичем? Но разве А. С. Пушкин не дерзнул вывести в своем «Борисе Годунове» все лица романа г. Булгарина и даже воспользоваться многими местами в своей трагедии (писанной, говорят, пять лет прежде и известной публике еще в рукописи!)?

¹ Важное сознание! Прошу прислушать! – *Примеч. А. С. Пушкина.*

² Историческая истина! – *Примеч. А. С. Пушкина.*

Смело ссылаюсь на совесть самих издателей «Сев. пчелы», справедливы ли сии критики? Виноват ли Александр Анфимович Орлов?

Но еще смелее ссылаюсь на почтенного Николая Ивановича: не чувствует ли он глубокого раскаяния, оскорбив напрасно человека с столь отличным дарованием, *не стоящего с ним ни в каких сношениях, вовсе его не знающего и не писавшего о нем ничего дурного?*¹

Феофилакт Косичкин

Телескоп. 1831. № 13.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т.
М.: Л., 1949. Т. 11. С. 204–210.

Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем

Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно, как Пролаз с Высоносом, говоря в похвальбу себе и в утешение:

«Ведь, кажется, у нас по полной оплеухе» (из комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки»). – *Примеч. сост.*).

Нет; рассердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного. Для поддержания же себя в сем суровом расположении духа перечитываю я тщательно мною переписанные в особую тетрадь статьи, подавшие мне повод к такому ожесточению. Таким образом, пересматривая на днях антикритику, подавшую мне случай заступиться за почтенного друга моего А. А. Орлова, попал я на следующее место:

– «Я решился на сие» – (на оправдание г. Булгарина) – «не для того, чтобы оправдать и защищать Булгарина, который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов» (см. № 27 «Сына отечества», издаваемого гг. Гречем и Булгариным).

Изумился и, каким образом мог я пропустить без внимания сии красноречивые, но необдуманые строки! Я стал по пальцам пересчитывать всевозможных рецензентов, у коих менее ума в голове, нежели у г. Булгарина в мизинце, и теперь догадываюсь, кому Николай Иванович думал погрозить мизинчиком Фаддея Венедиктовича.

В самом деле, к кому может отнестись это затейливое выражение? Кто наши записные рецензенты?

¹ Сын отечества. № 27. С. 60. – *Примеч. А. С. Пушкина.*

Г-н Полевой (издатель «Московского телеграфа». – *Примеч. сост.*)? Но несмотря на прежние раздоры, на письма Бригадириши¹, на насмешки славного Грипусье, на недавнее прозвище Верхогляда и проч. и проч., *всей Европе известно*, что «Телеграф» состоит в добром согласии с «Северной пчелой» и «Сыном отечества»: *мизинчик* касается не его.

Г-н Воейков? Но сей замечательный литератор рецензиями мало занимается, а известен более изданием Хамелеонистики², остроумного сбора статей, в коих выводятся, так сказать, на чистую воду некоторые, так сказать, литературные плутни. Ловкие издатели «Северной пчелы» уже верно не станут, как говорится, класть ему пальца в рот, хотя бы сей палец был и знаменитый вышеупомянутый *мизинчик*.

Г-н Сомов (редактор «Литературной газеты». – *Примеч. сост.*)? Но, кажется, «Литературная газета», совершив свой единственный подвиг – совершенное уничтожение (литературной) славы г. *Булгарина*, – почитет на своих лаврах, и г. Греч, вероятно, не станет тревожить сего счастливого усыпления, щекотя «Газету» проказливым *мизинчиком*.

Кого же оцарапал сей мизинец? Кто сии рецензенты, у коих – и так далее? Просвещенный читатель уже догадался, что дело идет обо мне, о Феофилакте Косичкине.

Всему свету известно, что никто постояннее моего не следовал за исполинским ходом нашего века. Сколько глубоких и блистательных творений по части политики, точных наук и чистой литературы вышло у нас из печати в течение последнего десятилетия (шагнувшего так далеко вперед) и обратило на себя справедливое внимание завидующей нам Европы! Ни одного из таковых явлений не пропустил я из виду; обо всяком, как известно, написал я по одной статье, отличающейся ученостию, глубокомыслием и остроумием. Если долг беспристрастия требовал, чтоб я указывал иногда на недостатки разбираемого мною сочинения, то может ли кто-нибудь из гг. русских авторов жаловаться на заносчивость или невежество *Феофилакta Косичкина*?

¹ «Письма бригадириши» – статьи против «Московского телеграфа», собранные А. А. Воейковым и изданные в журнале «Славянин». В числе этих статей была и статья Булгарина.

² «Хамелеонистика» – сатирические фельетоны А. А. Воейкова в «Славянине», направленные против Полевого.

Может быть, по примеру г. Полевого я слишком лестно отзываюсь о самом себе; я мог бы говорить в третьем лице и попросить моего друга подписать имя свое под сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковыми уловками, и гг. русские журналисты, вероятно, не укорят меня в шарлатанстве.

И что ж! Г-н *Греч* в журнале, с жадностью читаемом во всей просвещенной Европе, дает понимать, будто бы в мизинце его товарища более ума и таланта, чем в голове моей? Отзыв слишком для меня оскорбительный! Полагаю себя в праве объявить *во услышание всей Европы*, что я ничьих мизинцев не убоюсь; ибо не входя в рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои (каждый особо, и все пять в совокупности) готовы воздать сторицею, кому бы то ни было. *Dixi!*

Взявшись за перо, я не имел, однако ж, целию объявить о сем почтеннейшей публике; подобно нашим писателям-аристократам – (разумею слово сие в его ироническом смысле) я никогда не отвечал на журнальные критики: дружба, оскорбленная дружба призывает опять меня на помощь угнетенного дарования.

Признаюсь: после статьи, в которой так торжественно оправдал и защитил я А. А. Орлова – (статьи, принятой московскою и петербургскою публикою с отличной благосклонностию), не ожидал я, чтоб «Северная пчела» возобновила свои нападения на благородного друга моего и на первопрестольную столицу. Правда, сии нападения уже гораздо слабее прежних, но я не умолкну, доколе не принужу к совершенному безмолвию ожесточенных гонителей моего друга и непочтительного «Сына отечества», издаваемого над нашей древнею Москвою.

«Северная пчела» (№ 201), объявляя о выходе нового «Выжигина», говорит: «Заглавие сего романа заставило нас подумать, что это одно из многочисленных подражаний произведением нашего *блаженного* г. А. Орлова, знаменитого автора... Притом же всякое произведение московской литературы, носящее на себе печать изделия книгопродавцев пятнадцатого класса... приводит нас в невольный трепет». «*Блаженный г. Орлов*»... Что значит *блаженный* Орлов? О конечно: если блаженство состоит в спокойствии духа, не возмущаемого ни завистью, ни корыстолюбием; в чистой совести, не запятнанной ни плутнями, ни лживыми доносами; в честном и благородном труде, в смиренном развитии дарования, данного от бога, – то добрый и небогатый Орлов блажен и не станет завидовать ни богатству плута, ни

чинам негодяя, ни известности шарлатана!!! Если же слово *блаженный* употреблено в смысле, коего здесь изъяснять не стану, то удивляюсь охоте некоторых людей, старающихся представить смешными вещи, вовсе не смешные, и которые даже не могут извинять неприличия мысли остроумием или веселостию оборота.

Насмешки над книгопродавцами пятнадцатого класса обличают аристократию чиновных издателей, некогда осмеянную так называемыми аристократическими нашими писателями. Повторим истину, столь же неоспоримую, как и нравственные размышления г. *Булгарина*: «чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному мараке. Фильдинг и Лабрюер не были ни статскими советниками, ни даже коллежскими асессорами. Разночинцы, вышедшие в дворянство, могут быть почтенными писателями, если только они люди с дарованием, образованностию и добросовестностию, а не фигляры и не наглецы».

Надеюсь, что сей умеренный мой отзыв будет последним и что почтенные издатели «Северной пчелы», «Сына отечества» и «Северного архива» не вызовут меня снова на поприще, на котором являюсь редко, но не без успеха, как изволите видеть. Я человек миролюбивый, но всегда готов заступиться за моего друга; я не похожу на того китайского журналиста, который, потакая своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо всякому: «этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми порядочными людьми, марает меня своим товариществом; но что делать? он человек деловой и расторопный».

Между тем полагаю себя вправе объявить о существовании романа, коего заглавие прилагаю здесь. Он поступит в печать или останется в рукописи, смотря по обстоятельствам.

Настоящий Выжигин

Историко-нравственно-сатирический роман XIX века

Содержание

Г л а в а I. Рождение Выжигина в кудлашкиной конуре. Воспитание ради Христа. Г л а в а II. Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон. Г л а в а III. Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Г л а в а IV. Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. Г л а в а V. Ubi bene, ibi patria. Г л а в а VI. Московский пожар. Выжигин грабит Москву. Г л а в а VII. Выжигин перебегает. Г л а в а VIII. Выжигин без куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш. Г л а в а IX. Выжигин игрок. Выжигин и отставной квартальный. Г л а в а X. Встреча Выжигина с Выхухлиным. Г л а в а XI. Ве-

селяя компания. Курьезный куплет и письмо-аноним к знатной особе. Глава XII. Танта. Выжигин попадает в дураки. Глава XIII. Свадьба Выжигина. Бедный племянничек! Ай да дядюшка! Глава XIV. Господин и госпожа Выжигины покупают на трудовые денежки деревню и с благодарностью объявляют о том почтенной публике. Глава XV. Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы. Глава XVI. Видок или маску долой! Глава XVII. Выжигин раскаивается и делается порядочным человеком. Глава XVIII и последняя. Мышь в сыре.

Ф. Косичкин

Телескоп. 1831. № 15.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т.

М.: Л., 1949. Т. 11. С. 211–215.

ГАЗЕТА «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА»

Внутренние известия

Санктпетербург, 2-го Января

Полагая целию всех литературных трудов моих пользу общую, пользу отечества, а лестнейшею за них наградою Всемилостивейшее благоволение Государя Императора, обратился я ныне, пред выходом в свет третьего моего Романа (Петр Иванович Выжигин), с просьбою об исходатайствовании Высочайшего соизволения на всеподданнейшее поднесение экземпляра онаго Его Императорскому Величеству, к Г. Генерал-Адъютанту Александру Христофоровичу Бенкендорфу, в котором всякий благонамеренный человек всегда находит покровителя своим трудам и предстателя у Высочайшего Престола. На письмо мое о сем к Его Высокопревосходительству удостоился я получить ответ следующего содержания:

«Я имел счастье докладывать Государю Императору письмо ваше, о выходящем вновь в свет Романе вашем, под заглавием: Петр Иванович Выжигин, и Его Величество, Всемилостивейше соизволят на принятие онаго, почему и прошу вас, Милостивый Государь, прислать мне сочинение, для всеподданнейшаго представления, как скоро оно выйдет из печати.

При сем случае, Государь Император изволил отозваться, что Его Величеству весьма приятны труды и усердие ваше к пользе общей, и что Его Величество, будучи уверен в преданности вашей к Его особе, всегда расположен оказывать вам милостивое Свое покровительство.

Уведомляя вас с особенным удовольствием о сем благосклонном отзыве Его Императорского Величества, с предоставлением права дать оному гласность, имею честь быть, и пр.

А. Бенкендорф
№ 5256. 30 декабря, 1830».

Осчастливленный сим живительным отзывом, я не только не считаю нарушением скромности обнародование сего письма, по содержащемуся в нем на то соизволению, но полагаю священным долгом сообщить о том читателям моим, коих благосклонности и поощрению обязан я, отчасти, возможностью приобрести сие лестное выражение Высокомонаршей милости. За Богом молитва, за Царем служба не пропадет.

Фаддей Булгарин
Северная Пчела. 1831. № 2, 3-е Января, Суббота.

Смесь

– Какой-то поселянин в окрестностях Пармы проглотил ящерицу, которая во время сна его заползла к нему в рот. Разными средствами этого нежданного гостя кой-как выжили; но, по неизъяснимой игре природы, мужик получил после этого прекраснейший бас, и теперь поет в Болонской соборной церкви.

– На Theatre Porte-Saint-Martin, в Париже, дают с некоторого времени Драму: Наполеон; сбор тринадцати первых представлений сей пьесы составил 47, 910 франков. Еще не бывало примера столь необычайного успеха.

– В Кале, в гостинице Дессета, показывают комнату, в которой жил Стерн. Жаль только, что эта комната построена после смерти сего знаменитого Писателя.

– Народонаселение всего Земного Шара полагают в 632 миллиона. Оно распределено следующим образом: в Европе считается 172 мил.; в Азии 330, в Африке 70, в Америке 40, в Австралии 20. Новорожденных бывает в Европе в год 6, 371, 370, в день 17, 453, в час 727, в минуту 62 и в секунду 1. Во всем Свете в год 25, 407, в день 4, 130, в час 2672, в минуту 445 и в секунду 7.

Л. Греч
Северная Пчела. 1831. № 4, 7-го Января, Среда.

О Французском журнале *Le Furet*

Издатель сего Журнала не обещал много, но что обещал, старался выполнить по мере сил своих и средств. В сем Журнале было весьма много хороших статей, выбранных из Французских Журналов, издающихся в Париже; несколько оригинальных статей, написанных в Петербурге, и много остроты в отделении *Смеси*. Собирая слухи и толки, по примеру Парижских Журналистов, Издатель мог иногда ошибаться в известиях о литературных новостях; но когда надлежало извещать читателей о достоинстве сочинений, он всегда представлял мнение большинства голосов и редко ошибался. На нынешний год он обещает также помещать статьи о правах, обозрении Русских и Французских журналов, анекдоты, новые повести, моды и т. п. Издатель говорит, что правила его при издании суть: *нравственность, честь и откровенность*, а символ: *разнообразие*. Радуетесь душевно, что почтенный Издатель поддержал правила свои на самом деле, и желаем ему возможных успехов в нынешнем году. — Подписка на Журнал *Le Furet* принимается в типографии Г. Плюшара, в доме Косиковского, на углу Большой Морской и Невского проспекта, и в магазине иностранных книг Г. Белизара и комп. Над Милютинными лавками. Цена 30 рублей. За пересылку прилагается 5 рублей. Журнал выходит листами, два раза в неделю. *Изд.*

— Доктор Скуддер в Нью-Йорке изобрел искусственные глаза для кривой Американской публики, которую уверяют, не шутя, что искусственные глаза его, по произволу употребляющих оные, поворачиваются направо, налево, и вертятся точно так, как натуральные. Да глядят ли?

— Герцог Буклей заказал золотых дел мастеру Герарду два серебряные сервиза в 6.000 фунтов стерлингов, из коих один назначен для замка его в Шотландии, а другой для собственного дома в Лондоне.

— В Генте на многих домах приклеены следующие Голландские стихи:

Onder onsen onoden Baes
Brood en Kaes.
Maar onder de Potter
Nog brood, nog botter.

(Под управлением законного Государя имели мы сыр и хлеб; а под властью де Поттера у нас не стало ни хлеба, ни масла).

– В Северной Америке уничтожается ныне употребление водки между мореходами. Большая часть кораблей, отправляясь в море, не берет уже запаса водки; но со всем тем имеет отличных матросов.

– Пришла невзгода и на делателей ваксы. В газете: *Allgemeiner Anzeiger d. Deutschen* объявили, что в Ангальт-Бернбургском владении, в Гарцгероде, выкапывают из земли ваксу самородную отличной доброты. Она растет, как дикая губка, и ни мало не портит кожи.

– В Англии выходит в свет 334 Газеты и Журнала, а в Северо-Американских Штатах 800.

– Один Французский царедворец, известный своею скупостью, приехал однажды в Сен-Клу к Наполеону в извозищем кабриолете (*sousou*). Скупец не держал собственного экипажа из экономии. Наполеон, заметив это, спросил у него: «Граф! вы, кажется, не имеете кареты?» – «Ваше Величество!..» – «Хорошо, я вам завтра пришлю экипаж». – «Государь... я недостоин... такой милости!..» Придворный замешался в речах и начал кланяться в пояс от радости и почтения. На другое утро прикатилась по двору скупого прекрасная карета, запряженная четвернею. «Император прислал вам карету!» – сказал придворный лакей. «Прекрасный, неподобный подарок!» – воскликнул в радости скупой. «Вот и счет за карету!» – примолвил лакей. Скупой нахмурил брови, побледнел, но заплатил по счету.

– Недавно одна молодая девица пришла в Лондонскую церковь венчаться со стариком. Некто из присутствовавших шепнул пастору, что невеста сумасшедшая. Пастор спросил ее, может ли она сосчитать от единицы до десяти. Невеста, удивясь такому вопросу, сосчитала до двадцати, и немедленно была обвенчана.

– Чтоб не делать бесполезных визитов и поздравлений с Новым годом, здравомыслящая Венская публика отдала ныне в пользу бедных деньги, назначаемые доселе на разъезды и визитные карточки. Для сей цели особо назначенная Коммиссия выдала благотворителям освободительные карты, в которых снята с них тяжкая обязанность кланяться с утра до ночи в день Нового года.

Северная Пчела. 1831. № 16, 21 Января, Среда.

Нравы

Букинист, или Разнощик книг

Из чего вы бьетесь, добрые люди, не досыпаете ночами, суетесь днем, бегаєте, ездите, плаваєте из одного конца света в другой, или корпите над бумагами; мучитесь, терзаетесь, ссоритесь, а иногда и деретесь между собою? Слышу ответ: *чтоб жить!* Хороша жизнь! Спрашиваю: разве у вас есть в запасе другая земная жизнь, чтоб наслаждаться в одной тем, что вы приобретаете, жертвуя спокойствием и счастьем в этой жизни? Нет! Так из чего же вы бьетесь, добрые люди!

Каждый человек, от малаго до великаго, должен непременно и ежедневно удовлетворить голод, жажду, позыв ко сну, и прикрыться от действия атмосферы. Что есть и пить, где спать и чем прикрыться, вот великие предметы раздоров, искательства, связей и трудов. Это называется *жить!* Кто как живет, тому такая и честь идет, говорили старики. Чтоб удовлетворить голод самага сильнаго человека, довольно четырех или пяти фунтов съестных припасов, а чтоб отдохнуть – сажень места. Из чего же вы бьетесь, добрые люди!

Хотите ли жить спокойно и счастливо? Не хлопчите о том, об чем все хлопочут. У нас, на Руси, есть поговорка: «за что нам ссориться, ведь нам нечего делить?» Если мир сравнивают с книгой, то эта поговорка должна служить к ней *эпиграфом*.

Диоген один из первых постигнул, что надобно сделать, чтоб быть спокойным. Он засел в бочку, которую перекачивал с места на место, чтоб не иметь соседей, и роздал даром свое имущество, чтоб не было чем делиться. У меня есть знакомый букинист, который по той же причине не хочет сидеть на лавочке, и носит на себе свою лавку, т. е. мешок с книгами. Диоген мог бесплатно питаться плодами, в Аттике, следовательно ему не надобно было заботиться чем жить. Но как наши торговцы в Милютиных лавках и на Щукином дворе не дают плодов даром, а мы, люди, повыше торговцев, гораздо просвещеннее Греков, и кормим даром тех только, которые нам нужны или могут отплатить тем же, то бедный букинист должен, при всей своей философии, снискивать обед трудом, которым так гнушался Диоген. Вся разница в образе жизни сих мудрецов от того, что другия времена, другия нравы. Однако ж мой букинист едва ли не умнее Диогена, торгуя человеческою мудростью, которая тогда только кормит, когда

ее умеют перенести из головы — в мешок. Мудрость в голове — не товар, и за нее не дадут даже квасу напиться!

Разнощики книг делятся на два рода. Одни разносят книги по внутренности России, по ярмаркам и господским домам, и заменяют собою книжные лавки, которых у нас еще мало по губернским и уездным городам. Думаю однако ж, что скоро не будет сих разнощиков: в трактирах нет недостатка по городам, и так должно надеяться, что скоро заведутся там и книжные лавки, ибо Бахус изстари был всегда великий друг Аполлону. Умолчу о разнощиках или развозчиках книг по России, ибо они купцы, или комиссионеры купцов, и не входят в разряд философов. Истинный философ есть букинист, который хочет быть лучше хозяином своего мешка, чем слугою в чужой богатой лавке, носит весь свой скарб на плечах, наблюдает физиономии на булеварах, и знает с первого взгляда, кому нужны книги, а кому игорные карты. Букинист есть великий муж в области Литературы, и для плохих сочинителей то же, что щедрый благодетель для бедных, стыдящихся просить милостыни. В книжной торговле есть свои технические выражения. О книге, которую раскупают, говорят: она *идет* хорошо; о книге, которой не покупают, говорят: она *засела*. Первую держит в лавке книгопродавец, а вторую разносит на плечах букинист. Точно также бывает в свете с дарованием и бездарностью. Первое должно само *итти*, если хочешь подвинуться вперед, а вторую выносят в гору на плечах. Бывает иногда, что и произведения дарования попадают в мешок букиниста. Это случается тогда только, когда хорошая книга достанется по наследству или за долг невежде, который спешит сбыть ее с рук. Не то ли бывает на свете с дарованием, когда оно попадает под власть человека, неумеющего ценить его!

Победитель Дария сказал: «если б я не был Александром, то желал бы быть Диогеном», а я скажу: «если б я не был Журналистом, то желал бы быть букинистом». Сколько мучился, трудился Александр Великий, чтобы лучше жить, т. е. слаще есть и пить и быть более известным, нежели Диоген! Сколько терпит Журналист из этого же! Последствия одне и те же. Диоген умер не с голоду, и мой букинист точно также всякой день сыт, в добавок не страдает от расстройства желудка, и спокоен потому только, что довольствуется малым и, переносясь с места на место, не имеет соседей, ни соперников. Ни от бочки Диогена, ни от Империи, основанной Александром, не осталось ни отломков, ни следов, точно также как не останется следов ни

от Журналов, ни от мешка букиниста. Из чего же вы бьетесь, добрые люди!

Когда Александр посетил Диогена и спросил у него: чем он может быть ему полезен, Диоген отвечал: «посторонись и не заслоняй солнца!» Когда я спросил у букиниста, чем могу услужить ему, он отвечал: «купите мои книги!» – В ответе Диогена виден эгоизм, а в ответе букиниста я вижу желание распространить просвещение, т. е., первый хотел теплоты и света для *себя*, а другой для *меня*. Надобно было заглянуть в мешок. Боже мой! Да тут целый мир, предмет для тысячи и одного философического трактата! В мешке, как будто на свете! Вот бессмысленный стихотворец в сафьяновом переплете и золотом обрезе, а вот Тацит и Ювенал оборваны и замараны! Здесь Букварь придавил Логику. Вот Математика, из которой вырваны доказательства, а вот книги законов с припискою на полях двусмысленных толкований. К Российской Истории, не помню чьего сочинения, приклеен заглавный листок из какого-то Романа, а несколько вырванных листов из Истории, без всякой цели и связи сшиты вместе, в обертке романтической Драмы. Листки какой-то Газеты без заглавия, разбросаны небрежно в мешке, и на одном из них, не знаю почему, написано красным карандашом: *Экстремадура*... Я не мог удержаться от смеха. Букинист хладнокровно сложил свой товар, взвалил на плечи мешок, и хотел итти далее. «Послушай-ка, приятель!» сказал я: «вряд ли ты найдешь купцев, если станешь так перебивать листы и заглавия!» – «не бойтесь за меня, сударь», отвечал букинист: «Не все так прихотливы, как вы, чтоб заглядывать внутрь книг. Большая часть господ покупает по заглавию, по переплету и по журнальным отзывам! Был бы товар, а купцы будут!» – Не то ли в свете? Подумал я. Имя, богатство и рекомендация – вот средства к достижению всего. Редкий заглянет во внутренность книги, т. е., в сердце и в голову, да они едва ли нужны там, где их не ищут!

Ф. Б.

Северная Пчела. 1831. № 17. Четверток, 22-го Января.

Моды (Парижския)

Моды женския. На платья и капоты утренния и вечерния употребляют преимущественно бархат, атлас и gros des Indes.

– Оборки на нижней части платья почти не делают. – Коротких рукавов почти совсем не видно. – Пелеринки в большом употреблении.

– Прекрасные вечерние платья делаются из крепа, подбитого атласом.

– В большом употреблении весьма красивые передники из черного гренапля, обшитые черною же блондою, пальца в три шириною.

– Модный цвет беретов, токов и тюрбанов бархатных есть лазоревой. Для вечерней уборы головы, употребляется бархат пунцовой.

– У многих токов, вместо тульи, делается сеточка из толстых шелковых шнурков.

– Носят также токи, которых половина из неразрезанного белаго бархата, а другая половина из обыкновенного, пунцового бархата; эти токи украшаются страусовыми перьями тех же двух цветов.

– Чрезвычайно богатые плащи делаются из фиолетового бархата с широкою полоскою шиншилы и с длинною шиншиловою пелеринкою.

– Блондовые и тюлевые чепчики украшаются с одной стороны розсткою из лепт, а с другой цветами.

– Вместо ленточного банта, позади шляпок прикалывают иногда большую бриллиантовую булавку. ...

– Черный и цветной бархат ныне в Париже весьма дешев.

Модные вещи. Мозаические пояса и браслеты. – Также кожаные браслеты с арабесками разных цветов, расположенных тенями.

– Прекрасные печати бронзовые с перламутром. – Рука держит за крылья бабочку, сидящую на кружке, на котором вырезана печать.

Северная пчела. 1831. № 20. 26-го Января, Понедельник.

Современная политика

Франция в январе 1830 и в январе 1831 г.

(Из Парижской Газеты: L'Etoile)

...Со времени возстановления Королевского трона, какой приятный день был день Нового года! Это было торжество торговли и промышленности. И в 1830 году сей день был еще довольно блистателен, не смотря на то, что тучи уже носились по горизонту; но в 1831 году он был очень печален. Продавцев, слава Богу, было довольно, но как редки были покупщики! Публика расхаживала перед лавками в Пале-Рояле, любовалась разставленными в них товарами, но никто

не вздумал и приторговаться. Так безденежные обжоры стоят по часам перед пирожною лавкою, разглядывают лакомства, облизываются, да и только.

Одни торгаши мелким товаром заметили, что наступил Новый год. Публика покупала вещи, продаваемые на улицах за несколько копеек. Бедным детям достались на сей раз игрушки самые плохия. Дети памятливы: они не забыли еще тех прекрасных вещей, которыми их наделили в начале 1830 года, и долго будут с горестью вспоминать о нынешней скудости. А что еще будет в 1832 году, если небо в наказание за политические и другие наши грехи, наградит нас Республикою, как предвещает некоторая партия! Тогда, дети большия и малыя! Не будет вам подарков вовсе. Даже не будет и Новаго года. 1-е Января наступит 10-го Нивоза. Всем известно, что Республика не признает ни календаря нашего, ни святых, ни праздников, и что она заменяет их своими *санкюлотидами*¹. Какое прекрасное изобретение! В январе 1830 года Франция не помышляла об этих революционных изступлениях: почему же должна она вспоминать о них в Январе 1831 года?

1-го Января 1831 года, Франция очень больна, а в Январе 1830 года цвела она совершенным здоровьем. ...

На сих днях спросили у одного из 221², что он думает о революции Июля месяца. Он не отвечал ни слова. Ответ очень ясный: все его поняли. И так есть недовольные и в числе этих господ?..

Разсмотрите теперь все сословия общества, и увидите, сколько несчастных сделала наша счастливая революция. ...

Приписка Русскаго Переводчика

Вот, что пишут сами Французы о плодах последней революции своей, которую прославили благотельною, знаменитою и счастливою!

У нас, в благословенной и богобоязненной России, 1-го Января 1830 года, подданные наслаждались тишиною и спокойствием; Правительство было сильно и уважаемо; народ жил в славе и благоденствии. 1-го Января 1831 года (какое обыкновенное, незанимательное, единообразное зрелище в сравнении с теми, что преобразователи мира успели произвести в других странах!) подданные наслаждаются ти-

¹ Санкюлотидами назывались пять дополнительных дней к 36 декадам в году по республиканскому календарю. – *Примеч. Ф. Булгарина.*

² Так называют (по числу их) тех членов палаты депутатов, которые в 1830 году подали голос о поднесении оппозиционного адреса королю Карлу X. – *Примеч. Ф. Булгарина.*

шиною и спокойствием; Правительство сильно и уважаемо; народ живет в славе и благоденствии. Мы приносим дань благодарения Подателю всех благ за прошедшие милости, на нас излиянныя; молим его о продолжении сих милостей, и о здравии и благоденствии нашего вселюбезнейшаго Монарха, Божиею Милостию дарующаго нам и ныне и впредь сии блага.

И самая бедствия, ниспосланныя на нас неисповедимым Промыслом в 1830 году, послужили нам во благо! Грозная повальная болезнь (холера. – *Примеч. сост.*) дала средство Государю явить всю любовь Свою к народу, а народу показала во всем блеске Христианския добродетели Монарха. Возмущение в Польше? Помощь Божия, правость дела нашего пред целым Светом и могущество России посрамят и уничтожат вероломных, и сие преходящее бедствие, как и все прочия, в древния и в новыя времена, послужит единственно к прославлению и возвеличиванию нашего любезнаго Отечества!

Северная Пчела. 1831. № 25. 31-го Января, Суббота.

Корреспонденция

Письмо из Москвы

2-го Ноября 1831 года

Поспешаем известить о новых событиях, коими ознаменовалось пребывание Государя Императора в Москве. Чувствуем, что еще исполненные слишком живаго душевнаго впечатления, еще не отдав сами себе надлежащаго отчета в том, что мы видели и слышали сегодня, не можем рассказывать ни вполне, ни точно; но мы должны *поспешить* известием: пусть то, чему было несколько сот человек свидетелями в залах Кремлевских чертогов, будет, хотя и не обстоятельно, не точно, но известно всем нашим соотечественникам. Знаем, что жители Москвы жаждут сего известия, что обитатели всех областей России нетерпеливо ждут от нас вестей радостных – вестей о Государе.

И что же, кроме радостнаго, можем мы сказать им, когда говорим о Царе нашем? Для чего каждый Русский не мог быть свидетелем веселья граждан Москвы, торжества мирнаго, бывшаго у нас нынешний день!

В одном из прежних известий мы упомянули, что в числе праздников для прибытия Государя, будет и *выставка произведений про-*

мышленности. Московское купечество, изъявляя искреннее сожаление, что Государь и Государыня не могли видеть ни С.Петербургской, ни Московской выставки, просило позволения устроить немедленно, собственно для Них, выставку. С обыкновенным Своим снисхождением, Монарх соизволил на сию просьбу, и назначил для того Большой Кремлевский дворец.

У нас не делается, а создается по слову Государя: после Его воли для нас невозможного нет и не бывало, и – выставка, в десять, не более дней, была готова.

Только в Русскаго Царя, только Русским можно так делать. Кто взглянул бы на Кремлевскую выставку, тот не дивился бы после того, что Россия, как добрый богатырь, растет не по годам, а по часам, растет и родством и умом. ...

Шесть зал и комнат дворца были заняты выставкою. Число желавших участвовать, число представленных предметов, были столь многочисленны, что могли равняться только с разнообразием и богатством оных, и с усердием представлявших. Каждый говорил одно: «Может быть, Государь осчастливит и мое произведение Своим взглядом!». ...

Общность выставки составляла зрелище превосходное. Четыре большие залы, блиставшие, пестревшие разнообразнейшими цветами, наполненные богатствами народной деятельности, казались творением, ожидавшим жизни от благодатного взора. Мы упомянули здесь немного имен; но всех, участвовавших в выставке, было около 200 заводчиков, фабрикантов, и разных ремесленников и художников. Зрелище прекрасных изделий оживлялось притом видом самих производителей. Почтенные фабриканты, заводчики, художники стояли каждый подле своего произведения. Градский Глава, почетные граждане Москвы, Члены Мануфактурнаго Отделения, Русские купцы, в праотеческом наряде, юные дети их – все ждали появления *Одного*, Который словом проливает веселие и радость.

Но Он явился не один: с Ним были Государыня, и юный Цесаревич, Наследник Престола. ...

(Окончание впереди.)

Северная Пчела. 1831. № 255. 10-го Ноября, Вторник.

От издателей Северной Пчелы и Сына Отечества к читателям

Читатели наши без сомнения заметили скорость и точность, с какими сообщаемы были в Северной Пчеле все достопримечательные события в истекающем году. Официальные известия из Действующей Армии печатались в особых прибавлениях, и разсылались немедленно подписчикам; частные письма наших почтенных корреспондентов из всех концов Империи, из армии, со флота, прославившего Российский флаг в Средиземном море, и из внутренних областей нашего отечества сообщали любопытные сведения о славных подвигах наших соотечичей, о великодушном стремлении Правительства к благоденствию могущественной России, и о всех необыкновенных происшествиях. Иностранная известия печатаются в Пчеле немедленно по приходе заграничной почты. О статьях литературных, о театральной критике и известиях о книгах Издатели предоставляют судить *благонамеренным и безпристрастным* читателям, но почитают себя в праве сказать, что в литературе старались избирать новое и оригинальное, а в критиках избегали всяких личностей, исключили всякую полемику, незанимательную для публики, и вовсе не отвечали на журнальную брань. Те же самые правила будут руководствовать Издателей в наступающем году; но они надеются сделать Пчелу занимательнее потому, что при умноженных средствах к сообщению новостей, она будет иметь более пространства, следовательно и разнообразия, о котором должно судить не по одному листу, отдельно взятому, но, например, по недельному изданию. Все, что случится нового и занимательного внутри России и за границею, все что появится замечательного в области Литературы, Искусства, Наук и промышленности, будет известно читателям Пчелы в скорейшее время, и сообщено безпристрастно. Разсуждения о Политике нашего времени (в таком роде, как была в нынешнем году статья: *Русская правда и иноземная клевета* – см. 246–249 №№ С. П.) будут объяснять дела и происшествия справедливо и откровенно. Издатели надеются, что прежнее благоволение публики поддержит их труды и усердие. – В Сыне Отечества помещаемы были оригинальные Русские Повести, признанные за образцовые всеми, кто только читал их. Важные статьи исторические, полные очерки предметов из Политической Экономии, и теоретической Юриспруденции, писанные *Русскими* Учеными, языком чистым и правильным, заслужили также

отличное внимание. Политическая еженедельная обзрения вмещали в себе подробности весьма любопытные, и в общности составляют политическую годовую Историю нашего времени. – Присем Издатели неизлишним почитают заметить, что ни холера, ниже какия другия обстоятельства не помешали исправному выходу в свет листов Газеты и книжек Журнала, ибо Редакция составлена из общества трудолюбивых Литераторов, из коих один заменяет другаго в занятиях; она имеет собственную типографию, снабженную машиною, облегчающею и ускоряющею работу. Почтамты приняли меры к исправной пересылке. Двадцатилетнее прочное существование Сына Отечества, и постоянный успех Северной Пчелы, в течение семи лет, ручаются за точность и исправность Издателей.

Н. Греч, Ф. Булгарин.

Северная пчела. 1831. № 304. 29-го Декабря, Вторник.

Объявление

Сим нумером заключается издание *Северной Пчелы* на 1831 год. Подписка на получение сей Газеты в 1832 году принимается в С. Петербурге, в Конторе Редакции, у Синяго моста, в доме Барона Ата, № 176, и в магазине А. Ф. Смирдина; в Москве, в Конторе Московскаго Телеграфа, и в Университетской книжной лавке, у А. И. Шириева. Иногородние благоволят адресоваться на Газетную Экспедицию С.П.б. Почтамта. Подписка на Журнал: Сын Отечества и Северный Архив, принимается там же. Подписная цена в С. Петербурге: Северной Пчелы 40 р., Сына Отечества также 40 р.; с пересылкою или доставлением в дом, Северной Пчелы 50 р., Сына Отечества 45 р.

Северная пчела. 1831. № 306. Четверток, 31-го Декабря.

О. И. СЕНКОВСКИЙ

Аукцион

Объявление: «Продается за отъездом».

Я уезжаю. Это решенное дело! Прощайте, друзья, я еду. Уезжаю далеко, очень далеко, на очень долгое время – навсегда. Оставайтесь здесь в здравии и покое, живите счастливо, пишите умные вещи, если можете; читайте умные книги, если случается в продаже; смейтесь, когда вам будет скучно, смейтесь и здравствуйте. – Я уезжаю. Adieu, adieu (прощай, прощай!.. (фр.). – *Примеч. сост.*)!.. Вы не увидите меня более.

Нет! Вы не увидите меня более!.. Мне нельзя жить с вами. Я еду – в вечность!

Говорю вам – я еду в вечность; еду туда, где нет ни времени, ни пространства, ни тел, ни страстей, ни женщин, ни мужчин, ни словесности, ни читателей; где ничего нет – где есть все. Там только я буду счастлив.

Здесь для меня нет места. Мои недоброжелатели говорят, что я дурак и несносен; мои доброжелатели не только говорят, но пишут и печатают: *Уми, Брамбеус!* Никто не хочет жить со мною на этом свете.

Но я умираю правильно, по форме, на законном основании. Я приведу мои дела в порядок, составлю список моим бумагам и имуществу, продам все с молотка; обращу все в наличные деньги; и наличные деньги завещаю моим наследникам, чтоб по моей кончине они могли приступить прямо к мотовству, без лишних хлопот; то есть я не умру, потому что не буду принимать никаких лекарств, ни аллопатических, ни гомеопатических; я попросту еду с земли в вечность, как помещик уезжает из столицы в свою деревню, проиграв справедливое дело, за которым приехал он на короткое время, и просидев тридцать пять лет в трактире. Я также проиграл мое дело с людьми и моими надеждами и подобно ему уеду с приговором людей в кармане и без копейки за душою.

Действуя во всем на законном основании, во-первых, я объявляю в газетах о моем отъезде; во-вторых, продаю все мое достояние с публичного торга.

К отъезду моему, я уверен, препятствия никакого не будет: никто не подаст прошения в полицию о том, чтоб с будочниками задержали меня на сем свете как человека, необходимого для общества. А как скоро я извещу, что за отъездом продаю мое имущество по сходным ценам, все мои друзья явятся к Тамизье, чтоб купить мое достояние за бесценок. Добрые друзья!.. На них-то я особенно полагаюсь в этом случае.

Итак, нечего терять дорогого времени. Надо приступить скорее к продаже всего, что составляет мою собственность. Господа! Кому угодно торговаться? Кто хочет купить хорошие, отличной доброты вещи разного рода за самую умеренную цену? Прошу, покорнейше прошу в аукционную залу, к Тамизье, в дом 1-й адмиралтейской части 2-го квартала, под № 189! Начало в десять часов утра! Все готово, устроено!.. Прошу приходить скорее!.. Кто надбавит несколько копеек, тот возьмет, что угодно! Сюда, честные господа!.. Разные вещи продаются за отъездом! ..

Нищета! Кто хочет купить мою нищету?.. Господа! Продается нищета!.. Раз!.. Нищета честная, без хлопот, без угрызения совести, лучшего разбора, не запачканная завистью, не подержанная тасканием по передним... Нищета! Раз, два!.. Купите, господа, нищету!.. Хозяин был весьма доволен ею!.. Раз, два!.. Будете с нею счастливы! Она дорога, но приятна, в лучшем вкусе, чрезвычайно отраднa и удобна! Хозяин никогда бы не расстался с нею, но она теперь ему не нужна: он уезжает. Раз, два!.. В последний раз! – За отъездом продается – честная нищета !.. Раз, два... три!

Никто не купил нищеты! Она остается за мною. Тем лучше: я завещаю ее тому, кто в течение будущего года напишет самую умную и полезную для людей книгу на земном шаре. ...

За отъездом продаются мужчины! Милостивые государыни! Не угодно ли которой-нибудь из вас купить всех мужчин вместе?.. Мужья, женихи, любовники, богатые старичишки с притязанием на любовь, юноши, промотавшие для вас богатства и силы, – все отдаются за самую умеренную цену. Я обманывать вас не стану: говорю вам чистосердечно, что между нами есть тьма, – может статься, половина – а может, и три четверти – домашних тиранов, закоснелых изменников, скряг, мотов, разорителей, ревнивых, грубиянов, рогосцев, дурных мужей, дурных любовников, дурных собою, кругом дурных и негодных; но в этой куче бритого и небритого народу вероятно найдется и что-нибудь хорошее. Ежели ваше счастье заключается в мужчинах, оно непременно должно быть в этой гряде мужеского пола. Как не купить счастья хоть в куче!.. И как я продаю их не на спекуляцию, а только за ненадобностью, за отъездом в чужие миры, то предоставляю вам, сударыни, самим сделать оценку мужчинам: какую цену вы назначите, с той начнем и торговаться. Подумайте, согласитесь между собою и решите!

– Восемь гривен!

Восемь гривен! Возможно ли, сударыни?.. Вы меня разоряете! Восемь гривен за всех мужчин!..

– За одного иногда можно дать и миллион, голубчик; но за всех вообще и восемь гривен, право, хорошая цена. ...

Господа! Теперь, за отъездом, продается правосудие! Кто хочет дешево купить такую нужную вещь?.. Я продаю с молотка правосудие: извольте торговаться.

Придвиньтесь, честные господа, к столу поближе, благоволите хорошенько осмотреть товар. Продается правосудие всего земного

шара!.. Первая цена – пять рублей – попросту, синенькая бумажка! Это самая сходная, самая умеренная, настоящая цена. Кто пожалует более?..

– Десять рублей!

Десять рублей за правосудие всей нашей планеты! Это немного!.. Кто пожалует более?..

– Пятьдесят! – Сто! – Сто сорок пять!

Сто сорок пять рублей за правосудие!.. Гоните, господа, гоните! –

– Двести пятьдесят! – Тысяча!..

Уже дают мне тысячу рублей за правосудие: не отдам за тысячу! Кто более?.. Торгуйтесь, честные господа! Кто покупает правосудие, тот никогда не жалуется на недостаток правосудия в свете. А!.. вы, сударыня, улыбаетесь?.. Вы улыбаетесь прелестно, и я знаю, что вы хотите сказать этим: вы на тысячу рублей надбавляете улыбку и хотите улыбкою купить правосудие. Нет, извольте надбавлять сотенку рубликов: я продаю его не иначе, как на чистые деньги...

– Две тысячи! – Десять тысяч! – Сто тысяч!

– Пятьсот! – Шестьсот! – Миллион!..

Миллион дают за правосудие! Кто более?.. Сколько охотников купить то, что положено отпускать даром!..

– Полтора! – Два миллиона!

Два миллиона, чтоб только достать правосудие!.. Гоните еще выше: оно, право, стоит этих денег...

– Два миллиона и рубль!

Два миллиона и рубль! Раз!..

– И два рубля!

Два миллиона и два рубля! Раз, два!.. Кто более!.. Раз!.. два!.. тр...и! Извольте, отдаю. Я не хочу вас разорять на правосудии. Но, милостивый государь, осмелюсь спросить вас, какими деньгами намерены вы заплатить мне за правосудие – ассигнациями, золотом или серебром?

– Не угодно ли вам принять от меня взятками?

Это уже, наверное, старый... хорошо, я беру взятки, только по надлежащей оценке. ...

Ну, что, сударь? В каком положении мои дела?.. Покажите мне книгу.

Ум продан за 7 копеек. Очень выгодно. Я не надеялся столько. Купил его один барышник.

Словесность – куплена в Гостиный двор, по 50 рублей с печатного листа.

Науки – куплены обществом немцев для мелочной ими торговли. Заплачено – пуд табаку. Мало!

Слава – куплена шарлатаном. Получено 10 рублей задатку, 18 рублей 25 копеек осталось за ним в долгу. Так и есть, что он продал славу днем! Никто не хотел торговаться, увидев ее при солнечном свете, и шарлатан купил ее за безделицу. А при свечах куда как она хороша!

Авторская знаменитость – куплена дурным писателем.

Не хочу даже знать, за какую цену!..

Счастье... Что вы сделали с счастьем? Зачем не пустили его в продажу? Где оно?

– Сказать вам правду, сударь, его украли!.. Тут такая тьма народу!

Ох, боже мой! Украли счастье!.. А на него-то полагал я все мои расчеты! Я надеялся получить за него огромные деньги... Пусть же и так: несдобровать этому негодяю, который его спроворил. Он думает, что со счастьем будет счастлив? – Не на то оно придумано!..

Теперь, господа, аукцион кончен. Как скоро счастье украли, основного и продавать не стоит – отдаю вам его даром. Что же вы еще смотрите? – Говорят вам, аукцион кончен, и Свет распродан!..

1833–1834 гг.

Северная Пчела. 1834. № 6–7.

Сенковский О. И. Сочинения барона Брамбеуса. М., 1989. С. 220–223, 226–228.

Теория образованной беседы

Я очень часто слышу: «У нас еще нет беседы!» Как это жаль! Научите же нас беседовать, вы, которые говорите, что у нас нет беседы. Беседа есть искусство вливаться языком в чужие дела. Как всякое искусство, она имеет свои правила, которые надобно сперва изложить, ежели хотите, чтобы у нас тоже завелась беседа. Я вижу, что из ревности к благу отечества и пользам народной образованности принужден буду сам написать риторику для употребления желающих правильно рассуждать о том, что до них вовсе не касается.

Есть разные беседы. Одна из них самая естественная и самая полезная называется – глупая беседа. Это царица бесед, беседа без притязаний, чистосердечная, добрая, откровенная, очень похожая на дружбу, хотя большею частью происходит между людьми, совершенно чуждыми друг другу. В ней участвуют все вообще; она обработана наилучшим образом, доведена до совершенства на целом земном шаре

и одна заключает в себе источник основательного знания: только из этой беседы вы можете составить себе полную и хорошую статистику недостатков, пороков, средств и глупостей соседей и приятелей.

Второй род беседы основан на зависти и занимается только чистою и прикладною клеветою. Это беседа лакеев и мелких литераторов.

Третий род – беседа поучительная. Она теперь вышла из употребления, но в прежние времена при ней очень хорошо спалось.

Беседа между деловыми и любовниками не называется беседою, но методою взаимного надувания. Притом, она произносится по углам.

Наконец, последний и самый утонченный род беседы – беседа изящная или образованная. Она рассуждает ни о ком и ни о чем. Это верх искусства.

Когда народ доходит до такой степени умственного совершенства, что может по целым суткам говорить умно и ни о чем и ни о ком, тогда только он достоин имени истинного образованного народа.

Мы, русские, можем без преувеличения сказать о себе, что образуясь да образуясь, уже достигли половины этого совершенства: мы уже очень хорошо и плавно разговариваем ни о чем и только не знаем, как сделать, чтобы собравшись вместе, не говорить о ком-нибудь.

А в этом вся сила!

О чем же говорить, когда вы запрещаете разговор о ком-нибудь?..

Как о чем! Говорите каждый о себе. Искусство образованной или изящной беседы состоит именно в том, чтобы каждый говорил о себе. Но так, чтоб этого не примечали.

Я очень желал бы растолковать вам, как это делается, и изложить здесь полную теорию образованной беседы, но боюсь, что многие не поймут меня. Это предмет очень отвлеченный и тесно связанный с человечеством, обществом, нравами, идеями и другими доселе темными задачами – даже с самоваром, которого тоже у нас никто еще не понимает. Для этого надобно начать издалека. Надобно, во-первых, найти центр нравов. Я, не хвастая, нашел его...

...Центр нынешних наших нравов – в самоваре. Этот дивный сосуд – настоящее средоточие целой их системы, которая тяготит на него со всех своих точек; в нем соединяются все ее радиусы.

Это открытие стоит всякого другого!

Обычай, которого самовар составляет ядро и душу, занял место в самой середине нравов нашего века и привлекает к себе их частицы в целой суточной жизни человека. Вокруг него движется особый мир,

который назову я миром самоварным – мир удивительный, странный, разнообразный, обширный, как весь наш быт; мир, не менее любопытный мира звездного, мира насекомых, мира славянского, мира умозрительного, и несравненно любопытнее мира индо-германского. Мы в нашем XIX веке весь день живем для того, чтоб ввечеру собраться вокруг самовара, как в минувшем веке люди жили только для ужина, и сюда-то каждый приносит самого себя, чтоб представлять свой век по-своему – а итог всех этих представлений есть выражение нравов эпохи...

...И что такое общество! Люди? Ба, какие люди! Общество есть собрание индивидуальных идей данной эпохи. Люди состоят из лиц; лицо состоит всегда из своей идеи. Каждый человек выражает собою только одну какую-нибудь идею, которой он служит простою оболочкою и который на известное время отдает напрокат голову, свои глаза, свои уши, свой язык, руки, ноги, все тело; он ее раб и орудие; он тверд в этой идее, около нее вращаются его способности, мысли, чувства и он сам, всем своим нравственным бытом; в ней иссякает весь он, когда она расширяется, и из нее выходит для общества его характеристический образ при ее сжимании. В обществе собственно нет человека: человек общественный есть всегда какая-нибудь воплощенная идея. И когда вы видите обломок общества, обогнутый дугою вокруг какого-нибудь самовара, не думайте, чтобы эти фигуры, которые с чашками чаю сидят на стульях, были люди: с чашками чая сидят все идеи.

Эти идеи мало-помалу начинают бродить в головах, и вскоре устанавливается между ними соперничество, правильная борьба, сражение по всем правилам стратегии. Каждая из них старается вылезти наружу, пробить себе дорогу, очистить кругом себя поле; каждая подает своей соседке дружескую руку, чтоб помочь ей развернуться, и между тем потихонечку подставляет ей ногу, чтоб ее опрокинуть и самой занять ее место, и все без изъятия боятся, чтобы другие не угадали ее плана. Это и есть образованная беседа.

Барон Брамбеус.

Библиотека для чтения. 1835. Т. 12. С. 75–88.
Сенковский О. И. Сочинения барона Брамбеуса. М., 1989. С. 430–435.

5. ЖУРНАЛИСТИКА 40-х ГОДОВ XIX ВЕКА

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Ничто о ничем

...«Библиотека для чтения» начинает уже третий год своего существования, и, что очень важно, она нисколько не изменяется ни в объеме, ни в достоинстве своих книжек, ни в духе и характере своего направления; она всегда верна себе, всегда равна себе, всегда согласна с собою; словом, идет шагом ровным, поступью твердою, всегда по одной дороге, всегда к одной цели; не обнаруживает ни усталости, ни страха, ни непостоянства. Все это чрезвычайно важно для журнала, все это составляет необходимое условие существования журнала и его постоянного кредита у публики; в то же время это показывает, что «Библиотекою» дирижирует один человек, и человек умный, ловкий, сметливый, деятельный – качества, составляющие необходимое условие журналиста; ученость здесь не мешает, но не составляет необходимого условия журналиста, для которого в этом отношении гораздо важнее, гораздо необходимее универсальность образования, хотя бы и поверхностного, многосторонность познаний, хотя бы и верхоглядных, энциклопедизм, хотя бы и мелкий. О «Библиотеке» писали и пишут, на нее нападали и нападают, сперва враги, а наконец, и друзья, поклявшиеся ей в верности до гроба, пожертвовавшие ей собственными выгодами, разумеется, в чаянии больших от союза с сильным и богатым собратом; а «Библиотека» все-таки здравствует, смеется (большею частью молча) над нападками своих противников! – В чем же заключается причина ее неимоверного успеха, ее неслыханного кредита у публики? – Если бы я стал утверждать, что «Библиотека» журнал плохой, ничтожный, это значило бы смеяться над здравым смыслом читателей и над самим собою: факты говорят лучше доказательств; и первенство и важность «Библиотеки» так ясны и неоспоримы, что против них нечего сказать. Гораздо лучше показать причины ее могущества, ее авторитета. На «Библиотеку», на Брамбеуса и на Тютюнджи-оглу¹ (что все почти тождественно), было много нападков, часто бессильных, иногда сильных, было много атак, часто неверных, иногда впопад, но всегда бесполезных. Не знаю, прав

¹ Псевдонимы О. И. Сенковского.

я или нет, но мне кажется, что я нашел причину этого успеха, столь противоречащего здравому смыслу и так прочного, этой силы, так носящей в самой себе зародыш смерти, и так постоянной, так не слабеющей. Не выдаю моего открытия за новость, потому что оно может принадлежать многим; не выдаю моего открытия и за орудие, долженствующее быть смертельным для рассматриваемого мною журнала, потому что истина не слишком сильное орудие там, где еще нет литературного общественного мнения. «Библиотека» есть журнал провинциальный – вот причина ее силы. ...

Я сказал, что тайна постоянного успеха «Библиотеки» заключается в том, что этот журнал есть по преимуществу журнал провинциальный, и в этом отношении невозможно не удивляться той ловкости, тому уменью, тому искусству, с какими он принаровляется и подделывается к провинции. Я не говорю уже о постоянном, всегда правильном выходе книжек, одном из главнейших достоинств журнала; останавлиюсь на числе книжек и продолжительности срока их выхода. Я думал прежде, что это должно обратиться во вред журналу; теперь вижу в этом тонкий и верный расчет. Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки; еще не успело оно дочитать до последней обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками. И в самом деле, какое разнообразие! – Дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговщикова и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и повести Барона Брамбеуса; батюшка читает статьи о двухпольной и трехпольной системе, о разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе; остается пестрая, разнообразная смесь; остаются статьи ученые и новости иностранных литератур. Не правда ли, что такой журнал – клад для провинции?..

Но постоит, это еще не все: разнообразие не мешает и столичному журналу и не может служить исключительным признаком про-

винциального. Бросим взгляд на каждое отделение «Библиотеки», особенно и по порядку. Стихотворения занимают в ней особое и большое отделение: под многими из них стоят громкие имена, каковы Пушкина, Жуковского; под большею частию стоят имена знаменитостей, выдуманных и сочиненных наскоро самою «Библиотекою»; но нет нужды; тут все идет за знаменитость; до достоинства стихов тоже мало нужды; имена, под ними подписанные, ручаются за их достоинство, а в провинциях этого ручательства слишком достаточно. То же самое в отношении имен должно сказать и о русских повестях: иностранные подписаны именами, которые для провинций непременно должны казаться громкими, хотя бы и не были громки на самом деле; подписаны именами журналов, громких и известных во всем мире. То же должно сказать и о прочих отделениях «Библиотеки». Теперь скажите, не большая ли это выгода для провинций? – Вам известно, как много и в столицах людей, которых вы привели бы в крайнее замешательство, прочтя им стихотворение, скрывши имя его автора и требуя от них мнения, не высказывая своего; как много и в столицах людей, которые не смеют не восхититься статьею, ни осердиться на нее, не заглянув на ее подпись. Очень естественно, что таких людей в провинциях еще больше, что люди с самостоятельным мнением попадают туда случайно и составляют там самое редкое исключение. Между тем и провинциалы, как и столичные жители, хотят не только читать, но и судить о прочитанном, хотят отличаться вкусом, блистать образованностью, удивлять своими суждениями, и они делают это, делают очень легко, без всякого опасения компрометировать свой вкус, свою разборчивость, потому что имена, подписанные под стихотворениями и статьями «Библиотеки», избавляют их от всякого опасения посадить на мель свой критицизм и обнаружить свое безвкусие, свою необразованность и невежество в деле изящного. А это не шутка! – В самом деле, кто не признает проблесков гения в самых сказках Пушкина потому только, что под ними стоит это магическое имя «Пушкин»? То же и в отношении к Жуковскому. А чем ниже Пушкина и Жуковского гг. Тимофеев и Ершов? Их хвалит «Библиотека», лучший русский журнал, и принимает в себя их произведения? – Может ли быть посредственна или нехороша повесть г. Загоскина? Ведь г. Загоскин автор «Милославского» и «Рославлева», а в провинции никому не может притти в голову, что эти романы, при всех своих достоинствах, теперь уже не то, чем были,

или по крайней мере чем казались некогда. Может ли быть не превосходна повесть г. Ушакова, автора «Киргиз-Кайсака», «Кота Бурмосека», бывшего сотрудника «Московского телеграфа», сочинителя длинных, скучных и ругательных статей о театре? Провинция и подзревать не может, чтоб знаменитый г. Ушаков теперь был уволен из знаменитых вчистую. Кто усумнится в достоинстве повестей гг. Панаева, Калашникова, Масальского? – Да, в этом смысле «Библиотека» журнал провинциальный! ...

Я не хочу нападать на явное отсутствие добросовестности и благонамеренности в критическом отделении «Библиотеки», не хочу указывать на беспрестанные противоречия, на какое-то хвастовство умением смеяться над всем, над приличием и истиною, обо всем этом много говорили другие и мне почти ничего не оставили сказать. Скажу только, что недобросовестность критики «Библиотеки» заключается в какой-то непонятной и высшей причине, кроме обыкновенных и пошлых журнальных отношений. Г. Тютюнджи-оглу ненавидит всякой род истинной славы, гонит с ожесточением все, что ознаменовано талантом, и оказывает всевозможное покровительство посредственности и бездарности: гг. Булгарин и Греч у него писатели превосходные, таланты первостепенные, а г. Гоголь есть русский Поль-де-Кок и, конечно, нейдет ни в какое сравнение с этими гениями. ...

Но не одной недобросовестностью удивляет отделение «Критики» в «Библиотеке»: оно, сверх того, носит на себе отпечаток какой-то посредственности, какой-то скудости, негибкости и нерастяжимости ума, которого не становится даже на несколько страниц. Но наш критик умеет этому помочь: на две строки своего сочинения он выписывает две, три, четыре страницы из разбираемой книги, и этим часто избавляет себя от больших затруднений. Да и в самом деле, что бы он стал писать, он, для которого не существует никаких теорий, никаких систем, никаких законов и условий изящного. ...

Журнал должен иметь прежде всего физиономию, характер; альманажная безличность для него всего хуже. Физиономия и характер журнала состоят в его направлении, его мнении, его господствующем учении, которого он должен быть органом. У нас в России могут быть только два рода журналов – ученые и литературные; говоря, могут быть, я хочу сказать – могут приносить пользу. Журналы собственно ученые у нас не могут иметь слишком обширного круга действия; наше общество еще слишком молодо для них. Собственно литератур-

ные журналы составляют настоящую потребность нашей публики; журналы учено-литературные, искусно дирижируемые, могут приносить большую пользу. Теперь, какие мнения, какое учение должно господствовать в наших журналах, быть главным их элементом? Отвечаем, не задумываясь: литературные, до искусства, до изящного относящиеся. Да – это главное! Вы хотите издавать журнал, с тем чтобы делать пользу своему отечеству, так узнайте ж прежде всего его главные, настоящие, текущие потребности. У нас еще мало читателей: в нашем отечестве, составляющем особенную, шестую часть света, состоящем из шестидесяти миллионов жителей, журнал, имеющий пять тысяч подписчиков, есть редкость неслыханная, диво дивное. Итак, старайтесь умножить читателей: это первая и священнойшая наша обязанность. Не пренебрегайте для того никакими средствами, кроме предосудительных, наклоняйтесь до своих читателей, если они слишком малы ростом, пережевывайте им пищу, если они слишком слабы, узнайте их привычки, их слабости и, соображаясь с ними, действуйте на них; В этом отношении нельзя не отдать справедливости «Библиотеке»: она наделала много читателей; жаль только, что она без нужды слишком низко наклоняется, так низко, что в рядах своих читателей не видит никого уж ниже себя; крайности во всем дурны; умеете наклонить и заставьте думать, что вы наклоняетесь, хотя вы стоите и прямо. Потом, вторая ваша обязанность: развивая и распространяя вкус к чтению, развивать вместе и чувство изящного. Это чувство есть условие человеческого достоинства: только при нем возможен ум, только с ним ученый возвышается до мировых идей, понимает природу и явления в их общности; только с ним гражданин может нести в жертву отечеству и свои личные надежды и свои частные выгоды; только с ним человек может сделать из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестью. Без него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума – остается один пошлый «здоровый смысл», необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма. ...

Чувство изящного развивается в человеке самым изящным, следовательно, журнал должен представлять своим читателям образцы изящного; потом, чувство изящного развивается и образуется анализом и теориею изящного, следовательно, журнал должен представлять критику. Там, где есть уже охота к искусству, но где еще зыбки и шатки понятия об нем, там журнал есть руководитель общества. Критика должна составлять душу, жизнь журнала, должна быть постоян-

ным его отделением, длинною, не прерывающеюся и не оканчивающеюся статьею. И это тем важнее, что она для всех приманчива, всеми читается жадно, всеми почитается украшением и душой журнала. Первая ошибка «Наблюдателя» состоит в том, что он не сознал важности критики... Он выключил из себя библиографию, эту низшую, практическую критику, столь необходимую, столь важную, столь полезную и для публики и для журнала. Для публики здесь та польза, что, питая доверенность к журналу, она избавляется и от чтения и от покупки дурных книг, и в то же время, руководимая журналом, обращает внимание на хорошие; потом, разве по поводу плохого сочинения нельзя высказать какой-нибудь дельной мысли, разве к разбору вздорной книги нельзя привязать какого-нибудь важного суждения? Для журнала библиография есть столько же душа и жизнь, сколько и критика. «Библиотека» очень хорошо поняла эту истину, и за то, браните ее как угодно, а у ней всегда будет много читателей. ...

Телескоп. 1836. № 1–4.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1953. Т. 2. С. 16–48.

«Парижские тайны»

Роман Эжена Сю. Перевел В. Строев

Санкт-Петербург. 1844. Два тома, восемь частей

...В наше время объем гения, таланта, учености, красоты, добродетели, а следовательно, и успеха, который в наш век считается выше гения, таланта, учености, красоты и добродетели, – этот объем легко измеряется одною мерою, которая условливает собою и заключает в себе все другие: это – ДЕНЬГИ. В наше время тот не гений, не знание, не красота и не добродетель, кто не нажился и не разбогател. В прежние добродушные и невежественные времена гений оканчивал свое великое поприще или на костре, или в богадельне, если не в доме умалишенных; ученость умирала голодною смертью; добродетель имела одну участь с гением, а красота считалась опасным даром природы. Теперь не то: теперь все эти качества иногда трудно начинают свое поприще, зато хорошо оканчивают его; сухими, тоненькие, бледные смолоду, они, в лета опытной возмужалости, толстые, жирные, краснощекие, гордо и беспечно покоятся на мешках с золотом. Сначала они бывают и мизантропами и байронистами, а потом делаются мещанами, довольными собой и миром. ... Эжен Сю в начале своего поприща смотрел на жизнь и человечество сквозь очки черного цве-

та и старался выказываться принадлежащим к сатанинской школе литературы: тогда он был не богат. Теперь он принялся за мораль. ...

Чтоб для большинства русской публики сделать понятнее чрезвычайный успех «Парижских тайн», надо объяснить местные и исторические причины такого успеха. Причины эти принадлежат теперь истории; о них перестала говорить политика: следовательно, они сделались уже предметом исторической жизни. Королевскими повелениями в 1830 году была изменена французская хартия¹; рабочий класс в Париже был искусно приведен в волнение партией среднего сословия (*bourgeoisie*). Между народом и Королевскими войсками завязалась борьба. В слепом и безумном самоотвержении народ не щадил себя, сражаясь за нарушение прав, которые нисколько не делали его счастливее и, следовательно, так же мало касались его, как и вопрос о здоровье китайского богдыхана. Сражаясь отдельными массами, из-за баррикад, без общего плана, без знамени, без предводителей, едва зная против кого и совсем не зная за кого и за что, народ тщетно посылал к представителям нации, недавно заседавшим в абонированной камере; этим представителям было не до того; они чуть не прятались по погребам, бледные, трепещущие. Когда дело было кончено ревностью слепого народа, представители выползли из своих нор и по трупам ловко дошли до власти, оттерли от нее всех честных людей и, загребая жар чужими руками, преблагополучно стали греться около него, рассуждая о нравственности. А народ, который в безумной ревности лил свою кровь за слово, за пустой звук, которого значения сам не понимал, что же выиграл себе этот народ? – Увы! тотчас же после июльских происшествий этот бедный народ с ужасом увидел, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось против прежнего. А между тем вся эта историческая комедия была разыграна во имя народа и для блага народа! Аристократия пала окончательно; мещанство твердою ногою стало на ее место, наследовав ее преимущества, но не наследовав ее образованности, изящных форм ее жизни, ее кровного презрения, высокомерного великодушия и тщеславной щедрости к народу. Французский пролетарий перед законом равен с самым богатым собственником (*proprietaire*) и капиталистом; тот и другой судится одинаким судом и, по вине, наказыва-

¹ Французская конституция 1814 года. Изменение этой конституции королем в 1830 году в пользу крупных землевладельцев явилось одним из поводов Июльской революции.

ется одинаким наказанием; но беда в том, что от этого равенства пролетарию ничуть не легче. Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату. Этой платы бедному рабочему не всегда станет на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственник с этой платы берет 99 процентов на сто!.. Хорошо равенство!.. По французской хартии избирателем и кандидатом может быть только собственник, который с своей недвижимости платит подати не менее четырехсот франков в год. Следовательно, вся власть, все влияние на государство сосредоточены в руках владельцев, которые ни единою каплей крови не пожертвовали за хартию, а народ остался совершенно отчужден от прав хартии, за которую страдал. ...Бедствия народа в Париже выше всякой меры, превосходят самые смелые выдумки фантазии.

Но искры добра еще не погасли во Франции – они только под пеплом и ждут благоприятного ветра, который превратил бы их в яркое и чистое пламя. Народ – дитя; но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституционную мишуру в ее истинном виде. Он уже не верит говорунам и фабрикантам законов и не станет больше проливать своей крови за слова, которых значение для него темно, и за людей, которые любят его только тогда, как им нужно загрести жар чужими руками, чтоб воспользоваться некупленным теплом. В народе уже быстро развивается образование, и он уже имеет своих поэтов, которые указывают ему его будущее, деля его страдания и не отделяясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного» общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это люди, которые слили с его судьбою свои обеты и надежды и которые добровольно отреклись от всякого участия на рынке власти и денег. Многие из них, пользуясь европейской известностью, как люди ученые и литераторы, имея все средства стоять на первом плане конституционного рынка, живут и трудятся в добровольной и честной бедности. Их добросовестный и энергический голос страшен продавцам, покупателям и акционерам администрации, – и этот голос, возвышаясь за бедный, обманутый народ, раздается в ушах административных антрепренеров, как звук трубы судной. Стоны народа, передаваемые этим голосом во всеус-

лышание, будят общественное мнение и потому тревожат спекулянтов власти. С этими честными голосами раздаются другие, более многочисленные, которые в заступничестве за народ видят верную спекуляцию на власть, надежное средство к низвержению министерства и занятию его места. ...Таким образом, народ сделался во Франции вопросом общественным, политическим и административным. Понятно, что в такое время не может не иметь успеха литературное произведение, героем которого является народ. И надо удивляться, как дух спекуляции, обладающий французскою литературою, не догадался ранее схватиться за этот неисчерпаемый источник верного дохода!..

Эжен Сю был этим счастливецом, которому первому вошло в голову сделать выгодную литературную спекуляцию на имя народа. ...Он не знает ни истинных пороков, ни истинных добродетелей народа, не подозревает, что у него есть будущее, которого нет у торжествующей и преобладающей партии, потому что в народе есть вера, есть энтузиазм, есть сила нравственности...

...Эжен Сю показывает в своем романе, как иногда сами законы французские бессознательно покровительствуют разврату и преступлению. И надо сказать, он показывает это очень ловко и убедительно; но он не подозревает того, что зло скрывается не в каких-нибудь отдельных законах, а в целой системе французского законодательства, во всем устройстве общества. ...

Отечественные записки. 1844. № 4.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. 8. С. 169–174.

Письмо к Гоголю

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье *рассерженного* человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе неправы, приписавши это Вашим, действительно, не совсем лестным, отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя молчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедают ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своей страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги Ваши – и нелитературные (Чичиковы, Ноздревы, городничие и т. п.) и литературные, которых имена Вам известны. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей – в этом виноваты только Вы. И это несколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в Вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далека; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть, потому, что Вы в этом прекрасном далеке живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пизтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с

учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение. А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр – не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Шешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостую плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом сне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давший ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, – совсем не то написали бы Вы Вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении.

А выражение: *Ах, ты, неумытое рыло!* Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того

потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления: быть без вины виноватым. И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или Вы больны – и Вам надо спешить лечиться, или – не смею досказать моей мысли...

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что Вы делаете? Взгляните себе под ноги, – ведь Вы стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на православную церковь, – это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего упоения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста...

А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает по-

хабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? – Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ – самый религиозный в мире; ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме; и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся тихой холодной аскетическою созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам, по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас), только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, осо-

бенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем *religiosa mania* (религиозная мания (лат.). – *Примеч. сост.*), он тотчас же земному богу подкуртит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!

Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили.

«Но, может быть, – скажете мне, – положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь, но почему же отнимают у меня право заблуждаться ... и не хотят верить искренности моих заблуждений?». – Поэтому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком (С. А. Бурачок – издатель журнала «Маяк». – *Примеч. сост.*) с братиею. Конечно, в Вашей книге более ума и даже таланта (хотя и того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях, но зато они развили общее им с Вами учение с большей энергией и с большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые с Вашей точки зрения, если бы Вы только имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее гибели. Чья же голова могла перевернуть мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройтва, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два

или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову (С. С. Уваров – министр просвещения, идеолог теории «официальной народности». – *Примеч. сост.*), где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольствие своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и как писателя и еще больше как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почетно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример Пушкина, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому. Положим, Вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы, менее резко, с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит

в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадитесь вместе со мною падению Вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольствия скажу Вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, — мои друзья приуныли, но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она памятнее теперь всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом только или гордости или слабоумия, — и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что, если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненной боязнью смер-

ти, черта и ада веет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек». Неужели Вы думаете, что сказать *всяк* вместо *всякий* – значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант. Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени, и будь из нее исключены те места, где Вы говорите о себе как писатель, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз – произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»? ...

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка погнала меня за границу. ...Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполтину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я заблуждался в моих об Вас заключениях – я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее заключительное слово: если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние.

Зальцбрунн, 15 июля 1847 г.
Полярная звезда. 1855. № 1.

Взгляд на русскую литературу 1847 года

Статья первая

...Фельетонисты, которых у нас теперь развелось такое множество и которые, по обязанности своей еженедельно рассуждают в газетах о том, что в Петербурге погода постоянно дурна, считают себя глубокими мыслителями и глашатаями великих истин, – фельетони-

сты наши очень не взлюбили слово *прогресс* и преследуют его с тем остроумием, которого неоспоримую и блестящую славу они делят только с нашими же водевилистами. За что же слово *прогресс* навлекло на себя особенное гонение этих остроумных господ? Причин много разных. Одному слово это не любо потому, что о нем не слышно было в то время, когда он был молод и еще как-нибудь и смог бы понять его. Другому потому, что это слово введено в употребление не им, а другими, – людьми, которые не пишут ни фельетонов, ни водевилей, а между тем имеют в литературе такое влияние, что могут вводить в употребление новые слова. Третьему это слово противно потому, что оно вошло в употребление без его ведома, спросу и совета, тогда как он убежден, что без его участия ничего важного и не должно делаться в литературе. ...Есть между этими господами и такие, которые еще не пережили эпохи, когда человек способен еще учиться, и по летам своим могли бы понять слово *прогресс*, так не могут достичь этого по другим, «не зависящим от них обстоятельствам». ...Есть еще особенный вид врагов прогресса, – это люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Им, этим людям, хотелось бы уверить и себя и других, что застой лучше движения, старое всегда лучше нового и жизнь задним числом есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастья и нравственности. Они соглашаются, хотя и с болью в сердце, что мир всегда изменялся и никогда не стоял долго на точке нравственного замерзания, но в этом-то они и видят причину всех зол на свете. Вместо всякого спора с этими господами, вместо всяких доказательств и доводов против них мы скажем, что это – *китайцы*... Такое название решает вопрос лучше всяких исследований и рассуждений...

Слово прогресс, естественно, должно было встретить особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского языка, которые возмущаются всяким иностранным словом, как ересью и расколом в ортодоксии родного языка. Подобный пуризм имеет свое законное и дельное основание; но тем не менее он – односторонность, доведенная до последней крайности. ...Если бы употребление в русском языке иностранных слов и было злом, – оно зло необходимое, корень которого глубоко лежит в реформе Петра Великого, познакомившей нас со множеством до того совершенно чуждым нам понятий, для выражения которых у нас не было своих слов. Поэтому необходимо было

чужие понятия и выражать чужими готовыми словами. Некоторые из этих слов так и остались непереверденными и незамененными и потому получили право гражданства в русском словаре. Все к ним при- выкли, все их понимают; за что же гнать их? ...

Слово *прогресс* отличается всею определенностью и точностью научного термина, а в последнее время оно сделалось ходячим словом, его употребляют все – даже те, которые нападают на его употребление. И потому, пока не явится русского слова, которое бы вполне заменило его собою, мы будем употреблять слово *прогресс*.

Всякое органическое развитие совершается через прогресс, развивается же органически только то, что имеет свою историю, а имеет свою историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется. Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обязанные своим появлением внешним влияниям, подражательности, – у такой литературы не может быть истории. Ее история – каталог книг. К такой литературе слово *прогресс* неприменимо, и появление нового, почему-нибудь замечательного произведения в ней не есть прогресс, потому что это произведение не имеет корня в прошедшем и не дает плода в будущем. Тут время и годы ничего не значат: они могут идти себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, развивающейся исторически: тут каждый год что-нибудь да приносит с собою, – и это что-нибудь и есть прогресс. Но не каждый год можно ясно увидеть и определить этот прогресс; часто он оказывается только впоследствии. Но, во всяком случае, очень полезно в определенные сроки, например по окончании каждого года, обозревать в целом ход литературы, ее приобретения, ее богатство или ее бедность. Такие обозрения не бесполезны для настоящего времени и могут служить важным пособием для будущего историка литературы. ...

Собственно новый 1847 год ничем не ознаменовал себя в литературе. ... Она шла по прежнему пути, которого нельзя назвать ни новым, потому что он успел уже обозначиться, ни старым, потому что слишком недавно открылся для литературы, – именно немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово: «натуральная школа». С тех пор прогресс русской литературы в каждом новом году состоял в более твердом ее шаге в этом направлении. Прошлый 1847 год был особенно замечателен в этом отношении в

сравнении с предшествовавшими ему годами как по числу и замечательности верных этому направлению произведений, так и с большей определенностью, сознательностью и силой самого направления и большим его кредитом у публики.

Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дела, по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, за нее – это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большей известностью, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикой с особенным интересом, как не те, которые принадлежат к натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикой романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется большим влиянием на мнение публики, или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом публики, как не та, которая стоит за натуральную школу, против риторической? С другой стороны, о ком непрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? ...

В чем же обвиняют ее? Обвинений не много, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают углы, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. ...

Природа – вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе – человек. А разве мужик – не человек? – Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? – Как что? – его душа, ум, сердце, страсти, склонности, – словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого; но разве ботанист интересуется только садовыми, улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дикорастущие первообразы? Разве для анатомика и физиолога организм дикого ав-

стралийца не так же интересен, как организм просвещенного европейца? На каком же основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки? А потом – вы говорите, что образованный человек выше необразованного. С этим нельзя не согласиться с вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой светский человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском образовании, и это нисколько не мешает иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развивает нравственные силы человека, но не дает их; дает их человеку природа. И в этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая сословий... Если из образованных классов общества выходит больше замечательных людей, – это потому, что тут больше средств к развитию, а совсем не потому, чтобы природа была для людей низших классов скупее в раздаче даров своих. «Чему можно научиться из книги, в которой описывается какой-нибудь спившийся с кругу горемыка?» – говорят еще эти аристократы средней руки. – Как чему? – разумеется, не светскому обращению и не хорошему тону, а знанию человека в известном положении. Один спивается от лености, от дурного воспитания, от слабости характера, другой – от несчастных обстоятельств жизни, в которых он, может быть, нисколько не виноват. ...

В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общие, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов. ...

Теперь что-нибудь одно из двух: или картины некоторых сторон общественного быта, представляемые писателями натуральной школы, проникнуты истиной и верностью действительности, – и в таком случае они порождены талантом, носят на себе отпечаток создания; или, если это наоборот, они не могут никого увлекать и убеждать, и в них никто не видит ни малейшего сходства с действительностью. Так и говорят о них противники этой школы; но тогда следует вопрос: отчего же, с одной стороны, эти произведения пользуются таким успехом у большинства читающей публики, а с другой – имеют способность так сильно раздражать противников натуральной школы? Ведь только золотая посредственность пользуется завидной привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и противников. ...

Факт, что в лице писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и современною и русскою. С этого пути она, кажется, уже не сойдет, потому что это прямой путь к самобытности, к освобождению от всяких чуждых и посторонних влияний. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что она всегда останется в том состоянии, как теперь; нет, она будет итти вперед, изменяться, но только никогда уже не оставит быть верной действительности по натуре. Мы нисколько не обольщены ее успехами и вовсе не хотим преувеличивать их. Мы очень хорошо видим, что наша литература и теперь еще на пути стремления, а не достижения, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь успех ее заключается пока в том, что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищет ее, но с каждым годом более и более твердым шагом продолжает итти по ней.

Современник. 1848. № 1.

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1956. Т. 10. С. 279–314.

А. И. ГЕРЦЕН

«Москвитянин» и вселенная

В то время как солнечная система, ничего не предчувствуя, спокойно продолжала свои однообразные занятия, а народы Запада, увлеченные со времен Фалеса в пути нехорошие, еще менее что-либо подозревая, продолжали свои разнообразные дела, совершилось в тиши событие решительное: редакция «Москвитянина» сообщила публике, что на следующий год она будет выписывать иностранные журналы, приобретать *важнейшие* книги, что у ней будут новые сотрудники, которые не токмо будут участвовать, но и примут «меры»¹ ... Из этого можно было бы подумать, что до реформы журналы не выписывались, книги приобретались неважные и меры брались не сотрудниками, а подписчиками... Спустя несколько времени редакция успокоила умы насчет своего направления, удостоверяя, что оно останется то же, которое приобрело ее журналу такое значительное количество почитателей... Впрочем, арифметическая сумма чи-

¹ Погодин фактически передал тогда журнал И. В. Киреевскому, привлечшему к участию в нем новых сотрудников-славянофилов.

тателей никогда не занимала «Москвитянина»; цель его была совсем не та, он имел высшую, вселенскую цель: он собою заложил магазин обновительных мыслей и оживительных идей для будущих поколений Европы, Азии, Америки и Австралии; он приготовил в тиши якорь спасения погибающему Западу. Гибнущая Европа, нося в груди своей черные пророчества А. С. Хомякова, утопая в бесстыдстве знания, в личном себялюбии, заставляющем европейцев жертвовать собою науке, идеям, человечеству, ищет помощи, совета... И нет его внутри ее немецкого сердца: в нем одни слова – автономия, социальные интересы – и слова, как видите, все иностранные. Но придет время, кто-нибудь укажет на дальнем финском берегу лучезарный «Маяк» (намек на журнал «Маяк». – *Примеч. сост.*)... Тогда народы всего земного шара побегут к «Маяку», и он им скажет: «Идите на Тверскую, в дом Попова, против дома военного генерал-губернатора; там готово для вас исцеление, там лежат девственные, непочатые запасы в конторе «Москвитянина», – и народы придут на Тверскую и увидят, что против дома военного генерал-губернатора никакой конторы нет, а что она сбоку, подпишутся на «Москвитянина», узнают много, оживут и потолстеют.

Когда я получил новую книжку «Москвитянина» [январскую, 1845 года, под редакцией И. В. Киреевского] и увидел другую обертку с изящным видом Кремля, понял я, что редакция не шутя говорила о перемене... И – как слаб человек! – мне смерть стало жаль старого «Москвитянина». Что будет в новом, думалось мне, кто знает? Сотрудники не токмо будут участвовать, но и возьмут меры... А, бывало, ждешь с нетерпением как-нибудь в феврале декабрьской книжки и знаешь наперед: будет чем душу отвести, верно, будет отрывок из «Путевого дневника» г. Погодина... энергические фразы, изрубленные в куски: читаешь и – кажется, будто сам едешь осенью по фашиннику. Детски-милое, наивное воззрение г. Погодина на Европу казалось нам иногда странным, но, не надобно забывать, он, как кажется, имел в виду дикие племена Африки и Австралии: для них нельзя писать другим языком. Ну, вот, например, шлегелевски-глубокомысленные, основанные на глубоком изучении Данта, критики г. Шевырева не имели в тех странах далеко такого успеха, в них и Западу доставалось... а все не то! Бывало, королева Помара (как ее называет «Северная пчела») (вместо Помаре. – *А. И. Г. (А. И. Герцен)*). Королева архипелага Таити. – *Примеч. сост.*) как получит вселенскую книжку,

только и спрашивает: «Есть ли дневник?» – Есть! Она, моя голубушка, так и катается по полу (в Отаити это значит восторг) и посылает к Причарду за коньяком выпить за здоровье редакции. Оно, кажется, безделица, а ведь это главная причина раздора между Причардом и капитаном Брюа. Брюа – моряк и думал, что еще более вселенский журнал «Маяк», а Причард склонен к пузеизму, – словом, симпатизирует во многом с «Москвитянином»... Впрочем, все это было в газетах, и Гизо насчет этого успокоил Пиля: Помаре согласилась кататься по полу и от «Маяка». В сторону политики – Бог с ней! Обратимся к «Москвитянину». Все ли прежние сотрудники останутся? – продолжал я думать, глядя на обертку с изящным видом Кремля. Останется ли г. Лихонин, переводивший Шиллерова «Дона-Карлоса», кажется, прямо с испанского и переводивший прекрасные стихи графини Сарры Толстой на вовсе не существующий язык – по крайней мере в земной юдоли? Останется ли главный сотрудник, дух праведного негодования против европейской цивилизации и индустрии? А ведь одному «Маяку» не справиться со всем этим. «Москвитянин-реге», что ни говорите, журнал был хороший: если б был кто-нибудь, кто его читал не в Отаити, а на Руси, тот согласился бы с нами. Чья вина? Кто ж не велит читать? Издатель «Маяка» математически доказал в своем несравненном отчете за пятилетнее управление современным просвещением: во-первых, что со всяким годом у него подписчиков меньше и меньше, так что за 1844 год язык не повернулся признаться в цифре; во-вторых, что это очень стыдно читателям, а не журналу. Еще раз, жаль прежнего «Москвитянина». Господа! Помните, как он вдохновенно объявил, что мы спим, а он не спит за нас (иные думали, что мы именно потому и спим, что он не спит!)? Разумеется, в этом сторожевом положении иногда говорил он что попало, чтоб разогнать дремоту, – человек слаб есть! Теперь его черед: пожелаем ему доброй ночи, пусть он спит легким сном – его не потревожат частые воспоминания. Воздав должную честь покойному «Москвитянину-реге», обратимся к новорожденному «Москвитянину-fils» (живой о живом и думает)².

¹ С чувством увидели мы потом в оглавлении именно двух прежних сподвижников «Москвитянина»: поэта М. Дмитриева и философа Стурдзу. – А. И. Г.

² Мы считаем обязанностью отделить от прочих статей «Москвитянина» теологическую его часть: она не входит в обзор наш. – А. И. Г.

Светская часть¹ начинается стихами: тут вы встречаете имена Жуковского, М. Дмитриева, Языкова (какое-то предчувствие говорит нам, что в следующей книжке будут стихи Ф. Глинки и г. А. Хомякова). Рассказ г. Языкова о капитане Сурмине («Сержант Сурмин». – *Примеч. сост.*) – трогателен и наставителен; кажется, успокоившаяся от сует муза г. Языкова решительно посвящает некогда забубенное перо свое поэзии исправительной и обличительной. ... Мы имели случай читать еще поэтические произведения того же исправительного направления, ждем их в печати, это – гром и молния: озлобленный поэт не остается в абстракциях, он указывает негодующим перстом лица (при полном издании можно приложить адреса). Исправлять нравы! Что может быть выше этой цели. Разве не ее имел в виду самоотверженный Коцебу и автор «Выжигиных» (Ф. В. Булгарин. – *Примеч. сост.*) и других нравственно-сатирических романов?

Замечательнейшие статьи принадлежат гг. Погодину и Киреевскому. Статья г. Погодина – «Параллель русской истории с историей западных государств» написана ясно, резко и довольно верно, даже в ней было бы много нового, если б она была напечатана лет двадцать пять назад. Все же она не лишена большого интереса. Если бы г. Погодин чаще писал такие статьи, его литературные труды ценились бы больше. Главная мысль г. Погодина состоит в том, что основания государственного быта в Европе с самого начала были иные, нежели у нас; история развила эти различия; он показывает, в чем они состоят, и ведет к тому результату, что Западу (т. е. одностороннему европеизму!) на Востоке (т. е. в славянском мире) не бывать. Но в том-то и дело, что и на Западе этой односторонности больше не бывать: сам г. Погодин очень верно изложил, как новая жизнь побеждала в Европе феодальную форму, и даже заглянул в будущее. ... Несмотря на славянизм, истина пробивается у г. Погодина сквозь личные мнения, и сторона, которую ему хочется поднять, не то, чтоб в авантаже была. ... Это, надобно согласиться, делает большую честь автору; «шел в комнату – попал в другую», но попал, увлекаемый истиною. Честь тому, кто может быть ею увлечен за пределы личных предассудков!

Другая статья принадлежит г. Киреевскому: «Обозрение современного состояния словесности». Даровитость автора никому не нова.

¹ Указание на «светскую часть» содержит сатирический намек: журнал открывался отделом «Духовное красноречие», в котором было помещено «Слово» митрополита Филарета, сказанное на освящении храма в Чудовом монастыре.

Мы узнали бы его статью без подписи, по благородной речи, по поэтическому складу ее; конечно, во всем «Москвитянине» не было подобной статьи. Согласиться с ней, однако ж, невозможно: ее результат почти противоположен выводу г. Погодина. Г. Погодин доказывает, что два государства, развивающиеся на разных началах, не привьют друг к другу оснований своей жизни; г. Киреевский стремится доказать, напротив, что славянский мир может обновить Европу своими началами. После живого, энергического рассказа современного состояния умов в Европе, после картины, набросанной смелой кистью таланта, местами страшно верной, местами слишком отражающей личные мнения, – вывод бедный, странный и ниоткуда не следующий! Европа поняла, что она далее идти не может, сохраняя германо-романский быт; следовательно, она не имеет другого выхода, как принятие в себя основ жизни славяно-русской. ...Надобно быть слепым, чтоб не понимать великого значения славянского мира и не столько его, как России. Но отчего же Европа должна посылать к нам за какими-то неизвестными основаниями нашего быта так, как мы некогда посылали к ней за варяжскими князьями? Петр I, обращаясь к Европе, знал, видел, за чем обращается. ... Скажу вкратце об остальной части журнала. Целый отдел посвящен апологетическим разборам публичных чтений г. Шевырева в виде писем к иногородним, к г. Шевыреву, к самому себе, подписанных фамилиями, буквами, цифрами; иные из них напечатаны в первый раз, другие ...мы уже имели удовольствие читать в «Московских губернских ведомостях» (№ 2, января 13). Вообще во всех статьях доказывается, что чтения г. Шевырева имеют космическое значение, что это – зуб мудрости, прорезавшийся в челюстях нашего исторического самопознания. За этим отделом все идет по порядку, как можно было ждать а priori: статья о «Слове о полку Игореве», догадка о происхождении Киева, путешествие по Черногории и тому подобные живые, современные интересы; статья о сельском хозяйстве, может быть, и хороша, но что-то очень длинна для чтения; из западных пришельцев, составляющих Немецкую слободу «Москвитянина», статья о Стефенсе (он родился уж очень в холодной полосе и потому роднее нам) и интересная «Хроника русского в Париже». Историческая новость о том, как пытали и сожгли какую-то колдунью в Германии в 1670 году (уж этот инквизиционный, аутодафежный Запад!), точно будто взята из Кошихина или Желябужского.

Не ограничиваясь настоящим, «Москвитянин» пророчит нам две новости, из них одна очень утешительна. Первая состоит в том, что профессор Гейман *скоро* издаст химию, а вторая – что пастор Зедеггольм очень *долго* не издаст второй части своей «Истории философии».

Кажется, довольно. Журнал будет выходить около 20-х чисел месяца. Я ищу теперь в археографических актах ключа к этому и так занят, что кладу перо.

Ярополк Водянский.

Отечественные записки. 1845. Кн. 3.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений. 1919. Т. 3. С. 465–470.

А. А. ГРИГОРЬЕВ

Гоголь и его последняя книга

1

Последняя книга Гоголя составляет чуть ли не самый важный вопрос нашей литературы в настоящую минуту, не только сама по себе, но и по отношению к партиям, в которых этот вопрос нашел себе различные ответы. Книга эта – «Выбранные места из переписки с друзьями» – сделалась уже не простым литературным явлением, но делом, процессом литературным. Еще за несколько времени до появления своего в свете она возбуждала толки, еще предисловие ко второму изданию «Мертвых душ» встречено было неприязненно, хотя, собственно говоря, в этом предисловии нет ничего такого, что не было прежде сказано поэтом, на что по крайней мере не было сделано им намека. Партия, встретившая неприязненно предисловие к «Мертвым душам», может быть, не заметила, что она противоречит самой себе и более еще противоречит современному значению искусства, которое сошло с своих прежних ходуль, сошло с туманного нимба, существует для всех и каждого, дает в себе часть всем и каждому. То время, когда поэт мог сказать себе: «ты царь – живи один!», уже прошло – не знаем, ко вреду ли искусства, но, во всяком случае, не ко вреду общественного развития. Повторяем опять, что же тут мудреного, что поэт, который хочет создать народную эпопею, прислушивается к голосу народа?.. Неприязненность встречи предисловия ко второму изданию «Мертвых душ» объясняется только последнею

книгою Гоголя, о которой давно уже ходили темные слухи в обществе. Партия, складывавшая для Гоголя пьедестал из бранных остатков всей прошедшей литературы, до тех пор только поклонялась своему кумиру, пока не видела – или, лучше сказать, могла еще не видеть – слишком яркого различия его образа мышления от ее образа мышления, ибо, в настоящую минуту, говоря словами этой странной книги Гоголя: *«уже умные люди начинают говорить, хоть противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке»*... И умственное отчаяние заставило уцепиться, как за доску спасения, за истину личную или вообще за личность. Личность – вот последнее слово германского мышления, и до тех пор, пока в Гоголе видели мы только величайшего аналитика личности, отыскивающего в нас и в себе Хлестаковых, Чичиковых, Акакиев Акакиевичей, пока он не произнес суд над этой личностью, – мы все, более или менее, видели в нем, так сказать, оправдателя и восстановителя; мы предобродушно верили оправданию Чичикова и не понимали, какие иные образы поднимутся «из облеченной в святой ужас и блистание главы», мы бессознательно, на веру восхищались лирическим пафосом поэмы.

И вот сам Гоголь сказал слово в объяснение собственных созданий, сказал его, беспощадно обнаживши перед нами свою болезненность самого себя, всю нашу общую болезненность... И хотя бы дельным противоречием встречено было это важное слово; с какою-то непонятною легкостью выслушала это слово самая добросовестная из партий¹, и цинически обрадовалась ему другая, обрадовалась потому, что нашла случай, время и место сказать о самой себе, что вот-де что говорит *сам* Гоголь, так превознесенный, что мы были, дескать, правы, говоря о нем то-то и то-то². Встреча, вполне достойная общества, которое от всех тяжелых, общечеловеческих вопросов приняло только голые результаты, вполне соответствующие духу партий, борющихся не за вечную истину, а за свое собственное бедное существование...

Но что же сказал Гоголь, что могло бы быть загадкою после его предшествовавшей деятельности, справедливо оцененной одними,

¹ Григорьев имеет в виду славянофилов.

² Имеется в виду прежде всего рецензия Белинского на второе издание «Мертвых душ», напечатанная в № 1 журнала «Современнику» за 1847 год.

умышленно непонятой другими, теперь обрадовавшимися партиями? Чем уклонился он от своего направления?.. Он выступил только как мыслитель, правда, слабый, однако как мыслитель-художник, с теми вопросами, которые развивал он как художник-мыслитель; выступил, не скрывая ни перед кем своего болезненного настроя, придавая важность жизни своей, которая привела его к известному разрешению вопросов... И для нас важно не столько то разрешение, которое представляется ему успокоительным, сколько созерцание того пути, по которому он дошел до него. Ужели явление столь знаменательное, столь сильно возбуждающее раздумье не представляет для критики никакой другой обязанности, как только указывать перстом на те места в книжке Гоголя, которые, особливо взятые отдельно, представляют явную, для всех наглядную нелепость? Можно ли назвать вполне обдуманными обвинениями детские шутки одних, заносчивые убеждения других и поправки русского языка, которыми в особенности занялись даже самые ревностные поборники, действительно, часто неправильной, но всегда своеобразной, всегда пластической гоголевской речи?

Итак, вот обвинения ...которые падают на Гоголя: 1) он изменяет своей деятельности и нападает на нее с ожесточением; 2) делает великолепные обещания и считает себя таинственным орудием судьбы; 3) в задаток издает несколько ничтожных писем и пр. Предполагая отвечать на последнее обвинение изложением содержания самой книги, обратимся к двум первым.

Во всей книге Гоголь два раза только говорит о самом себе как о писателе, – везде в других местах он касается себя только как человека, столько же, как все мы, если не более всех, болезненного. Из этих двух мест в завещании своем вопрос о писателе Гоголь так сливает с вопросом о человеке, что писатель и человек становятся совершенно неразделимы. Мнения Гоголя могут быть несправедливы – да, собственно говоря, те мнения его, чисто личные, которые он высказывает в завещании, и не могут быть иными, потому что порождены болезненным настроением и, может быть, в известном смысле, последнюю степень отчаянья скептицизма, общего нашему веку, – но почему Гоголь не имел бы право написать это завещание? «Я писатель, – говорит он в самом этом завещании, – а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу: строго взыщется с него, если от сочинения его не распространится какая-нибудь польза душе и

не останется от него ничего в поучение людям». Еще более говорит он о долге писателя в письме о том, что такое слово. Человек, который так страдальчески, так задушевно смотрит на свое дело, стоит некоторого уважения даже и за свои заблуждения. «Да вспомнят также мои соотечественники, что и не будучи писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поучения». К сожалению, мы все, более или менее, отвыкли смотреть на себя серьезно, и мысль Платона, что мы все здесь – светильники, возженные для известной цели, звучит нам как-то странно, – нам непонятно, что человек, дороживший своею деятельностью, дорожит каждым моментом в своей духовной жизни, хотя, вероятно, и не остановится на этом моменте; нам непонятно, что добросовестное мышление не в силах скрыть от себя и от других противоречий, которые так легко разрешит всякий, даже плохой софист, обманывающий себя на каждом шагу; нам непонятно, что можно дойти, наконец, на пути скептицизма и эгоизма до *бездны, неудержимо поглощающей всякий конечный разум*, по выражению одной старой книги; нам непонятно, наконец, и то, что в природе, ищущей правды, слово и мысль становятся уже делом, – мы все закоснели в раздвоении мышления и жизни, – и оттого-то вырвалось у поэта, при взгляде на самого себя и на других, горькое восклицание: *«Боже! пусто и страшное становится в Твоем мире!»*.

В другом месте, где Гоголь говорит о самом себе как о писателе, он определяет сам себя как аналитика человеческой пошлости, но не как оправдателя ее, чем бы хотела, может быть, видеть его так называемая натуральная школа, не совсем понявшая своего учителя... Но вопрос о Гоголе по отношению к его деятельности прежней и к школе, получившей от него начало, составит предмет второго отдела нашей статьи: «Гоголь, как художник и мыслитель, и натуральная школа», в которой мы постараемся доказать, что поэт даже и не думал изменять своей прежней деятельности, что последняя книга его только поясняет эту же самую деятельность.

2

Гоголь впервые выступил на литературное поприще с своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо, – все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа, еще не слыхать того злобного смеха, который после является единственным

честным лицом в произведениях Гоголя, — хотя в то же самое время и здесь, уже в этих первых поэтических впечатлениях, выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта — свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются на глаза (слова последней книги Гоголя); это свойство здесь не выступило еще карающим смехом, оно добродушно, как шутка, и потому как-то легко, как-то светло на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта, еще не вышедшего из-под обаяния родного неба, еще напоенного благоуханием черемух его Украины. Ни один писатель, может быть, после древних, не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою, как Гоголь; ни один писатель не носит в себе, как он, такого пластического постижения красоты... красоты полной, существующей для всех и для всего, — никто, наконец, как этот человек, призванный очертить пошлость пошлого человека, не полон так сознания о прекрасном человеке, прекрасном физически и нравственно, — и потому самому ни один писатель не обладает вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он беспощадно разнимает трупы, обливается желчью и негодованием над утраченным образом Божиим в человеке, образом вечно прекрасного. ...

«Мертвые души» суть последнее слово всей предшествовавшей деятельности Гоголя и, несмотря на строгий, художнический суд над ними самого автора, все-таки это подвиг благородный и высокий, и притом предназначенный не для оправдания человеческой пошлости, чем бы хотели их видеть некоторые близорукие, хотя и добросовестные люди. Предшествовавшая деятельность Гоголя делает понятными лирические места его поэмы — понятно, что поэт может не обещать только, но и действительно перейти к иным образам, — и степени человеческого просветления изображать точно так же свято и верно, как степени падения или обмеления; она делает, наконец, понятным появление последней книги Гоголя — этого строгого суда его над самим собою и над личностью, суда честного, но, разумеется, и болезненного, преимущественно назидательного для школы, признавшей поэта своим вождем и главою и нисколько не понявшей своего учителя. Школа эта, названная ее довольно жалкими противниками¹ *натураль-*

¹ Имеется в виду прежде всего Ф. В. Булгарин, впервые употребивший термин «натуральная школа» в фельетоне об изданном Н. А. Некрасовым «Петербургском сборнике» (см.: Северная Пчела. 1846. № 22. 26 янв.)

ною, увидела в Гоголе только оправдателя и восстановителя всякой мелочной личности, всякого микроскопического существования, она пошла дальше в этом оправдании и вдалась, с одной стороны, в сентиментальное поклонение добродетелям Макара Алексеевича Девушкина и Варвары Алексеевны в романе «Бедные люди» (Ф. М. Достоевского. – *Примеч. сост.*), забывши слово Гоголя, что опошлен образ добродетельного человека, – с другой стороны, до того углубилась в созерцание личности, что дала гражданство всякой претензии в патологической истории о Голядкине-старшем¹, где человек является уже вполне рабом – рабом, для которого нет исхода из его рабства.

3

Переходя к изложению содержания странной книги Гоголя, мы еще раз повторяем, что книга эта есть болезненный момент в его духовном развитии, и самую эту болезненность должны мы принять точкою исхода для суда над самою книгою. Прежде всего болезненность эта не есть чисто личная, гоголевская; она обща всем сынам эпохи более или менее; не всякого, правда, приводит она к результатам, к которым в настоящую минуту приведен сам Гоголь, но тем не менее самые эти результаты и не новы, и не необыкновенны. Вот что сам поэт говорит об этой болезненности, вот в чем мыслитель ищет корня зла:

«Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей: он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и гоняться за людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим, глупейшие законы дает миру, какие доселе еще не давались, и мир это видит и не смеет ослушаться! Что значит эта ода ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке. Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа – и между тем боится не исполнить ее малейшего приказания, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, то даже и те, которые сами над нею смеются и пляшут, как легкие ветренники, под ее дудку? Что значат эти так на-

¹ Имеется в виду «Двойник» Ф. М. Достоевского.

зываемые бессмысленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, – посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божие помазанники остались в стороне, – люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями умных людей? И газетный листок («Северная Пчела» Фаддея Булгарина. – *Примеч. сост.*), признаваемый лживым всеми, становится нечувствительно законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые, видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу, кажется, сила, – и мир это видит все, и, как очарованный, не смеет шевельнуться». ...

· Итак, вот одна сторона всеобщей болезни, отмеченная Гоголем и Одоевским, – это власть творимой силы множества над всяким и каждым, несмотря на демоническую силу личности; но в каждой личности отдельно таится еще злой и страшный недуг безволия, или, точнее сказать, рассеяния сил, потерявших в человеке центр, точку опоры, – тот недуг, о котором беспрестанно говорят нам и поэты лирической школы, который так резко, иногда даже до цинизма резко, клеймит Гоголь в его книге.

«Все теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил себя в подлое подножие всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в истинном ее смысле».

Это резко, но это правда, и величайшая заслуга книги Гоголя, то есть настоящего момента его духовного развития, это – навести многих на мысль о едином, истинном для всякой личности, на мысль о сосредоточении, о собрании себя всего в самого себя – эта мысль пронизывает, так сказать, всю книгу Гоголя, оправдывает многие чисто личные его убеждения, которые вовсе не смешны с этой точки зрения, вопреки мнению многих благомыслящих людей, которые хотят видеть в них одну смешную сторону. Положим, что, действительно, довольно странны советы Гоголя, хоть, например, одной даме, разделить все доходы на семь кучек и т. д., но в совете этом странна только форма, а самое начало сосредоточения сил проведено вполне, даже с какою-то стоическою жестокостью.

«Если бы даже, – говорит он (стр. 181), – вы были свидетельницею картины несчастья, раздирающего сердце, и вы видели бы сами,

что денежная помощь может помочь, – не смейте и тогда дотрагиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молитесь, *будьте готовы даже на унижение себя*, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были *из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному*».

Такой совет странен, правда, неприличен, пожалуй, но ничуть не смешон: унижение самого себя не выставляется здесь на поклонение, как искусство для искусства, как само себе служащее целью, – здесь виден стойк, который смотрит на него как на урок, необходимый на трудном пути сосредоточения; тот же самый смысл имеет и восклицание, поразившее всех, восклицание: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!» (стр. 192). Повторяем опять, все это странно, потому что по болезненности момента, в котором находится Гоголь, приняло странные формы, но несколько не смешно и еще менее того отвратительно... Начало сосредоточения слишком ярко представилось поэту, и всякий, кто только жил жизнью духа, кто только способен жить жизнью духа, – способен и усвоить один принцип, вне странных форм, чем устраняется мнение, что книга Гоголя может ввести многих в заблуждение. ...Советы эти, – и о семи кучах дохода и о том, чтобы не дотрагивались до других куч, даже при виде картины бедности, – вполне объясняются желанием собрать воедино рассеянные и расплывшиеся силы человека, хотя бы посредством женщины; они странны и нелепы в своей форме, но не смешны даже в самых выписках с подчеркнутыми словами. Формы преходящи, могут быть и не быть, – а призыв внутреннего человека собрать себя всего воедино, призыв женщине содействовать этому дарами, ей данными, и несением креста собственного – вполне соответствуют духу Того, в малом стаде Которого овому дается дух пророчества, овому дар языков, овому любовь (парафраза Первого послания св. апостола Павла к коринфянам. – *Примеч. сост.*) и перед Которым все равно суть члены единого, нераздельного целого и в этом смысле не знают *ни рабов, ни свободных, ни мужска пола, ни женска*.

5

В письме о том, «что такое слово», следующем непосредственно за письмом о значении женщины в свете, Гоголь высказывает мысль,

не новую, правда, – что «обращаться со словом нужно честно», но которую напомнить весьма недурно было ему собратиям своим, писателям, не только нашим, но и европейским. Настоящая литературная эпоха, с ее «Жидами», «Тайнами» («Вечный жид», «Парижские тайны» – романы Э. Сю. – *Примеч. сост.*) и проч., есть эпоха осквернения слова. Может быть, такой момент низведения искусства до самой низшей степени и необходим в развитии вообще, но никто не станет отвергать, что он пагубен для искусства. Гоголь же смотрит на свое дело как истинный художник и как человек, который дорожит своим призванием, – тот же высокий взгляд на искусство высказывает он и в письме «о чтении русских поэтов перед публикою», только, к сожалению, Гоголь как-то слишком простодушно верит в то, что «сила таких чтений сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии».

В письме о помощи бедным Гоголь оставляет в стороне вопрос, занимающий в настоящую минуту более всего общество, – вопрос о бедных вообще и о том, полезно ли помогать только известным бедным, – он дает только советы, очень благоразумные, о том, как помогать, хотя в то же самое время замечает весьма справедливо и метко, что «пожертвования собственно в пользу бедных делаются у нас весьма неохотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли как следует до места назначения его пожертвование, попадет ли именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде нежели донесется, нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего». ...

О письмах по поводу «Мертвых душ» говорено слишком много всеми, но все, более или менее, обращали внимание на странности выражений – на нецеремонность тона Гоголя, когда он говорит о самом себе, но, собственно говоря, это – простодушная, безыскусственная честная исповедь художника, который дорожит своим делом. Самые слова Гоголя о том, что *рожден он вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной*, и что *дело его – душа и прямое дело жизни*, нельзя понимать ни как ложное смирение, ни как отречение от своей деятельности.

Прямое дело жизни для него, как для художника, есть искусство, производить же эпоху, то есть стоять во главе партии он не хочет, вот и все... Одним словом, везде, где Гоголь говорит об искусстве, в пись-

мах ли о «Мертвых душах», в письме ли о художнике Иванове, в письме ли о том, «в чем, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», особенно отличающемся тонкостью и нежностью взгляда, виден прежний Гоголь «Портрета», «Рима», «Разъезда после представления», так, как во всем взгляде на русский быт, во всех довольно странных советах помещику виден Гоголь «Мертвых душ», так, как, наконец, в письме о Светлом Воскресении, где поэт, больной сам недугами века, разоблачает их с искренностью и глубиной, виден прежний же мыслитель Гоголь, творец «Невского проспекта», «Записок сумасшедшего» и «Шинели».

А. Г.

Московский городской листок. 1847. № 56. 10 марта; № 62. 17 марта; № 63. 18 марта; № 64. 19 марта. С. 225–226, 249–250, 254–256.

В. Н. МАЙКОВ

Общественные науки в России*

Статья первая

Если Россия имеет свое искусство, запечатленное чертами резкой оригинальности, то нет причины думать, чтоб и наука не принялась когда-нибудь на русской почве, как растение туземное. До сих пор она у нас – пересаженный цвет, и потому-то самому, быть может, и не вошла еще к нам в плоть и в кровь, не слилась с нашею жизнью, не проникла нашей деятельности своим благотворным влиянием. Чтобы выйти мало-по-малу из этого младенчества, чтоб усвоиться массе, она должна быть приведена в гармонию с природным настроением нашего ума. Для того покамест один путь – критическое исследование тех наук, которые принимаем мы от Запада. Прошло уже то время, когда мы должны были безусловно благоговеть перед нашими учителями, веря им во всем на слово. Мы поняли теперь, что самое разнообразие цивилизации западно-европейских народов свидетельствует об односторонности каждого из них, что мы должны делать строгий выбор между тем, что должно и чего не должно у них

* Это первая статья задуманного В. Н. Майковым довольно большого теоретического труда. Опубликовано в «Финском вестнике» 1845 года. Оставшийся материал напечатан с черновой рукописи автора в сб.: В. Н. Майков. Критические опыты (1845–1847). СПб., 1889.

заимствовать. Следовательно, первые шаги наши на поприще создания национальной науки должны состоять в строгом критическом разборе наук Запада. ...

Возможна ли философия общества, какое влияние имеет ее отсутствие на состояние общественных наук, и какую пользу может принести эта наука для теоретического развития и практического применения общественных наук?

Философия общества, то есть наука, исследующая все элементы общественной жизни в их взаимном отношении, не только возможна, но и необходима. Нельзя не сознавать, что явления общественные имеют свой особенный характер, основанный на одной общей идее. Рассматривая человека в обществе, мы изучаем уже не чистую, изолированную природу его, а известную степень модификации этой природы под влиянием известных обстоятельств; так например, изучение личности великого человека весьма различно, смотря по тому, какой взгляд преобладает в наблюдателе – антропологический или социальный. В первом случае он будет исследовать все явления, способствовавшие к развитию его характера, в том числе и общественные, с тою целью, чтобы определить его склонности и силы сравнительно с другими людьми и с идеалом человека. Напротив того, социалист обратит внимание на те же явления, имея в виду влияние их на образование в нем тех потребностей и способностей, которые должны были поставить его в известное отношение к обществу. ...

Изображая исторический ход какой-нибудь отрасли человеческой деятельности, нельзя не заметить, что исторические факты могут быть рассматриваемы с двух сторон – с точки зрения антропологической и с точки зрения общественной. Так, например, в истории литературы необходимо представляется вопрос: как должен историк смотреть на успехи ума человеческого – в такой ли мере, как они содействовали развитию самой литературы, независимо от великого влияния их на общество, в котором эта литература развивалась, или в отношении к сему влиянию? Взгляд на достоинства произведений литературы совершенно различен у эстетика и у социалиста: первый будет искать в них достоинства безусловного, оценивая их по законам изящного, которые одинаковы для всех веков и для всех народов; последний обратит внимание свое на те из них, в которых яснее отразилось современное автору положение общества. Таким образом, эстетик назовет ничтожными целые кипы книг, узревших свет под влиянием

скоропреходящей моды, и обратится к произведениям бессмертным, между тем как социалист особенно займется теми, в которых, не смотря на отсутствие условий искусства, живо выразилась современность. ...

Из этих примеров следует, что общественный мир существенно отличается от мира личного, что изучение явлений общественных ведет к истинам, существенно отличным от тех, которые вытекают из изучения изолированного человека. А ряд однородных фактов, по образовательной силе ума, необходимо вызывает науку, как единственную форму, ему свойственную. Но на это могут сказать нам, что общественные науки существуют, ибо существует право, политическая экономия, педагогика, политическая история. Так! Но без социальной философии, без общей теории общественной жизни эти науки гибнут в анархии, тщетно стремясь к организации, которая дала бы каждой из них новую жизнь, водворила бы между ними порядок и соделала их причастными живой деятельности, освободив из оков одностороннего анализа. ...

Философия общества имеет высшее значение: оно вытекает из естественного хода познания. Наука эта образуется по тем же законам, по которым составились и частные общественные науки. Совокупность идей и фактов политических образовала право, совокупность идей и фактов экономических – политическую экономию, мир нравственный в формах общества нашел себе место в морали или педагогике. Так точно и мир общественный, в котором эти три мира существуют как составные части, стремятся в свою очередь сделаться предметом одной высшей науки. Но для чего же – спросят меня – снова изучать факты общественные, когда они уже нашли себе место в системе человеческих познаний, как факты экономические, педагогические и политические? Не значит ли это лишать их той физиономии, которую дал нам анализ? Но, во-первых, существование философии общества никак не уничтожает существования права, политической экономии и педагогики; ибо обширный взгляд составляется из теснейших, общее – из частного. Во-вторых, однородные факты могут быть объяснены вполне тогда, когда мы объясним их взаимное отношение. Факты политические, экономические и нравственные подчинены одной идее, которая дает им значение в жизни и состоит не в чем ином, как в гармоническом их сочетании. Под этою идеей разумеется здесь общественное благосостояние, которое служит единственным мерилom при определении всякой деятельности, как поли-

тической, так и экономической и педагогической. Порядок вещей, оправдываемый одною из общественных наук, тогда только может быть одобрен безусловно, когда и другие науки его оправдывают. Если бы торг неграми и оправдывался соображениями экономическими, то разум все-таки не допустил бы его по силе требований нравственных. Но этого мало. История показывает нам, что интересы политические, экономические и нравственные так тесно связаны между собою, что успехи или упадок одной стороны благосостояния неминуемо влечет за собою успех или упадок двух остальных. Эта истина так верна, что, не прибегая к уловкам, невозможно указать в истории ни одного факта, в котором можно было бы видеть причину успеха одной деятельности и в то же время причину упадка другой. Впрочем, иначе и быть не может: если бы три стороны общественного благосостояния не находились в таких гармонических отношениях между собою, общество не могло бы существовать иначе, как в формах хаотических; оно уничтожало бы само себя вечною борьбою стихий своих.

Итак, интересы политические, экономические и нравственные могут существовать только в теории: на деле их нет; есть только интерес общественный, выражающий общую идею благосостояния общества. Следовательно, живая идея общественных наук заключается в философии общества, в общей теории общественного благосостояния, между тем как политическая экономия, право и педагогика суть науки, имеющие значение единственно по отношению своему к ней. ...

Прежде всего надо согласиться в том, что удовлетворение физических потребностей вовсе не составляет еще физического или экономического благосостояния. Значение сего последнего гораздо шире: оно объемлет собою систему человеческих потребностей по мере того, как они могут быть удовлетворены чрез действие человека на внешний мир. Так, например, любознательность есть потребность чисто нравственная, – тем не менее печатание и продажа книг есть факт экономический, факт материального благосостояния, производства ценности посредством труда. Книга удовлетворяет потребности нравственной; ценность, на нее вымениваемая, может быть также обращена на удовлетворение нравственной потребности; книжная торговля служит здесь только средством; следовательно, значение ее зависит от нравственных нужд. И во всякой мере, во всяком труде первый двигатель есть запрос, потребность, которую мы не имеем никакого права ограничивать пределами нашей физической приро-

ды. Одному нужен кусок мяса, другой с такою же силою требует книг, третий – каких-нибудь барельефов для украшения дома. Промышленность удовлетворяет всем этим требованиям. Следовательно, нельзя смотреть на нее, как на средство к удовлетворению физических потребностей.

Итак, экономическое благосостояние заключается в материальных средствах к удовлетворению всех человеческих потребностей. Наличие этих средств составляет то, что мы привыкли называть богатством. Следовательно, ошибаются те, которые разделяют мнение России, будто бы богатство и материальное благосостояние – две вещи разные. Первое есть не что иное, как факт, выражающий последнее. Никто уже не смотрит теперь на богатство как на груды золота; все понимают теперь, что оно заключается в материальных средствах к удовлетворению потребностей посредством вещей. ...

Общественная жизнь не ограничивается развитием материального, нравственного или политического благосостояния порознь: она состоит из совокупного их развития. Экономическое благосостояние имеет важность по отношению к нравственному и политическому, и наоборот. Так и наука, исследующая законы общественного благосостояния, должна исследовать отношения частей сего благосостояния. Факт общественной жизни также сложен, как факт физиологический: он не может быть ни экономическим, ни политическим, ни нравственным исключительно, точно так же, как факт растительной или животной экономии непременно заключает в себе три стороны – механическую, физическую и химическую. И если физиология, в надлежащем своем аналитическом развитии, состоит в определении гармонии, под влиянием которой законы физики, механики и химии обнаруживаются в отправлениях материальной жизни, взаимно уравновешивая друг друга, то и аналитическая часть философии общества исследует ту же гармонию экономического, нравственного и политического благосостояния в фактах жизни общественной. ...

Общество есть не что иное, как форма человеческого бытия. Посему идеи благосостояния общества нельзя отделить безусловно от идеи благосостояния или развития человека. Можно даже сказать, что развитие общества есть одно из условий развития человека. Следовательно, значение общественного благосостояния может быть определено по отношению его к требованиям человеческой природы, человеческого благосостояния. Этим самым определяется бли-

жайшая задача синтеза в обработке философии общества. Она состоит в вопросе об отношении ее к антропологии. ...

Социалист не должен ограничиваться изучением общества в его временном и тесном проявлении: он должен привести интересы общественные в соотношение с интересами человечества. ...

*Майков В. Н. Критические опыты (1845–1847). СПб., 1889.
С. 547–548, 555–559, 586–587.*

Об отношении производительности к распределению богатства

Начала современного спора об отношении производительности к распределению богатства должно искать в учениях Смита и Сисмонди, диаметрально противоположных одно другому.

В Смитовой теории нет и тени мысли о справедливом распределении богатства. Высшая степень экономического благосостояния общества, по его учению, заключается в возможно большем количестве производимых ценностей и в переводе количества лиц производительных над непроизводительными. Иными словами, Смит полагал, что чем больше в обществе производится вещей, подлежащих обмену, и чем более в нем лиц, занимающихся производством и обменом этих вещей, тем ближе подходит оно к идеалу экономического благосостояния. Следовательно, экономический успех общества, по понятию Смита, состоит в усилении производительности. Дальнейшее развитие этой идеи в созданной им науке заключается в исследовании условий, при которых государство может производить возможно большее количество ценностей, то есть вещей, подлежащих обмену, товаров... Условия эти суть: 1) развитие наук и искусств, удобоприменяемых к промышленности, 2) увеличение числа машин и разделение работ, 3) свободное соперничество, 4) хорошее устройство путей сообщения, 5) увеличение капиталов, 6) независимость производителей и сбыта от правительственных постановлений. Из этого видно, что в идеал благосостояния, созданный Смитом, вовсе не входит представление богатства, разлитого по всем слоям общества, богатства, обеспечивающего возможно большее число его членов. ...

По беспристрастном рассмотрении дела, нельзя не убедиться, что все до сих пор предложенные меры к улучшению настоящего положения промышленности совершенно недостаточны. ...

Современное общество представляет нам непрерывную войну интересов: 1) хозяева сражаются друг против друга, ибо каждый из них видит свою выгоду в банкротстве других; 2) хозяева сражаются с работниками, стараясь уменьшать их задельную плату; 3) работники сражаются с хозяевами, стараясь достигнуть противоположной цели, то есть увеличения задельной платы; наконец, 4) работники сражаются друг с другом, перебивая один у другого работу и понижая задельную плату. Ясно, что корень этих враждебных отношений заключается не в чем ином, как в существовании частных капиталов и в разрозненности капитала и труда. Если бы два лица не могли располагать, каждое по произволу, своими капиталами, то между ними не могло бы быть и соперничества. Точно так же, если бы всякий человек мог быть в одно время и капиталистом и работником, то не могло бы быть и вопроса о вражде хозяев и работников. ...ни безусловное равенство имуществ, ни распределение богатств по способностям к труду нисколько не продвигают общества на путь к благосостоянию, а еще, напротив того, представляют перспективу таких бедствий, которые превосходят сумму зол, рождаемых неравенством. Следовательно, неравенство имуществ должно быть допущено в обществе. Но этого мало: можно доказать, что оно не только не составляет такого зла, как о нем думают, но даже не может не быть признано за необходимый рычаг экономической деятельности. Почему? Потому что богатство есть понятие относительное, результат сравнения имущественных средств нескольких лиц, а сравнение это побуждает тех, у кого таких средств меньше, догонять тех, у кого их больше. Человек с ограниченными средствами потому только и желает их увеличения, что видит в обществе других лиц, располагающих большим богатством и имеющих возможность удовлетворять большей сумме потребностей. Следовательно, неравенство имуществ вызывает производительность. ...

Спрашивается: кто предприимчивее – богатый или бедный? Конечно, богатый, потому, что он имеет более возможности рисковать и приводить в исполнение всякие экономические идеи. Если малые капиталисты до сих пор не успевают в соперничестве с большими, то это происходит не от чего иного, как от того, что они боятся составлять компании, а боятся не по чему иному, как по нерешимости отказывать свои малые капиталы. Какой капиталист может предоставить более выгод лицам, отдающим ему свой труд за вознаграждение, – богатый или бедный? Без сомнения, богатый, потому что это ему не

так обременительно. Кто более свободен искушаться приманкой неправого барыша – богатый или бедный? Конечно, бедный, ибо богатый по крайней мере имеет более сил придержаться расчета на кредит, на репутацию. В ком скорее можно предположить великодушное стремление в связи с любостязательным – в богатом или в бедном, или даже в целой группе, ассоциации бедных? Опять-таки в богатом. Потому что ему легко быть тем, что называется великодушным.

Вот хорошая сторона существования больших капиталов. Покажем теперь, что существование их еще более должно быть допущено, потому что соединение капитала и труда, о котором так мечтают утописты, в одних руках было бы пагубно для общества. Такое соединение предполагает замену частной собственности, частного труда и частного дохода собственностью, трудом и доходом общин, ассоциаций, иными словами – уничтожение частной собственности, уничтожение частного труда, уничтожение частного дохода. И такого результата добивается современная наука! ...

Перейдем теперь к второму вопросу: как достигнуть того, чтобы в обществе не было двух отдельных предприятий одного рода, другими словами – как уничтожить соперничество, войну антрепренеров между собою? Этот вопрос большею частью новейших социалистов оставлен без разрешения. Восставая против системы свободного соперничества в том виде, как она теперь существует, они, кажется, не решаются восставать против соперничества вообще. Вероятно, их останавливают следующие азбучные соображения.

Нельзя смотреть на промышленность исключительно со стороны выгод производителей. Мало того, чтобы хозяева промыслов и их работники получали достаточное и постоянное обеспечение; надо позаботиться и о том, чтобы произведения их труда вполне удовлетворяли требованиям потребителей и приходились им сколь возможно дешевле. Кроме соперничества, нет другого пути к достижению этой цели: оно одно заставляет промышленников сбавлять цены с товаров. Положим, что в обществе всего на все одна суконная фабрика: владельцы этой фабрики могут назначать какие им угодно цены на сукна, а потребители должны будут переплачивать им несравненно более того, сколько бы пришлось им платить при существовании нескольких других суконных фабрик, которые для привлечения к себе покупателей старались бы делать сукна лучшей доброты и продавать их за более сходную цену. ...

Но это еще не все. Соперничество не ограничивается внутренним рынком, пределами государства. Другие государства могут подорвать предприятие, огражденное со стороны отечественных конкурентов. Для устранения этого соперничества придется или согласить все государства, чтоб они, избрав себе каждое один какой-либо род промышленности, обязались не заниматься другими, или усилить запретительную систему самыми высокими пошлинами. Первое условие так нелепо, что о нем не стоит и говорить; второе должно иметь следствием своим то, что человечество на век должно будет отказаться от надежды дожить до всеобщей свободы торговли. ...

Какая же сила может водворить гармонию между враждебными классами общества, как ни правительство, которое, по самой сущности своей, должно быть чуждо пристрастия и к богатым, и к бедным, перед которым все граждане равны, как члены одного товарищества, заключенного с целью совокупного стремления к благосостоянию? ...

Краеугольный камень для улучшения участи рабочего класса заключается в усовершенствовании условий их дохода, то-есть, в том, чтобы 1) труд их всегда находил себе достаточное вознаграждение, и 2) чтобы количество сего вознаграждения сколь можно менее зависело от воли антрепренеров и от соперничества их между собою. ...

Согласно ли же со здравым смыслом и с чувством справедливости устранять человека от пользования его произведениями? Всякий промысел предполагает содействие лиц трех родов: 1) хозяина или, лучше сказать, администратора, то-есть, такого человека, который при наличности капитала и работников может привести предприятие к предположенной цели, 2) капиталиста, который снабжает предприятие всеми нужными капиталами, то-есть, землею, строениями, машинами и деньгами, и 3) работников, лиц, содействующих к производству ценностей непосредственно, известным напряжением ума и тела. Таким образом, всякого рода мануфактурное и земледельческое изделие есть результат совокупных усилий всех этих лиц. Следовательно, работники должны были бы иметь часть права собственности на произведенные ими ценности, иными словами – они должны были бы получать известную часть барышей, получаемых от продажи их изделий. ... Но задельная плата лишает их этого права; им выдают ее с тем, чтоб они отказались от права собственности на свои произведения. Спрашивается: отчего же капиталисты получают дивиденды из

дохода с промысла, если не хотят получать процентов с капиталов? Отчего деньги делают капиталиста акционером? Отчего непосредственный труд не дает такого же права? Ведь без труда предприятие столь же невообразимо, как и без капитала, даже еще более. ...

...Рассуждая о разумной системе распределения богатства, мы поставлены в необходимость выбирать одно из двух – или поденщину, или противоположную ей, которую можно назвать «дольщиной», потому что существенное различие ее от первой заключается в том, что каждое лицо, которого труд или капитал необходимо играет роль в производстве промысла, каждое такое лицо получает дивиденд, долю из чистых барышей, приносимых промыслом. ...

Итак, долящина может быть принята в настоящее время на следующих основаниях:

1) Она не должна исключать выдачи работникам задельной платы; но сия последняя выдается работникам уже как заем; сумма всех сих заемов причитывается к сумме издержек на ведение предприятия, и доли выдаются уже из разности, полученной от вычета всех сил издержек (в том числе и суммы на содержание работников) из цифры прихода.

2) Работники, как лица, не посвященные в идею целого предприятия, не отвечают своими долями за банкротство хозяина.

3) Проверка прихода и определения чистой прибыли от промысла должна быть поручена собраниям выборных из хозяев и работников.

4) Правительство определяет количество долей законом.

Скажем теперь несколько слов о преимуществах долящины. Эта система удовлетворяет всем удобоисполнимым условиям равенства прав хозяев и работников; таким образом сии последние имеют возможность почувствовать свой человеческий характер и получают способность удержаться от всего, что противоречит сему характеру. Ничто так не уничтожает человека, как постоянное непризнание его прав, порождающее в нем презрение к самому себе и небрежность во всем, что касается до улучшения его быта. Остается при нем одно животолубие, никогда не покидающее чувственное существо, и страсть к материальным утехам. Вот почему такого рода люди, еслиб им случилось вдруг разбогатеть, никогда не будут ни нравственнее, ни заботливее, ни даже опрятнее: деньги их пойдут на удовлетворение животных потребностей и нелепого тщеславия: две крайности,

естественно являющиеся вслед за нищетой и безличностью. При системе дивидендов работник постоянно имеет в виду возможность в будущем обеспечить себя и свое семейство, если только захочет трудиться в настоящем. Эта мысль всегда вдохновительна, и работник, под ее влиянием, трудится охотно, с жаром, с сладким сознанием цели своих усилий. Далее, никогда так не развивается в человеке нравственное чувство и сознание собственного достоинства, как в том положении, когда доходы его состоят в возможно-справедливой оценке его труда по качеству и количеству: это развивает в нем благородную гордость, с которою неразлучно радение о всем, что составляет обстановку жизни.

Но самые очевидные преимущества дольщины перед поденьщиной заключаются в несравненно большем материальном обеспечении рабочего класса. При существовании дольщины в том виде, как изъяснено выше, работники получают и содержание в продолжение работ, и дивиденды по окончании каждого оборота. Сии последние могут быть употребляемы ими на то, что выходит из круга первых животных потребностей, на улучшение домашнего быта, на удовлетворение некоторых нравственных потребностей, на воспитание и образование детей, сообразное с их состоянием, и наконец, на составление небольших капиталов при помощи сохранных касс, которые тогда перестанут быть горькою насмешкой над нищею. Сверх того, защищаемая здесь система ослабляет бедствия, ныне постигающие работников при банкротстве антрепренеров и в случаях, дозволяющих ему сократить число рабочих рук; ибо доля, полученная работниками до банкротства хозяина или до того времени, как труд их окажется излишним, может помочь им выдержать тягость приискания новых работ.

Благотворительные последствия материального благосостояния сего класса неизлечимы. Нравственное и умственное образование его делается возможным: одно это обстоятельство придает дольщине значение величайшего переворота.

Майков В. Н. Критические опыты (1845–1847). СПб., 1889. С. 614–615, 618, 619, 621–623, 625–627, 636, 638, 641–642, 645, 650–652.

**О характере просвещения Европы
и о его отношении к просвещению России**

...Конечно, мало вопросов, которые в настоящее время были бы важнее этого вопроса – об отношении русского просвещения к западному. От того, как они разрешаются в умах наших, зависит не только господствующее направление нашей литературы, но, может быть, и направление всей нашей умственной деятельности, и смысл нашей частной жизни, и характер общежительных отношений. Однакоже еще не очень давно то время, когда этот вопрос был почти невозможен или разрешался так легко, что не стоило труда его предлагать. Общее мнение было таково, что различие между просвещением Европы и России существует только в степени, а не в характере, и еще менее в духе или основных началах образованности. У нас (говорили тогда) было прежде только варварство: образованность наша начинается с той минуты, как мы начали подражать Европе, бесконечно опередившей нас в умственном развитии. Там науки процветали, когда у нас их еще не было; там они созрели, когда у нас только начинают распускаться. Оттого там учителя, мы – ученики; впрочем, – прибавляли обыкновенно с самодовольством, – ученики довольно смышленные, которые так быстро перенимают, что скоро, вероятно, обгонят своих учителей. ...

Европейское просвещение во второй половине XIX века достигло той полноты развития, где его особенное значение выразилось с очевидною ясностью для умов, хотя несколько наблюдательных. Но результат этой полноты развития, этой ясности итогов, был почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды. Не потому западное просвещение оказалось неудовлетворительным, чтобы науки на Западе утратили свою жизненность, – напротив, они процветали, по-видимому, еще более, чем когда-нибудь; не потому, чтобы та или другая форма внешней жизни тяготела над отношениями людей или препятствовала развитию их господствующего направления, – напротив, борьба с внешним препятствием могла бы только укрепить пристрастие к любимому направлению, и никогда, кажется, внешняя жизнь не устраивалась послушнее и согласнее с их умственными требованиями. Но чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей, которых мысль не ограничивалась тесным кругом

минутных интересов, именно потому, что самое торжество ума европейского обнаружило односторонность его коренных стремлений; потому что при всем богатстве, при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках, общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека; потому что, при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни, самая жизнь лишена была своего существенного смысла, ибо, не проникнутая никак общим, сильным убеждением, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни согрета глубоким сочувствием. ...

Так западный человек исключительным развитием своего отвлеченного разума, утратив веру во все убеждения, не из одного отвлеченного разума исходящие, вследствие развития этого разума потерял и последнюю веру свою в его всемогущество. Таким образом был он принужден или довольствоваться состоянием полускотского равнодушия ко всему, что выше чувственных интересов и торговых расчетов (так сделали многие; но многие не могли, ибо еще сохранившимися остатками прежней жизни Европы были развиты иначе), или должен был опять возвратиться к тем отвергнутым убеждениям, которые одушевляли Запад прежде конечного развития отвлеченного разума, — так сделали некоторые; но другие не могли потому, что убеждения эти, как они образовались в историческом развитии Западной Европы, были уже проникнуты разлагающим действием отвлеченного разума, и потому из первобытной сферы своей, из самостоятельной полноты и независимости перешли на степень разумной системы, и от того являлись сознанию человека западного как односторонность разума, вместо того, чтобы быть его высшим, живительным началом.

Что же оставалось делать для мыслящей Европы? Возвратиться еще далее назад, к той первоначальной чистоте этих основных убеждений, в какой они находились прежде влияния на них западно-европейской рассудочности? Возвратиться к этим началам, как они были прежде самого начала западного развития? Это было бы почти невозможным для умов, окруженных и проникнутых всеми обольщениями и предрассудками западной образованности. Вот, может быть, почему большая часть мыслителей европейских, не в силах будучи вынести ни жизни тесно эгоистической, ограниченной чувственными целями и личными соображениями, ни жизни односторонне-умственной, прямо противоречащей полноте их умственного сознания,

чтобы не оставаться совсем без убеждений и не предаться убеждениям заведомо неистинным, – обратились к тому изводу, что каждый начал в своей голове изобретать для всего мира новые общие начала жизни и истины, отыскивая их в личной игре своих мечтательных соображений, мешая новое со старым, невозможное с возможным, отдаваясь безусловно самым неограниченным надеждам, и каждый противореча другому и каждый требуя общего признания других. Все сделали Колумбами, все пустились открывать новые Америки внутри своего ума, отыскивать другое полушарие земли по безграничному морю невозможных надежд, личных предположений и строго-силлогистических выводов.

Такое состояние умов в Европе имело на Россию действие, противное тому, какое оно впоследствии произвело на Запад. Только немногие, может быть, и то разве на минуту, могли увлечься наружным блеском этих безрассудных систем, обмануться искусственным благообразием их гнилой красоты; но большая часть людей, следивших за явлениями западной мысли, убедившись в неудовлетворительности европейской образованности, обратили внимание свое на те особенные начала просвещения, неоцененные европейским умом, которыми прежде жила Россия и которые теперь еще замечаются в ней помимо европейского влияния. ...

В чем же заключаются эти начала просвещения русского? Что представляют они особенного от тех начал, из которых развилось просвещение западное? И возможно ли их дальнейшее развитие? И если возможно, то что обещают они для умственной жизни России? Что могут принести для умственной жизни Европы? – Ибо, после свершившегося соприкосновения России и Европы, уже невозможно предполагать ни развития умственной жизни в России без отношения к Европе, ни развития умственной жизни в Европе без отношения к России.

Начала просвещения русского совершенно отличны от тех элементов, из которых составилось просвещение народов европейских. Конечно, каждый из народов Европы имеет в характере своей образованности нечто особое; но это частные, племенные и государственные или исторические особенности не мешают им всем составлять вместе то духовное единство, куда каждая особая часть входит как живой член в одно личное тело. Оттого, посреди всех исторических случайностей, они развивались всегда в тесном и сочувственном со-

отношении. Россия, отделившись духом от Европы, жила и жизнью, отдельно от нее. Англичанин, француз, итальянец, немец, никогда не переставал быть европейцем, всегда сохраняя притом свою особенность. Русскому человеку, напротив того, надобно было уничтожить свою народную личность, чтобы сродниться с образованностью западною; ибо и наружный вид и внутренний склад ума, взаимно друг друга объясняющие и поддерживающие, были в нем следствием совсем другой жизни, истекающей совсем из других источников.

Кроме разностей племенных, еще три исторические особенности дали отличительный характер всему развитию просвещения на Западе: особая форма, через которую проникало в него христианство, особый вид, в котором перешла к нему образованность древнеклассического мира, и, наконец, особые элементы, из которых сложилась государственность. ...

Западный человек не понимает той живой совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других; того равновесия внутренней жизни, которое отличает даже самые наружные движения человека, воспитанного в обычных преданиях православного мира, ибо есть в его движениях, даже в самые крутые перемены жизни, что-то глубоко спокойное, какая-то искусственная мерность, достоинство и смирение, свидетельствующие о равновесии духа, о глубине и цельности обычного самосознания. Европейец, напротив того, всегда готовый к крайним порывам, всегда суетливый, когда не театральный, всегда беспокойный в своих внутренних и внешних движениях, только преднамеренным усилием может придать им искусственную соразмерность.

Учения св. отцов православной Церкви перешли в Россию, можно сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола. Под их руководством сложился и воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского быта. Обширная русская земля даже во времена разделения своего на мелкие княжества всегда сознавала себя как одно живое тело и не столько в единстве языка находила свое притягательное средоточие, сколько в единстве убеждений, происходящих из единства верования в церковные постановления. Ибо ее необозримое пространство было все покрыто как бы одною непрерывною сетью, неисчислимым множеством уединенных монастырей, связанных между собою сочувственными нитями духовного общения. Из них единообразно и единомысленно разливался свет созна-

ния и науки во все отдельные племена и княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исходили, но и все его понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя через их образовательное влияние, опять от них возвращались в общественное сознание, приняв одно, общее направление. Безразлично составляясь из всех классов народа, из высших и низших ступеней общества, духовенство, в свою очередь, во все классы и ступени распространяло свою высшую образованность, почерпая ее прямо из первых источников, из самого центра современного просвещения, который тогда находился в Царьграде, Сирии и на Святой горе. И образованность эта так скоро возросла в России, и до такой степени, что и теперь даже она кажется нам изумительною, когда мы вспомним, что некоторые из удельных князей XII и XIII века уже имели такие библиотеки, с которыми многочисленностью томов едва могла равняться, первая тогда на Западе, библиотека парижская; что многие из них говорили на греческом и латинском языке так же свободно, как на русском, а некоторые знали притом и другие языки европейские. ...

Одно из самых существенных отличий правомерного устройства России и Запада составляют коренные понятия о праве поземельной собственности. Римские гражданские законы, можно сказать, суть все не что иное, как развитие безусловности этого права. Западно-европейские общественные устройства также произошли из разнообразных сочетаний этих самобытных прав, в основании своем неограниченных и только в отношениях общественных принимающих некоторые взаимно-условные ограничения. Можно сказать, все здание западной общественности стоит на развитии этого личного права собственности, так что и самая личность, в юридической основе своей, есть только выражение этого права собственности.

В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности только ее *случайное* отношение. Общине земля принадлежит потому, что община состоит из семей, состоящих из лиц, могущих землю возделывать. С увеличением числа лиц увеличивается и количество земли, принадлежащее семье; с уменьшением – уменьшается. Право общины над землею ограничивается правом помещика, или вотчинника; право помещика обуславливается его отношением к государству. Отношения помещика к государству зависят не от поместья его, но его поместье зависит от его личных отношений. Эти личные отношения определяются столько

же личными отношениями его отца, сколько и собственными, теряются неспособностью поддерживать их или возрастают решительным перевесом достоинств над другими современными личностями. Одним словом, безусловность поземельной собственности могла являться в России как исключение. Общество слагалось не из частных собственности, к которым приписывались лица, но из лиц, которым приписывалась собственность.

Запутанность, которая впоследствии могла произойти от этих отношений в высших слоях общества при уничтожении мелких княжеств и слиянии их в одно правительственное устройство, была случайна и имела основание свое, как кажется, в причинах посторонних, являясь не как необходимое развитие, но уже как некоторое уклонение от правильного развития основного духа всей русской государственности. Впрочем, во всяком случае, это особенное, совершенно отличное от Запада, положение, в котором человек понимал себя относительно поземельной собственности, должно было находиться в связи со всею совокупностью его общественных и общежительных и нравственных отношений. ...

При таком устройстве нравов, простота жизни и простота нужд была не следствием недостатка средств и не следствием неразвития образованности, но требовалась самым характером основного просвещения. На Западе роскошь была не противоречие, но законное следствие раздробленных стремлений общества и человека; она была, можно сказать, в самой натуре искусственной образованности; ее могли порицать духовные, в противность обычным понятиям, но в общем мнении она была почти добродетелью. Ей не уступали, как слабости, но, напротив, гордились ею, как завидным преимуществом. В средние века народ с уважением смотрел на наружный блеск, окружающий человека, и свое понятие об этом наружном блеске благоговейно сливал в одно чувство с понятием о самом достоинстве человека. Русский человек больше золотой парчи придворного уважал лохмотья юродивого. Роскошь проникала в Россию, но как зараза от соседей. В ней извинялись; ей поддавались как пороку, всегда чувствуя ее незаконность, не только религиозную, но и нравственную и общественную. ...

Но корень образованности России живет еще в ее народе и, что всего важнее, он живет в его святой, православной Церкви. Поэтому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воз-

двинуто прочное здание просвещения России... Построение же этого здания может совершиться тогда, когда тот класс народа нашего, который не исключительно занят добыванием материальных средств жизни, и которому, следовательно, в общественном составе преимущественно предоставлено значение: вырабатывать мысленно общественное самосознание, — когда этот класс, говорю я, до сих пор проникнутый западными понятиями, наконец, полнее убедится в односторонности европейского просвещения; когда он живет почувствует потребность новых умственных начал; когда, с разумною жаждой полной правды, он обратится к чистым источникам древней православной веры своего народа и чутким сердцем будет прислушиваться к ясным еще отголоскам этой святой веры отечества в прежней, родимой жизни. Тогда, вырвавшись из-под гнета рассудочных систем европейского любуемудрия, русский образованный человек, в глубине особенного, недоступного для западных понятий, живого, цельного умозрения святых отцов Церкви найдет самые полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания. А в прежней жизни отечества своего он найдет возможность понять развитие другой образованности.

Ранние славянофилы: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М., 1910. С. 1–3, 5–9, 30–31, 37–38, 42–43, 49.

А. С. ХОМЯКОВ

О старом и новом*

Говорят, в старые годы лучше было все в земле русской. Была безграмотность в селах, порядок в городах, в судах правда, в жизни довольство. Земля русская шла вперед, развивала все силы свои, нравственные, умственные и вещественные. Ее хранили и укрепляли два начала, чуждые остальному миру: власть правительства, дружного с народом, и свобода церкви, чистой и просвещенной.

Грамотность! Но на *копии* (которая находится у меня) с присяги русских дворян первому из Романовых вместо подписи князя Троекурова, двух дворян Ртищевых и многих других, менее известных,

* Статья написана в 1839 году для прочтения и дискуссии на вечере у И. В. Киреевского.

находится крест с отметкою: по неумению грамоте. – Порядок! Но еще в памяти многих, мне известных, стариков сохранились бесконечные рассказы о криках ясачных; а ясачный крик был то же, что на Западе *cri de guerre* (клич к войне (франц.). – *Примеч. сост.*), и беспрестанно в первопрестольном граде этот крик сзывал приверженцев, родственников и клиентов дворянских, которые при малейшей ссоре высыпали на улицу, готовые на драку и на сражение до смерти или до синяков. – Правда! Но князь Пожарский был отдан под суд за взятки; старые пословицы полны свидетельств против судий прежнего времени; указы Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича повторяют ту же песнь о взятках и о новых мерах для ограждения подсудимых от начальства; пытка была в употреблении всеобщем, и слабый никогда не мог побороть сильного. – Довольство! При малейшем неурожае люди умирали с голода тысячами, бежали в Польшу, кабелили себя татарам, продавали всю жизнь свою и будущих потомков крымцам или своим братьям русским, которые едва ли были лучше крымцев и татар. – Власть, дружная с народом! Не только в отдаленных краях, но в Рязани, в Калуге и в самой Москве бунты народные и стрелецкие были происшествием довольно обыкновенным, и власть царская частехонько сокрушалась о препоны, противопоставленные ей какой-нибудь жалкою толпою стрельцов, или делала уступки какой-нибудь подлой дворянской крамоле. Несколько олигархов вертели делами и судьбою России и растягивали или обрезывали права сословий для своих личных выгод. – Церковь просвещенная и свободная! Но назначение патриарха всегда зависело от власти светской, как скоро только власть светская хотела вмешиваться в дело избрания; архиерей псковский, уличенный в душегубстве и в утоплении нескольких десятков псковитян, заключается в монастырь; а епископ смоленский метет двор патриарха и чистит его лошадей в наказание за то, что жил роскошно; Собор Стоглавый остается бессмертным памятником невежества, грубости и язычества, а указы против разбоя архиерейских слуг показывают нам нравственность духовенства в виде самом низком и отвратительном. Что же было в золотое старое время? Взгрустнется поневоле. Искать ли нам добра и счастья прежде Романовых? Тут встречаются нас волчья голова Иоанна Грозного, нелепые смуты его молодости, безнравственное царствование Василия, ослепление внука Донского, потом иго монгольское, уделы, междоусобия, унижение, продажа России варварам и хаос грязи и крови...

Хорошо! Да что же нам делать с сельскими протоколами, отысканными Языковым¹, с документами, открытыми Строевым²? Это не подделка, не выдумка, это не догадка систематиков; это факты ясные, неоспориваемые. Была же грамотность и организация в селах: от нее остатки в сходках и мирских приговорах, которых не могли уничтожить ни власть помещика, ни власть казенных начальств. Что делать нам с явными свидетельствами об городском порядке, о распределении должностей между гражданами, о заведениях, которых цель была облегчать, сколько возможно, низшим доступ к высшим судилищам? Что делать с судом присяжных, который существовал бесспорно в Северной и Средней России, или с судом словесным, публичным, который и существовал везде и сохранился в названии <совестного> суда, по форме прекрасного, но неполного учреждения? Что делать с песнями, в которых воспевается быт крестьянский? Этих песен теперь не выдумали русские крестьяне. Что делать с отсутствием крепостного права, если только можно назвать правом такое наглое нарушение всех прав? Что с равенством, почти совершенным, всех сословий, в которых люди могли переходить все степени службы государственной и достигать высших званий и почестей? Мы этому имеем множество доказательств и даже самые злые враги древности русской должны ей отдать в сем отношении преимущество перед народами западными. Власть представляет нам явные доказательства своего существования в распространении России, восторжествовавшей над столькими и столь сильными врагами, а дружба власти с народом запечатлена в старом обычае, сохранившемся при царе Алексее Михайловиче, собирать депутатов всех сословий для обсуждения важнейших вопросов государственных. Наконец, свобода чистой и просвещенной церкви является в целом ряде святителей, которых могущее слово более способствовало к созданию царства, чем ум и хитрость государей. ...

После этого, что же думать нам об старой Руси? Два воззрения, совершенно противоположные, одинаково оправдываются и одинаково опровергаются фактами неоспоримыми, и никакая система, ни-

¹ Н. М. Языков в 1830-е годы собирал в Симбирской губернии произведения народного творчества и исторические документы.

² П. М. Строев с 1817 года занимался разысканиями в государственных и монастырских архивах и обнаружил тысячи ценнейших древних документов; многие из них он издал.

какое искусственное воссоздание древности не соответствует памятникам и не объясняет в полноте их всестороннего смысла.

Нам непозволительно было бы оставить вопрос неразрешенным тогда, когда настоящее так ясно представляется нам в виде переходного момента и когда направление будущего почти вполне зависит от понятия нашего о прошедшем. ...

Современную Россию мы видим: она нас и радует, и теснит; об ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестится говорить даже с своими; но старую Русь надобно – угадать. ...

Тогда, как и теперь, закон был то лучше, то хуже обычая, и редко исполняемый, то портился, то исправлялся в приложении. Примем это толкование, как истину, и все перемены быта русского объяснятся. Мы поймем, как легко могли измениться отношения видимые, и в то же время будем знать, что изменения редко касались сущности отношения между людьми и учреждениями, между государством, гражданами и церковью. ...

Крепостное состояние крестьян введено Петром Первым; но когда вспомним, что они не могли сходить с своих земель, что даже отлучаться без позволения они не смели, а что между тем суд был далеко, в Москве, в руках помещиков, что противники их были всегда и богаче, и выше их в лестнице чинов государственных, – не поймем ли мы, что рабство крестьян существовало в обычае, хотя не было признано законом, и что отмена Холопьяго приказа не могла произвести ни потрясений, ни бунтов и должна была казаться практическому уму Петра простым уничтожением ненужного и почти забытого присутственного места? ...

Если сравнить состояние России в XIX веке с состоянием ее в XVII, мы придем, кажется, к следующему заключению. Государство стало крепче и получило возможность сознания и постепенного улучшения без внутренней борьбы; несколько прекрасных начал, прежде утраченных и забытых, освящено законом и поставлено на твердом основании: такова отмена смертной казни, человеколюбие в праве уголовном и возможность низшим сословиям восходить до высших степеней государственных на условиях известных и правильных. Наконец, закон осветил несколько злоупотреблений, введенных обычаем в жизнь народную, и через это видимо укоренил их. Я знаю, как важна для общества нравственная чистота закона; я знаю, что в ней таится вся сила государства, все начала будущей жизни, но полагаю

также, что иногда злоупотребление, освященное законом, вызывает исправление именно своею наглостью, между тем как тихая и скрытая чума злого обычая делается почти неисцелимою. Так в наше время мерзость рабства законного, тяжелая для нас во всех смыслах, вещественном и нравственном, должна вскоре искорениться общими и прочными мерами. ...

Начал чуждых вижу я весьма мало: дворянство, введенное Петром Третьим, уже столько изменилось от действия духа народного, что оно не только не имеет характера аристократического, но даже чище, чем оно было до Петра Великого после усиления боярских родов и безусловного обращения поместий в отчины.

В жизни же и ходе просвещения: излишний космополитизм, некоторое протестантство мыслей и отчуждение от положительных начал веры и духовного усовершенствования христианского, сопряженные <в то же время> с отстранением безобразной формальности, равнодушия к человечеству, переходящего почти в ненависть, и какого-то усыпления умственного и духовного, граничащего с еврейским самодовольствием и языческой беспечностью. ...

. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. Западным людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее.

Все, что можно разобрать в первых началах истории русской, заключается в немногих словах. Правительство из варягов представляет внешнюю сторону; областные веча – внутреннюю сторону государства. Во всей России исполнительная власть, защита границ, сношения с державами соседними находятся в руках одной варяго-русской семьи, начальствующей над наемною дружиною; суд правды, сохранение обычаев, решение всех вопросов правления внутреннего представлены народному совещанию. Везде, по всей России устройство почти одинаковое; но совершенного единства обычаев не находим не только между отдельными городами, но ниже между Новгородом и Псковом, столь близкими и по месту, и по выгодам, и по элементам народонаселения. Где же могла находиться внутренняя связь? Случайно соединено несколько племен славянских, мало известных друг

другу, не живших никогда одною общею жизнью государства; соединены они какою-то федерациею, основанною на родстве князей, вышедших не из народа, и, может быть, отчасти единством торговых выгод: как мало стихий для будущей России!

Другое основание могло поддержать здание государственное, это единство веры и жизнь церковная; но Греция посылала нам святителей, имела с нами одну веру, одни догматы, одни обряды, а не осталась ли она нам совершенно чуждою? Без влияния, без живительной силы христианства не восстала бы земля русская; но мы не имеем права сказать, что одно христианство воздвигло ее. Конечно, все истины, всякое начало добра, жизни и любви находилось в церкви, но в церкви возможной, в церкви просвещенной и торжествующей над земными началами. Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле. ...

Гражданин, забывая отечество, жил для корысти и честолюбия; христианин, забывая человечество, просил только личного душеспасения; государство, потеряв святость свою, переставало представлять собою нравственную мысль; церковь, лишившись всякого действия и сохраняя только мертвую чистоту догмата, утратила сознание своих живых сил и память о своей высокой цели. Она продолжала скорбеть с человеком, утешать его, отстранять его от преходящего мира; но она уже не помнила, что ей поручено созидать здание всего человечества. Такова была Греция, таково было ее христианство, когда угодно было богу перенести в наш Север семена жизни и истины. ...

Греция явилась к нам с своими предубеждениями, с любовью к аскетизму, призывая людей к покаянию и к совершенствованию, терпя общество, но не благославляя его, повинувшись государству, где оно было, но не созидая там, где его не было. Впрочем, и тут она заслужила нашу благодарность. Чистотой учения она улучшила нравы, привела к согласию обычаи разных племен, обняла всю Русь цепью духовного единства и приготовила людей к другой, лучшей эпохе жизни народной. ...

Общество, которое вне себя ищет сил для самохранения, уже находится в состоянии болезненном... Человечество воспитывается религиею, но оно воспитывается медленно. Много веков проходит, прежде чем вера проникнет в сознание общее, в жизнь людей, *in succum et sanguinem* (в соки и кровь (лат.). – *Примеч. сост.*). ...

Церковь, ограничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков неправосудия и насилия. ...

Теперь, когда эпоха создания государственного кончилась, когда связались колоссальные массы в одно целое, несокрушимое для внешней вражды, настало для нас время понимать, что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому. ...

Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 41–49, 55.

Избранные места из сочинений

I

О начале личном и общинном в древней Руси, о Петре Великом, об отчужденности Русского образованного класса от старины и Русской народности

Жизненная сила всего древнего Русского общества, несмотря на тревожения его и на внутренний труд общин, силившихся слиться в одну великую Русскую общину, долго не подавляла разумного развития личности. Пути мысли были свободны, все человеческое было доступно человеку (разумеется, по мере его знаний и умственных сил). Быть может, перевес первого, т. е. общественного начала, был несколько сильнее, чем следовало, вследствие внутренних смут, предшествовавших скреплению государства, и вследствие внешних гроз (Татарской и Литовской), требовавших сосредоточения и напряжения общественных сил для отпора; но область личной мысли была еще довольно обширна. Стихия народная не враждовала с общечеловеческим даже тогда, когда общечеловеческое приходило к нам с клеймом иноземным. Доказательством тому служит знание иностранных языков и особенно похвала этому знанию, призвание иностранных художников, охотное сближение с иноземцами даже духовного звания, влияние западного искусства на Новгородскую иконопись, принятие многих западных сказок, знакомство с Немецкими сагами из круга Нибелунгов (как видно из Новгородского летописца), наконец, сочувствие с явлениями западного мира, отчасти заслуживающими этого сочувствия (например, с крестовыми походами), и многое другое.

Кажется, подозрительность и вражда к западной мысли стали проявляться с силою после Флорентинского собора и латинского насилия в Русских областях, тогда подвластных Польше. Развились они вполне вследствие безумной и глубокой ненависти к Русским людям,

доказанной Швецией и купечеством и баронством прибалтийским; более же всего вследствие вражды и лукавства Польских магнатов и Латинского духовенства. Мало-по-малу народная стихия стала являться исключительною и враждебною ко всему иноземному. Область духа человеческого была стеснена; но такое стеснение, противное как истине человеческой, так и требованиям духа русского и коренным основам его внутренней жизни, должно было произвести сопротивление, доходящее до противоположной крайности. Борьба 1612 года была не только борьбою государственной и политической, но и борьбой духовной. Европеизм с его злом и добром, с его соблазнами и истиной являлся в России в образе Польской партии. Салтыковы и их товарищи были представителями западной мысли. Правда, в нравственном отношении они не заслуживали уважения. Иначе и быть не могло: нравственно низкие души легче других отрываются от святыни народной жизни. Правда, люди, желавшие изменить старину, были в то же время изменниками отечеству, но это только была историческая случайность в их положении. В сущности же их направление, произведенное случайным ожесточением народного начала, стеснявшего свободу мысли человеческой, было не совсем неправо. Сила Русского духа восторжествовала: Москва освобождена, Русский царь на престоле; но требование мысли, возрастающей против стеснительного деспотизма обычаев и стихий местных, не осталось без представителей. Худшая сторона его выражалась в таких людях, как развратный беглец и клеветник Котошихин, или как Хворостинин, который говорил, что «русский люд так глуп, что с ним жить нельзя»; но лучшая сторона того же требования находила сочувствие в лучших и благороднейших душах. Нет сомнения, что оно должно было получить со временем свои законные права; быть может, оно должно было впасть в крайность, потому что было вызвано противоположной крайностью. Как бы то ни было, оно нашло себе представителя, давшего ему полный перевес и быструю победу. Этот представитель, один из могущественных умов и едва ли не сильнейшая воля, какая представляет нам летопись народов, был Петр. Как бы строго ни судила его будущая история (и бесспорно, много тяжелых обвинений падает на память), что направление, которого он был представителем, не было совершенно неправым; оно сделалось неправым только в своем торжестве, а это торжество было полно и совершенно. Нечего говорить, что все Котошихины, Хворостинины и Салтыковы бросились с жад-

ностью по следам Петра, рады-радехоньки тому, что освободились от тяжелых требований и нравственных законов духа народного, что они, так сказать, могли расплясаться в русский пост. Та доля правды, которая заключалась в торжествующем протесте Петра, увлекла многих и лучших; окончательно же соблазн житейский увлек всех.

По поводу Гумбольта.

* * *

Трудно сказать, чего именно хотел Петр и сознавал ли он последствия своего дела. По всем вероятностям, он искал пробуждения русского ума. Многие из его современников, может быть, самые достойные его понимать, не поняли его. Петр вводил к нам европейскую науку; через это он вводил к нам всю жизнь Европы. Таково было необходимое последствие его дела, но в этом отношении он был небессознателен. Его борьба была с целою, несколько закосневшею жизнью, и он боролся с нею во всех ее направлениях. Он вводил все формы Запада, все, даже самые неразумные; он искажал многое, чего бы не должен касаться; он искажал прекрасный язык русский, он искажал самое свое благородное имя, коверкая его в голландскую форму Питер; но ему это было необходимо. Он хотел потрясти вековой сон, он хотел пробудить спящую русскую мысль посредством болезненного потрясения. – Этот суд не строг. Человек боролся, и в борьбе разгорелись страсти, и он увлекся тем нетерпением, которое так естественно историческим деятелям, которое так естественно всякому человеку при встрече с препонами в подвиге, который он считает добрым.

Медленно и лениво развивались семена мысли, перенесенной с Запада; еще бы медленнее развились они, если бы из самых недр России не вырос гениальный простолюдин Ломоносов. Но быстро и почти мгновенно разрослись другие плоды дел Петровых, – плоды той несчастной формы, в которую облакал он или в которую, может быть, облакалась мысль, которою он хотел обогатить нас. Наука, т. е. анализ, по сущности своей везде один и тот же; его законы одни для всех земель, для всех времен; но синтез, который его сопровождает, изменяется с местностями и со временем. Тот, кто не понимает внутренней связи, всегда существующей между анализом и синтезом, из которого он возникает, впадает в жалкую ошибку. В России эта ошибка достигла громадных, почти невероятных размеров. Сознательно вве-

дены были к нам одним человеком все формы Запада, все внешние образы его жизни; бессознательно схватились мы именно за эти формы и за эти образы, вследствие ли тщеславия, или подражательности, или личных выгод, или слабости, естественной всем людям, принимать охотно все, что может их отличить от других людей, получивших в жизни менее счастливый удел, и поставить их, по-видимому, выше их братьев. Формы, облекающие просвещение, приняты были нами за самое просвещение.

Аристотель и всемирная выставка.

* * *

...Это духовное рабство перед западным миром, этот ожесточенный антагонизм против русской земли, рассмотренные в продолжение целого столетия, представляют весьма любопытное и поучительное явление. Отрицание всего русского, от названий до обычаев, от мелких подробностей одежды до существенных основ жизни, доходило до крайних пределов возможности. В нем проявлялась какая-то страсть, какая-то космическая восторженность, обличающая в одно время величайшую умственную скудность и совершеннейшее самодовольствие. Конечно, эти крайности, по-видимому, принадлежат более первому периоду нашей европеизации, чем последнему; но последний, при большем бесстрастии, заключает в себе большее презрение и полнейшее отрицание всего народного.

II

О возврате к началам Русской народной жизни

Жизненное начало утрачено нами, но оно утрачено только нами, принявшими ложное полужнание по ложным путям. Это жизненное начало существует еще цело и неприкосновенно в нашей великой Руси, несмотря на наши долгие заблуждения и на наши, к счастью, бесполезные усилия привить свою мертвенность к ее живому телу. То, что было, поросло быльем, и если бы нам приходилось отыскать свою жизнь в прошедшем, конечно, мы бы ее никогда не отыскивали и не воссоздали; ибо создание или воссоздание ничтожными силами одиночных рассудков было бы явлением, противным всем законам духовного мира. Этому могли верить несколько детей-студентов в Германии и несколько детей-стариков во Франции, да могут в ином виде верить несколько детей-социалистов всякого возраста по всей

Европе; но не поверит никто, кто сколько-нибудь изучил историю человечества, или не утратил в душе своей хотя темное чутье человеческих истин. Жизнь наша цела и крепка. Она сохранена, как неприкосновенный залог, тою многострадавшею Русью, которая не приняла еще в себя нашего скудного полупросвещения. Эту жизнь мы можем восстановить в себе: стоит только ее полюбить искренней любовью. Разум и наука приводят нас к ясному сознанию необходимости этого внутреннего преобразования, но это не слишком легко ни для каждого из нас, ни для всех. Гордые привычки нашей рассыпной, единичной жизни держат каждого из нас в своих оковах. Нравственное обновление – нелегкое дело. Конечно, каждый не только согласен полюбить те светлые жизненные стихии, которые сохранились на Руси, и ту Русь, которая их сохранила, но даже готов думать и уверять, что он любит их душою. Может быть даже, эта любовь действительно существует в нас; но она существует, как любовь к неграм, к готтентотам и индейцам, существует в добром англичанине, вместе с убеждением в своем умственном и нравственном превосходстве и с надеждою на роль если не настоящих, то будущих благодетелей. Такая любовь ничтожна, – скажу более, она отчасти пагубна. От этого самообольщения трудно, но должно отказаться; ибо не мы приносим высшее Русской земле, но высшее должны от нее принять.

О возможности русской художественной школы.

* * *

Общение заключается не в простом размене понятий, не в холодном и не в эгоистическом размене услуг, не в сухом уважении к чужому праву, всегда оговаривающем уважение к своим собственным правам, но в живом размене не понятий одних, но чувств, в общении воли, в разделении не только горя (ибо сострадание – чувство слишком обыкновенное), но и радости жизненной. Только такого рода общение может возвратить нас к началам жизни, нами утраченной, и привести нас из состояния безнародной отвлеченности и мертвой самодовольной рассудочности к полному участию в особенностях, характере и физиономии народа. Наши школьнические полужизни развились бы до науки и развили бы науку, внеся в нее великие и до сих пор ей чуждые начала, отличающие нас от Западного мира с его Латино-протестантскою односторонностью, с его историческим раздвоением. В нашем быте отозвалось бы то единство, которое лежало искони в понятии Славянской общины и которое заключается не в

идее дружинного договора Германского или формального права Римского (т. е. Правды внешней), но в понятии естественного и нравственного братства и внутренней правды.

Для того, чтобы оживились наука, быт и искусство, чтобы из соединения знания и жизни возникло просвещение, мы должны слиться с жизнью русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, обрядным единством, как средством к достижению единства истинного, и еще более, как видимым его образом.

...Тонкие, невидимые струны, связывающие душу русского человека с его землею и народом, не подлежат рассудочному анализу. Может быть, нельзя доказать, чтобы Русская песня была лучше итальянской баркароллы или тарантеллы, но она иначе отзывается в Русском ухе, глубже потрясает Русское сердце. Точно так же для Русского глаза особенно приятны образы, окружавшие его детство и встречавшие его взгляд на свободе сельского простора. Только в живом общении с народом выходит человек из мертвенного одиночества эгоистического существования и получает значение живого органа в великом организме; только при нем могут всякая здоровая мысль и всякое теплое чувство, возникшее в каждом отдельном лице, сделаться достоянием общим и получить влияние и важность, не изъявляя и не имея притязаний на важность и влияние; только при нем возможно то просвещение, к которому Запад стремится безнадежно и которого достигнуть не может, вследствие своего внутреннего раздвоения. Конечно, для каждого из нас перевоспитание самого себя сопряжено с немалым трудом; но труда жалеть не должно, когда предположенная цель есть возрождение жизненных начал в нас и развитие истинного просвещения в Святой Руси.

III

*Из послания к Сербам**

...Многому еще должны вы учиться, братья, у тех народов, которым Бог дал издавна свободу от внешнего угнетения и возможность посвятить мысль и дни свои усовершенствованию наук и искусств.

* Послание было составлено А. С. Хомяковым за несколько месяцев до его кончины (1860), напечатано в первый раз в Лейпциге в 1860 году с сербским переводом. Подписанное другими славянофилами, оно является своеобразным завещанием А. С. Хомякова и его друзей следующим поколениям.

Сами вы видите, и не нужно вам доказывать, какие силы наука дает человеку, и как покоряет она ему самую природу. Но наука дает еще более: она расширяет пределы Богом данного нам разума, уясняет наши понятия, просветляет наши умственные взоры, раскрывает тайны мира Божьего и чудеса Его творческой премудрости. Приобретать науку не только необходимо для жизни общественной, но и обязательно, для исполнения воли Божией, давшей нам разум, как поле многоплодное, которое не должно лежать в залежи и порастать терниями невежества и ложных мнений, но украшаться жатвою знания и истины. Итак, мы говорим, что много добрых и полезных знаний еще должны вы приобрести от других народов (будь они Немцы или иные) для достижения той степени умственного развития, к которой вы призваны. Но знание не есть еще истинное просвещение. Знание есть расширение умственного богатства, просвещение же истинное, сверх знания, включает в себе развитие высших начал нравственных и духовных. Приобретение знания не многотрудно, приобретение же высшего нравственного развития есть высшая задача для человека, и многие люди, лишенные по обстоятельствам жизни знания научного, но глубоко проникнутые нравственным светом, ближе к полному просвещению, чем многознающие, но лишенные силы жизни духовной.

Ранние славянофилы: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М., 1910. С. 51–58, 61–62.

6. ЖУРНАЛИСТЫ 1850–1860-х ГОДОВ О ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

А. С. ХОМЯКОВ

О возможности русской художественной школы

... Не из ума одного возникает искусство. Оно не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности. В нем сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственною своею силою: духовная сила народа творит в художнике. Поэтому очевидно, что всякое художество должно быть и не может не быть народным. Оно есть цвет духа живого, восходящего до сознания или,

как я уже сказал, — образ самосознающейся жизни. У нас, при разрыве между жизнью и знанием, оно невозможно.

Некоторые журналы называют нас насмешливо славянофилами, именем, составленным на иностранный лад, но которое в русском переводе значило бы славянолюбцев. Я со своей стороны готов принять это название и признаюсь охотно: люблю славян. Я не скажу, что я их люблю потому, что в ранней молодости, за границей России, принятый равнодушно, как всякий путешественник в землях неславянских, я был в славянских землях принят как любимый родственник, посещающий свою семью; или потому, что во время военное, проезжая по местам, куда еще не доходило русское войско, я был приветствуем болгарами не только как вестник лучшего будущего, но как друг и брат; или потому, что, живучи в их деревнях, я нашел семейный быт своей родной земли; или потому, что в их числе находится наиболее племен православных, следовательно, связанных с нами единством высшего духовного начала; или даже потому, что в их простых нравах, особенно в областях православных, таятся добродетели и деятельность жизни, которые внушили любовь и благоговение просвещенным иностранцам, каковы Бланки и Буэ. Я этого не скажу, хотя тут было бы довольно разумных причин, но скажу одно: я их люблю потому, что нет русского человека, который бы их не любил; нет такого, который не сознавал бы своего братства с славянином и особенно с православным славянином. Об этом, кому угодно, можно учинить справку хоть у русских солдат, бывших в Турецком походе, или хоть в московском гостинном дворе, где француз, немец и итальянец принимаются как иностранцы, а серб, далматинец и болгарин — как свои братья. Поэтому насмешку над нашею любовью к славянам принимаю я так же охотно, как и насмешку над тем, что мы русские. Такие насмешки свидетельствуют только об одном: о скудости мысли и тесноте взгляда людей, утративших свою умственную и духовную жизнь и всякое естественное или разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности салонов или в односторонней книжности современного Запада.

Восстановление наших частных умственных сил зависит вполне от живого соединения с стародавнею и все-таки нам современною русскою жизнью, и это соединение возможно только посредством искренней любви. Иные твердят о своих патриотических чувствах, а «людей в Киеве ничем зовут», как царь Калин в сказке, или ругаются

над неученою Русью, как чиновник в повести Достоевского, выска-
завшего (не знаю, сознательно или нет) в этом презрении Девушкина
к мужику и бабе страшное оправдание его собственных страданий.
Иные уверяют, что вся будущность русская заключается в граммати-
ческом знании русского языка, как будто бы язык, а не вся духовная
сила русского человека, создал нашу великую родину. Она приняла
многих, ей служили многие; но ее корни живут и питаются только
в душе русских людей. Все эти мнимые формы любви не любовь.
В них суждение самое доброжелательное может признать только
холодное благоволение или ту гордую благотворительность, которой
лучшим выражением считаю я статью в «Земледельческой газете»
прошлого года 12 февраля, начинающуюся снисходительными по-
хвалами смышлености и толку русских крестьян, а оканчивающую-
ся тем, что автор рассказывает с одобрением, как староста вылечил
кликуш посредством чего-то вроде рекрутского осмотра. Не так по-
нимаю я любовь и общение.

Общение заключается не в простом размене понятий, не в холодном
и не в эгоистическом размене услуг, не в сухом уважении к чужому
праву, всегда оговаривающем уважение к своим собственным правам;
но в живом размене не понятий одних, но чувств, в общении воли, в
разделении не только горя (ибо сострадание чувство слишком обык-
новенное), но и радости жизненной. Только такого рода общение мо-
жет возвратить нас к началам жизни, нами утраченной, и привести
нас из состояния безнародной отвлеченности и мертвой самодоволь-
ной рассудочности к полному участию в особенностях, характере и
физиономии народа. Наши школьнические полужнания развились бы
до науки и развили бы науку, внеся в нее великие и до сих пор ей
чуждые начала, отличающие нас от западного мира с его латино-про-
тестантскою односторонностью, с его историческим раздвоением.
В нашем быте отозвалось бы то единство, которое лежало искони
в понятии славянской общины, которое заключается не в идее дру-
жинного договора германского или формального права римского (то
есть правды внешней), но в понятии естественного братства и внут-
ренней правды. [В истории нашей Руси идея единства общинного
лежала всегда как основной камень всех общественных понятий; но
долго происходила борьба мелких общин с идеей великой общины.
Наконец, идея единства великой общины восторжествовала, после
кровавых смут, ополчением всей Руси за Москву и избранием царя —

молодого Михаила. Тогда обнаружилось, что единство, казавшееся следствием исторической случайности при царях Рюриковичах, было действительно делом Русской земли]. В художестве наступила бы новая эпоха, и оно перестало бы влачиться бессильно по стезе рабского подражания, а стало бы выражать свободно и искренно (посредством звука, или слова, или формы) идеалы красоты, таящиеся в душе народной; ибо корень искусства есть любовь, формальное же изучение его есть не что иное, как приобретение материальных средств для успешнейшего выражения любимого идеала; но без этого идеала и без любви к нему искусство есть только ремесло. Профессор может сказать ученику или богач своему подрядчику: «напиши победу Александра Невского над шведами», и ученик или подрядчик напишет русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее рыжих или русских молодцов. Он может сказать: «напиши победу Пожарского над Литвой», и опять ученик или подрядчик напишет такого же русого молодца в завитках, который бьет и рубит более или менее русских или черноволосых молодцов; но во всем этом нет и признака художества, ото всего этого веет могильным холодом. Только в живом общении народа могут проявиться его любимые идеалы и выразиться в образах и формах, им соответственных; но для того, чтобы оживилась наука, быт и художество, чтобы из соединения знания и жизни возникло просвещение, мы должны, сознавая собственное свое бессилие и собственные нужды, слиться с жизнью Русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, обрядным единством как средством к достижению единства истинного и, еще более, как видимым его образом.

Я знаю, что многие говорят с пренебрежением об этих мелочах и что петербургские журналы объявляют во всеуслышание, что народность не в бороде и не в зипуне. Я не спорю. Не имею притязаний на монополию любви к России и не изъявляю сомнения насчет чувств наших критиков. Я готов не только признать в них любовь к нашей Святой Руси, но готов признаться и в том, что это чувство похвальнее во многих из них, чем во мне: во мне оно невольно и прирожденно; во многих из них оно – чувство, приобретенное волею и рассудком и, так сказать, наживное. Но, с другой стороны, от этой разницы в начале чувства происходят, может быть, разные понятия о предметах и разные взгляды на народность. Тонкие, невидимые струны, связывающие душу русского человека с его землею и народом, не подлежат

рассудочному анализу. Может быть, нельзя доказать, чтобы русская песня была лучше итальянской баркаролы или тарантеллы; но она иначе отзывается в русском ухе, глубже потрясает русское сердце. Точно так же для русского глаза особенно приятны образы, окружавшие его детство и встречавшие его взгляд на свободе сельского простора. Нападение на русское платье есть нападение на свободу вкуса и чувства, нисколько не посягающую на чужой вкус и чужое чувство; оно будет разумно только тогда, когда будет доказано, что фрак разумнее или удобнее зипуна, или когда художники произнесут приговор о сравнительном изяществе нарядов. До тех пор отвержение одежды только потому, что она русская одежда, должно казаться несколько странным, чтобы не сказать: несколько оскорбительным.

Конечно, о таких мелких подробностях не стоило бы упоминать, но не мешает и упомянуть, чтобы привести мысль и чувство так называемой образованной публики к большей простоте (необходимому условию того жизненного общения, о котором я уже говорил). Только в этой безыскусственной простоте может пробудиться возможность искусства, науки и разумного быта, ибо только в живом общении с народом выходит человек из мертвенного одиночества эгоистического существования и получает значение живого органа в великом организме; только при нем может всякая здравая мысль и всякое теплое чувство, возникшее в каждом отдельном лице, сделаться достоянием общим и получить влияние и важность, не изъясняя и не имея притязаний на важность и влияние; только при нем возможно то просвещение, к которому запад стремится безнадежно и которого достигнуть не может вследствие своего внутреннего раздвоения. Конечно, для каждого из нас перевоспитание самого себя сопряжено с немалым трудом; но труда жалеть не должно, когда предположенная цель есть возрождение жизненных начал в нас и развитие истинного просвещения в Святой Руси.

Что до меня касается, то, приглядываясь к бесплодным усилиям многих к добру, пользе, прислушиваясь к общим жалобам Европы на безжизненность, на бессвязность, на бесплодность общества, я не могу не считать отрадным такого состояния, в котором каждое частное лицо, как бы ни было низко или высоко его звание, как бы ни были скромны или блистательны его способности, чувствует, что уже одним нравственным достоинством своей жизни оно вносит значительный вклад в общую сокровищницу и что, с другой стороны, сколь-

ко бы оно ни вносило в нее, оно всегда получает из нее во сто крат более, чем может принести.

Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847.
Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 147–150.

Е. Н. ЭДЕЛЬСОН

Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической критики

Бывают в литературе периоды, когда, будто долго собираясь и копясь, вдруг появляются в ней живые, свежие силы, самостоятельные и первоклассные таланты. Общее сочувствие встречает тогда новое направление, потому что, какие бы недостатки ни оказались за ним впоследствии, оно вносит нечто новое в общество, среди которого явилось, трогает его живые струны. Критике не остается почти нечего делать в таком случае; разве только, увлекшись этим новым направлением, отстаивать его от людей запоздалых и неблагонамеренных, быть толковательницею его перед публикою. Но в руководстве ее новое направление мало нуждается. В себе самом, в своей прочной связи с жизнью, откуда взялось, в своей самостоятельности и в даровитости своих представителей находит оно силы и твердость идти по прямому пути и увлекать за собою массу. Таково, например, было движение, сообщенное нашей литературе Пушкиным и Гоголем. Но бывают другие периоды, когда как будто затихает движение в изящной литературе, когда высокоталантливые личности, совокуплявшие в себе все требования эпохи, исчезают или замолкают и на литературную арену выходит толпа писателей, иногда не лишенных дарования и некоторой оригинальности, но, в сущности, подчиненных направлению, сообщенному предшествовавшими великими деятелями. Не обладая той великой, природной силой, которая спасает писателя от уклонений с прямой дороги, ни той энергией, с которою выступает обыкновенно всякое самостоятельное начинание и которою загораживаются на время его недостатки, — новые писатели бросаются на вновь открытый им путь почти без всякой внутри их лежащей охраны, прельщаемые легкостью торной уже дороги и сочувствием публики к новому направлению. Оттого, с одной стороны, сами писатели доходят скоро до самых странных крайностей, с другой стороны, публика, обманувшись несколько раз в том, что предлагаемо

ей было под видом нового направления, начинает чувствовать недоверие к достоинству самого направления. Смысл даже его затеривается в сознании, наступает в литературе безурядица. Те, кто не смел и показаться прежде, при господстве даровитых деятелей, выступают также на арену; наряду с доведенными до нелепости произведениями нового направления безнаказанно появляются в литературе самые уродливые произведения, не имеющие никакого направления, и публика, затерянная в этом хаосе, не зная, чему нести свое сочувствие, начинает становиться равнодушною ко всем литературным явлениям. В таких-то случаях критика должна стоять неусыпно на страже против грозящей литературе безурядицы. В таких-то случаях и литераторам и публике должна она прийти на помощь. Литераторам должна она помогать теми теоретическими знаниями, которые в гениальных деятелях присущи их таланту, но которых недостаток часто и резко кидается в глаза в произведениях писателей, не одаренных особою творческою силою, хотя и не лишенных таланта. Точно так же нужна в такое время критика и публике, потому что часто ей приходится иметь дело с произведениями, имеющими неяркие достоинства, в которых критика обязана указать ей настоящее направление, выставить на вид те стороны, каких, может быть, и не заметило бы само собою большинство, но которые служат несомненным признаком прямого пути, избранного писателем, и т. д. С другой стороны, критика должна предостерегать публику от тех уродливых произведений, которые, пользуясь случаем, употребляют все средства для того только, чтобы подделаться под вкус большинства, угодить его самым грубым и причудливым требованиям, которые по этим самым причинам имеют много способов бросаться в глаза большинству, ослепить его и загородить от него те скромные, неяркие, но добросовестные создания, которые поддерживают и предохраняют от порчи вкус публики в промежутки времени между появлением ярких и самобытных талантов.

Не подлежит, кажется, сомнению, что эта задача есть воспитание вкуса публики с помощью появляющихся в литературе произведений художественных. Давно уже прошло мнение, будто эстетическая критика нужна и полезна преимущественно для самих писателей. Истинный художник творит, повинуюсь той внутренней, непосредственной силе, которая и называется талантом; отнимите у него эту силу или замените ее чем-нибудь другим, и будет уже не художник, а

умный писатель. Поэтому полезное влияние критики относится только к тем писателям, которые очень удачно, хотя и не благозвучно, названы беллетристами, которые, например, излагают свои мысли в известной художественной форме, причем эта форма не есть существенная, а выбрана писателем только как легчайшее средство привлечь внимание читателя и передать ему в легкой форме иногда серьезные мысли. Здесь можно рассуждать о том, удачно или неудачно выражено то, что хотел сказать автор, – нет ли каких неправильностей в той художественной форме, которую он выбрал и которая им заимствована из других действительно художественных произведений, где она была необходима. Писателю же с истинным талантом, пишущему именно вследствие своего таланта, странно бы было слушаться всех различных советов, которые могут ему сообщить критики, хотя бы они и руководствовались положениями науки. В нем, как говорит Кант, природа дает законы науке, а не наоборот. Если даже и согласиться, что в наше время, когда таких законодательных талантов не появляется, критика может быть полезна кое в чем даже и очень талантливым людям, то все-таки странно было бы ограничить все дело критики этою сомнительною по успеху задачею. Критика не должна забывать, что главным образом все, что она ни делает, должна она делать для публики, которая нам дороже всякого, хотя бы и очень талантливого, лица, и потому, между прочим, что в ее безразличной массе таятся зародыши всякого таланта и, может быть, множество высоких талантов воспитывается в ней под влиянием того, что сообщает ей пишущий мир.

Итак, эстетическая критика существует преимущественно для публики и имеет главною целью образование ее вкуса. Образовать же вкус – значит развить способность к чисто эстетическому, то есть бескорыстному в обширном смысле наслаждению. Самый лучший способ для этого есть, без сомнения, знакомство с вековыми, классическими памятниками искусства. Особенная заслуга этих произведений в отношении к развитию эстетического вкуса есть та, что они неотразимо нравятся всякому в известной степени образованному человеку, и нравятся именно с своей художественной стороны. Будучи вполне и до малейшей подробности проникнуты оживляющею их эстетическою идеею, достигнув в своей форме совершенной прозрачности, они не могут дать места никакому другому впечатлению, кроме эстетического, и это последнее возбуждают несомненно. Таким

образом, под их влиянием вкус публики очищается сам собой, мир искусства отрешается мало-помалу в глазах их от всего постороннего и практически устанавливаются в душе те точки, с которых должно происходить созерцание всякого художественного произведения. Но такого рода эстетическое образование публики не зависит от критика. Это уже дело самих читателей. Критик может только заменить собой отчасти этот недостаток эстетического образования в читателях и вынесенную им из собственного воспитания опытность передать читателям в своем взгляде на разбираемые художественные произведения.

Но предположив даже, что эстетический вкус самого критика верен совершенно, остается решить задачу, как передать читателям этот верный вкус. Мы уже видели выше, что в этом случае встречаются две крайности: одни из критиков просто высказывают свое личное мнение о произведении, и читатели обогащаются из такой критики лишь новым, лишенным для него всякого основания суждением; другие заботятся о сообщении читателю тех эстетических положений, на основании которых они сами судят о художественных произведениях; но, давая таким образом читателям способы и право судить довольно верно об эстетическом достоинстве произведений, они не могут ему сообщить своей способности действительно чувствовать изящное в произведении (ибо способность эта не может быть передана никакими теоретическими положениями) и, таким образом, очень мало содействуют развитию *вкуса* в прямом смысле.

А между тем это-то и есть существенное дело, от которого зависит все остальное. Эстетические положения, например, выработаются сами собой в мыслящих людях, как только образуется их вкус, то есть как только они сделаются способными к правильной и самобытной оценке художественных произведений. И только тогда делается полезным распространение теорий эстетических, когда приготовится для них благодарная почва в практически-развитом вкусе каждого.

Поэтому воспитание вкуса публики должно быть преимущественно практическим, то есть критика должна приучать читателей верно смотреть на художественные произведения.

Но как это сделать?

Художественное произведение, вышедши из рук автора, является совершенно отдельным бытием и в этом виде делается общим достоянием. То, как чувствовал его сам художник, тот пункт, с которого он

смотрел на свое произведение, теряется совершенно для публики, и ей оставляется совершенный произвол, смотря по способностям каждого, его предубеждениям и т. д., смотреть на него с каких угодно точек зрения и чувствовать в нем то, что каждый способен чувствовать. И хотя, конечно, во всяком художественном произведении, поскольку оно имеет право на такое название, лежат необходимые требования быть чувствуемому так, а не иначе, но требования эти ясны и обязательны не для всякого. Трудность найти настоящую точку зрения для понимания является еще большею для произведений литературных, нежели для произведений других искусств. В современном, например, романе, повести, комедии и т. д. читатель находит множество интересов помимо искусства, и, смотря по тому, каким из этих интересов он наиболее сочувствует, взгляд его на самое произведение получает то или другое одностороннее направление, которые так поражают, когда прислушиваешься в обществе к различным толкам о вновь появившемся произведении. Другая трудность настоящего понимания художественных произведений состоит в том, что для доставления чисто эстетического наслаждения они должны быть обняты во всей своей целостности, ибо в ней-то и заключается вся их сила; составные же их части суть элементы, которые принадлежат точно так же жизни, как и искусству, и могут нравиться разве только своею верностью действительности. Но необходимо довольно высоко развитое эстетическое чувство для того, чтобы сохранить целостность впечатления от какого-нибудь поэтического произведения, которое мы читали или слушали в продолжение весьма долгого времени, последовательно интересуясь различными положениями, характерами и т. д. ...

...Все эти трудности не должны существовать для критика, в котором предполагается высокоразвитое эстетическое чувство. Своей критической статьей он обязан освободить от них и всякого читателя. Он должен поставить читателя в настоящие отношения к художественному произведению, сообщить ему на него свою точку зрения. Дело его – устранить все случайные и личные воззрения на данное произведение и сводить их к одному общему, которое принадлежит ему и которое требуется самим произведением. Но для того, чтобы сообщить им свой настоящий взгляд на данное явление в литературе, чтобы, наконец, практически приучить их к этому взгляду, ему недостаточно говорить читателям, что такое-то направление ложно в искусстве, а такое-то истинно; он не должен только рассказывать им,

как нужно смотреть на художественные произведения, и бесполезно убеждать их отказаться от тех фальшивых взглядов, которые обуславливаются их односторонним развитием и в которых они не свободны, потому что вынесли их из жизни; он обязан поставить их действительно на ту точку зрения, с которой художественное произведение представляется художественным и где отпадает все ложное, обуславливаемое личностью читателя, а не требованиями самого произведения. Для этого он должен так осветить для них разбираемое произведение, чтобы им не оставалось произвола в выборе взгляда, чтобы весь смысл, вся идея произведения неотразимо запечатлелись в них. Только при сообщении такого практического знакомства с истинным воззрением на произведения искусства можно ожидать от критики настоящего и благотворного влияния на вкус публики; ибо несколько подобных критических статей не только сообщают читателю взгляд критика на то или другое произведение и сохраняют в его памяти окончательный приговор его или несколько эстетических положений, но и усвоит ему самый прием критики, дав возможность быть самобытным судьей других произведений. ...

Итак, нужна особая способность, особое с своей стороны как бы одностороннее развитие, для того, чтобы быть призванным эстетическим критиком; эта особая способность и есть эстетический вкус. Вникнем подробнее в свойство этой способности. Выше было сказано, что настоящее созерцание художественного произведения есть такое, которое принадлежало самому автору в минуту творчества, все равно, было ли оно ему совершенно ясно или управляло им полусознательно, ибо это самое созерцание и передал он в своем произведении. Но способность творчества, как ни таинственную представляется она нам в своей сущности и деятельности, очевидно, не может существовать в избранных людях как нечто отдельное, новое – одним словом, такое, чего даже и зачатков нет совсем в других. По крайней мере внимательный разбор способностей души человеческой показывает совершенную невозможность такой придаточной способности, и современное состояние науки высказывает свое настоятельное требование объяснить до известной степени творческую способность, как и всякую другую, особным развитием одной или нескольких из тех способностей, которых задатки или начала даны во всяком человеке. Не принимая на себя обязанности отвечать на такое требование, мы считаем, однако, необходимым допустить и

в отношении этой способности некоторые степени перехода между людьми, как, например, в отношении умственных способностей – в тесном смысле, – что уже давно не подлежит никакому сомнению. Доказать справедливость такого допущения было бы, конечно, гораздо затруднительнее в отношении способности творчества, нежели в приложении к способностям рассудочным; потому что о значении и существе последнего всякий имеет яснейшие представления и потому легко может поверить на опыте различные степени его развития. Творческая же способность представляется нам как нечто твердое и определенное только в своих крайних ступенях, и именно с тех пор, как она начинает быть творческою; наблюдать ее в низшем ее развитии, без предварительного и полного знакомства с существенными свойствами этой способности, было бы очень трудно, а потому так же трудно поверить на опыте справедливость допущения различных степеней ее развития. Впрочем, уже различные степени художественного таланта, которых существование доказывается беспрестанным опытом, служат отчасти подтверждением этого положения, если только не объяснять значительной разницы между талантами писателей единственно различием родов их талантов, что едва ли возможно. Допустив это, мы придем к следующему заключению: чем больше человек в отношении развития художественной способности стоит к той степени, где эта способность начинает становиться требовательною для того, кто владеет ею, то есть продуктивною или талантом, тем большее право дано ему от природы быть критиком. Этою большею или меньшею близостью определяется большее или меньшее присутствие эстетического вкуса. Особенности права такого человека на критическую деятельность основываются на том, что он более, нежели кто другой, способен оценить художественное произведение, то есть перечувствовать его именно так, как это делал художник. Из этого, конечно, не следует, чтобы всякий художник был и лучшим критиком; во-первых, потому, что для художественной деятельности достаточно одной творческой способности, причем может быть отсутствие современного образования и умения ловко и дельно выражать свои мысли, – во-вторых, потому, что художники могут быть также односторонними, и способный к известного рода художественной деятельности может плохо понимать художников, действующих в другой сфере.

Но, сказавши, что эстетический критик должен сам отличаться теми душевными способностями, которых исключительное и пол-

ное развитие дает право и способы к творческой деятельности, мы сказали еще очень мало. Всякий вправе спросить нас о ближайших и точнейших указаниях на особый строй души, особый склад ума, особенность его воззрений и т. д., одним словом, на все приметы, отличающие человека, призванного к эстетической критике, от критиков вольнопрактикующих. Постараемся, по мере сил, удовлетворить этим справедливым требованиям, наперед, впрочем, оговариваясь, что мы нисколько не претендуем на полное разрешение заданных себе вопросов. При этом для облегчения себя и для большего специализирования нашей задачи будем иметь в виду не идеал критика вообще, годного для всякого времени и всякой эпохи в искусстве, но постараемся только вызвать на свет такие черты, которых требует от критика современное направление искусства. ...

Когда литература находится в таком постоянном поиске материала для себя в действительности, когда она рыщет, так сказать, по различным углам жизни, осмысливая и приводя к сознанию всякую мелочь, всякий опыт, всякое наблюдение, на критике лежит обязанность особой чуткости, впечатлительности и живости, которая давала бы ему возможность стать сразу в настоящее отношение ко всякому литературному явлению, принять тотчас к сердцу вызванный им на свет вопрос, если он действительно добросовестен и искренен, в особенности не относиться к ним свысока и быть готовым иногда поучиться из него самому. Это уже намекает нам отчасти на то, каковы должны быть свойства настоящего, современного критика. Основным его качеством должно быть правильно развитое воображение.

Этим мы хотим отличить его, во-первых, от другого рода людей, с преимущественным развитием чувства, способных быть очень достойными и полезными во многих других отношениях, но именно неудобных для критической деятельности в наше время. Мы разумеем те углубленные в самих себя, наклонные к сосредоточенности и самонаблюдению натуры, в которых ушедшая внутрь чувствительность сообщает душе особое, лирическое настроение, часто причудливое, угловатое, хотя и глубоко залегающее. Такие люди никак не могут относиться просто к действительности и взятым прямо из нее художественным произведениям, и именно к тем сторонам их, которые и составляют их существенное значение. Они все понимают со стороны чувства, во всем ищут и ценят глубину чувства, его энергию и ради этих достоинств прощают многое. В особенности они любят такие произведения, где наглядно на жизнь, где, например, негодова-

нию их, возбужденному против известных сторон действительности, дается сильная, хотя и довольно грубая, пища или где сочувствие их известным явлениям встречает идеальные, хотя и приторные, образы. А именно такая-то ложь вредна в особенности в литературе молодой, и притом такой, которой особое достоинство состоит в близости к действительности – в правде. Точно так же эти люди лишены почти совершенно той подвижности души, которая позволяет нам свободно входить в чужие характеры, в чужие положения. Такое, что пережили они своею собственною опытностью, они поймут и оценят верность его представления. ...

Правильно развитое воображение есть ни более ни менее как задаток правильного мышления о вопросах жизни, возбуждаемых и разрешаемых опытом, которые именно и составляют в наше время главное содержание изящно-литературных произведений. Но, не говоря уже о мышлении, само по себе воображение в своих безукоризненно выработанных данных составляет важное достоинство критика, сообщая ему чутье ко всему натянутому, преувеличенному, ложному в представлении, и вместе с тем чутье ко всякому правильному, хотя бы и новому и незнакомому ему по собственному опыту сочетанию данных жизни, представленному в искусстве. При значительной же степени собственной опытности и при той правильности, в какой залегают эти опыты в душе, они дают ему возможность к верной оценке всякого литературного явления, насколько оно тоже взято из жизни и есть плод правильной органической душевной деятельности.

Взгляд такого человека на жизнь, и вообще на явления действительности, будет отличаться ясностью и простотою, и если даже он не проникнет в самую глубину их, не возведет к общим и отвлеченным вопросам, не возвысится, одним словом, до философского мирозерцания, то по крайней мере не будет никакой неправды в том, что нужно ему для непосредственного приложения, он будет свободно подходить ко всем вопросам, выносимым из жизни художественными представлениями, и, имея возможность легко увидеть и непосредственную связь их с действительностью и дальнейшее развитие этих данных в той форме, какую избрала воля автора, он поймет и оценит их не на основании своих предубеждений, личных и исключительных требований, но по тем данным, какие действительно в них положены. При правильности и восприимчивости воображения такой критик найдет в себе сочувствие и ко всякой особенности в худо-

жественной деятельности, вытекающей из народного духа и, если еще не достигшей совершенного изящества, то обещающей его в будущем. Ибо, с одной стороны, условия для их уразумения заключаются в тождественности заложений его собственной души с теми, которые взялись из того же источника и правильно сложились под влиянием таланта в душе художника; с другой же стороны, ничто постороннее, враждебное правильности воображения не помешает ему взглянуть верно на явления и свободно подчиниться правильно действующей силе, вызвавшей их на свет.

В нем не должны быть также преобладающими стремления к отвлеченному мышлению, ибо, как ни важны в известных отношениях такого рода наклонности души, здесь они были бы неуместны; только в самых высших, самых счастливых организациях соблюдается та строгость и постепенность мышления, которая не искажает нисколько материала, послужившего для нее основанием, и оставляет в полной свежести все взятые из действительности представления. По большей же части случается, что способность к отвлечениям развивается за счет других свойств души и что стремление уразуметь всякое явление теоретически, извлечь из него какое-нибудь общее – какую-нибудь мысль, это стремление захватывает в представляющихся явлениях только известные стороны, нужные ему для его целей, и, удовлетворяясь таким извлечением, затем уже не оставляет в душе данного явления в его первоначальном виде и, следственно, вредит ему там, где оно нужно преимущественно со стороны своей полноты и свежести. Понятно, что для верной оценки произведений художественных, особенно таких, которые не целы до такой степени, чтобы восстановить свежесть первоначальных ощущений в человеке, даже и утратившем ее, подобные свойства души мало годны.

До сих пор мы говорили преимущественно о свойствах критика, составляющих его природу. Нужно сказать также несколько слов и об искусственном развитии его способностей, если и не для полноты очерка, то во избежание некоторых бесполезных недоразумений. На первом плане тут, разумеется, стоит современное образование, о необходимости которого считаем ненужным говорить. Сделаем лучше более специальную заметку. Многие думают у нас, что человек с умом и образованием, специально и успешно занимающийся чем-нибудь, может иногда, оторвавшись от своей посторонней деятельности, перейти к критической и написать сразу очень хорошую статью о ка-

ком-нибудь современном изящно-литературном явлении и обсудить его дельно и всесторонне. При жалком состоянии критики в нашей литературе, конечно, нельзя не дорожить всяким, хотя бы и вскользь высказанным суждением умного человека о новом явлении в литературе. Оно, пожалуй, имеет даже интерес и при всяком состоянии литературы. Но надобно строго отличать критические статьи, полные верных мыслей и взглядов, но кое-как привязанные к разбираемому художественному произведению, от критических статей истинно дельных и вполне разъясняющих произведение. Кроме различных других свойств критику необходима значительная опытность в обхождении с изящно-литературными произведениями и привычка самостоятельного их обсуждения. Нужно, чтобы он был практически знаком с различными приемами творчества. Тогда только он свободно, господином будет входить во всякое новое произведение, не затруднится в оценке его построения и ошибок против этого, не спутается в мысли, которая положена в произведение и дает себя чувствовать иногда мелкими намеками, а иногда только целым и полным представлением всех подробностей романа.

Нужно ли говорить о житейской опытности критика в таком деле, где все прямо касается жизни, и в особенности его памятьности ко всем пережитым опытам своей души, ко всем душевным движениям, замеченным даже и в посторонних, но живо самим прочувствованным. Нужно ли говорить также о необходимости любви в нем к народному быту и близкого знакомства с явлениями общественной жизни нашего общества. Все это разумеется само собою. ...

Талант критический, как и всякий другой талант, отличается между прочим от других точкою опоры для своей деятельности. Он находит ее внутри себя, между тем как для других она во внешности, в системе, в теории, в каком-нибудь кодексе, за который держатся, боясь упустить его из рук. В этом смысле талант нужен для критика потому, чтобы он не боялся, приступая к новому произведению, за свои прежние эстетические положения, но погружался в него весь. Истинные эстетические положения не уйдут, они притекут в свое время к сознанию для всесторонней оценки, но вынесется много живого и свежего, что должно бы было исчезнуть, если бы оценка произведения происходила только внешним образом, на основании соображений, подсказанных готовыми теоретическими данными.

Здесь приостановим пока наши беглые и отрывочные заметки и заключим статью, которая и без того уже вышла длиннее, нежели мы

хотели. Выскажем, однако, в заключение ту задушевную мысль, которая побудила нас взяться за перо и около которой группировалось все остальное, высказанное в статье. Не желание передать публике несколько собственных соображений об эстетической критике руководило нас в этом случае; не закреплённые системой, они не могут иметь большого значения. Но нам хотелось бы сообщать и другим то скорбное негодование, залог перемены к лучшему, которое неотразимо вызывается в душе при ясном взгляде на то, какую роль играет в наше время в литературе эстетическая критика, и при мысли о том, чем бы она могла быть для литературы, если бы не погрязла в тине мелких журнальных отношений, не видимых и не понятных публике целей и многого другого в подобном же роде, что, кроме отсутствия талантов, мешает ей дружно, бескорыстно и усердно служить своему высокому делу.

Е***

Москвитянин. 1852. № 6, кн. 2, отд. 3. С. 22–60.
Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982.
С. 251, 267–269, 271, 273–275, 277, 279–283.

П. В. АННЕНКОВ

О мысли в произведениях изящной словесности

*(Заметки по поводу последних произведений
гг. Тургенева и Л. Н. Толстого)*

...Мы приведены к необходимости сказать несколько слов о сущности мыслей, доступных рассказу вообще, и это не потому, чтобы хотели отвечать на какие-либо системы и теории, а потому что запрос на мысль постоянно слышится в самом обществе, как мы имели много случаев убедиться. При всяком появлении замечательного произведения раздаются в публике восклицания вроде: это хорошо, но какая тут мысль и сколько тут мысли? Отыскивать причину такого упорного требования мысли в деле искусства было бы слишком долго, но заметим, что от молодых, начинающих литераторов общество, которое по годам ровесник литературы, ждет преимущественно *познания*, а эстетическая форма, обилие фантазии и красота образов стоят уже на втором плане при оценке произведений. Постоянные хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но и критика,

сообщают педагогический характер изящной литературе вообще, как это мы видим не только в нашем прошлом, но и в нашем настоящем. С одной стороны, круг действия литературы от этого, может быть, и расширяется, но, с другой, он утрачивает большую часть самых дорогих и существенных качеств своих – свежесть понимания явлений, простодушие во взгляде на предметы, смелость обращения с ними. Там, где определяется относительное достоинство произведения по количеству мысли и ценность его по весу и качеству идеи, там редко является близкое созерцание природы и характеров, а всегда почти философствование и некоторое лукавство. Не говорим уже о том, что на основании *мысли* легко быть судьей литературного произведения всякому, кто признает в себе мысли (кто же не признает их в себе?), а на основании эстетических условий это тяжелее. Не говорим также, что по существу критик, ищущий предпочтительно мысли, вся лучшая сторона произведения, именно его постройка, остается почти всегда без оценки и определения, но скажем, что обыкновенно и не тех мыслей требуют от искусства, какие оно призвано и способно распространять в своей сфере. Под видом наблюдения за значением и внутренним достоинством произведения большею частию предъявляют требования не на художническую мысль, а на мысль или философскую, или педагогическую. С такого рода мыслями искусство никогда иметь дела не может, да они же много способствуют и к смешению всех понятий о нем.

П. А-в.

Современник. 1855. Т. 49, № 1: Критика. С. 1–26.

Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 334–335.

О значении художественных произведений для общества

Несмотря на разнообразие требований и стремлений нашей современной критики изящного, можно, кажется, усмотреть два основных начала в ее оценке текущих произведений словесности. Начала эти и прежде составляли предмет деятельной полемики между литераторами, а в последние пять лет они обратились почти в единственный серьезный вопрос, возникавший от времени до времени на шумном поле так называемых обзоров, заметок, журналистики. Начала, о которых говорим, по существу своему еще так важны в отношении

к отечественной литературе, еще так исполнены жизни и значения для нее, что там только и являлось дельное слово, где они были затронуты, там только и пропадали личные страсти и легкая работа при- сяжного браковщика литературы, где они выступали на первый план. Спешим сказать, что начала эти были: идея о *художественности* произведений и идея о *народности*. Посильное определение их, с одной стороны, а с другой стороны, сомнение в возможности и пользе определения их составляли и составляют доселе спорный пункт в критике, имеющий силу тотчас же изгонять из нее систему личных, произвольных мнений, объясняющих всегда более темперамент и характер рецензента, чем самое дело. Без этого спорного пункта статьи рецензентов могли служить, с редкими исключениями, только успешным средством для изучения их самих, а совсем не предмета их исследований. Само собою разумеется, что и умы читателей вращались в том же кружку, упадая тотчас, как выходили из него в сферу симпатий и антипатий критиков, в сферу их умственных привычек, а иногда и в сферу их частных дел...

Ограничимся вопросом о художественности. Почему считаем мы его жизненным вопросом для отечественной литературы, пред которым все другие требования, как, например, нынешнее требование идеального обращения с природой и обществом, кажутся нам требованиями второстепенной важности? Ответ будет заключаться в нашей статье, и мы нисколько не скрываем от себя возражений, какие могут быть сделаны заранее против цели и самой мысли ее. ...

Только в облачении искусства и в художественной форме умное слово и благородный порыв находят доступ к сердцам. Условие это необходимо даже просто для того, чтоб они могли сделаться достоянием литературы, явиться в свет и найти себе круг слушателей. Сами по себе они не имеют, по особенным требованиям общества, достаточно силы, чтобы обнаружить себя. В простом, необделанном виде им по большей части загражден естественный путь в сферу народного сознания. В каждом таком заявлении мысли подозревается тотчас, хотя иногда и без малейшей причины, оскорбляющая односторонность, желание заменить полное определение дела яркими частностями его, а боязнь общества увлечься блеском и жаром слова – ради самого слова – довершает остальное. Художественное изложение мысли устраняет все эти препятствия, так как сущность его состоит

в полнейшем раскрытии всех ее свойств. Художественное изложение прежде всего снимает характер односторонности с каждого предмета, предупреждает все возражения и наконец ставит истину в то высшее отношение к людям, когда частные их интересы и воззрения уже не могут ни потемнить, ни перетолковать ее. Тогда истина образа или представления поселяется в умах, наиболее упорных к принятию ее, и разрабатывает их так, что из противников они делаются сторонниками и слугами ее. Этот местный закон для проявления мысли действителен не в одной только сфере изящной литературы, но и вообще обязателен у нас для каждого рода письменности: не обойдется без него никакой трактат, ни один план частных усовершенствований. Эти виды деятельности должны тоже принимать способ художнического представления своей задачи, если хотят вызвать убеждение и наклонить течение общественной мысли к своей стороне. Конечно, люди, нападавшие на исключительное прославление художественности в искусстве, не предполагали, что они затрудняют один из главных путей, по которому сходят у нас в общество идеи чести, самопознания и добра...

Русский вестник. 1856. Т. 1, февр. С. 705–731.
Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века.
М., 1982. С. 345–346, 365.

А. В. ДРУЖИНИН

Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения

Статья вторая

Все критические системы, тезисы и воззрения, когда-либо волновавшие собою мир старой и новой поэзии, могут быть подведены под две, вечно одна другой противодействующие теории, из которых одну мы назовем *артистическою*, то есть имеющую лозунгом чистое искусство для искусства, и *дидактическую*, то есть стремящуюся действовать на нравы, быт и понятия человека через прямое его поучение.

Постараемся в кратких и по возможности общедоступных выражениях изложить цель и значение той и другой теории, заранее извиняясь в неизбежных неполнотах нашего объяснения. Журналь-

ная статья имеет свои пределы, и предстоящее отступление, как ни важно оно для предмета этюда нашего, не должно переходить в многословие.

Теория *артистическая*, проповедующая нам, что искусство служит и должно служить само себе целью, опирается на умозрения, по нашему убеждению, неопровержимые. Руководясь ею, поэт, подобно поэту, воспетому Пушкиным, признает себя созданным не для житейского волнения, но для молитв, сладких звуков и вдохновения. Твердо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он в бескорыстном служении этим идеям видит свой вечный якорь. Песнь его не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других выводов, применимых к выгодам его современников, она служит сама себе наградой, целью и значением. Он изображает людей, какими их видит, не предписывая им исправляться, он не дает уроков обществу или если дает их, то дает бессознательно. Он живет среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе. Мы нарочно изображаем поэта, проникнутого крайней артистической теорией искусства, так, как привыкли его изображать противники этой теории.

На первый взгляд положение дидактического поэта кажется несравненно блистательнейшим и завиднейшим. Для писателя, отторгшегося от вечных и неизменных законов изящного, для поэта, бросившегося, по дивному выражению Гоголя, в волны *мутной современности*, по-видимому, и путь шире, и источников вдохновения несравненно более, чем для служителей чистого искусства. Он смело примешивает свое дарование к интересам своих сограждан в данную минуту, служит политическим, нравственным и научным целям первостепенной важности, меняет роль спокойного певца на роль сурового наставника и идет со своей лирой в толпе волнующихся современников – не как гость мира и житель Олимпа, а как труженик и работник на общую пользу. Здравомыслящий и практически развитый поэт, отдавшись дидактике, может произвести много полезного для современников – того мы отвергать не будем. Кстати скажем здесь, что, по всей вероятности, прилагательное *дидактический* покажется крайне оскорбительным всем противникам идеи «искус-

ство для искусства». По нашей рутине со словом «дидактика» непременно соединяется мысль о французском кафтане, феруле, псевдоклассиках, трех единствах, париках и ногах, престарелых актерах, декламирующих монолог Терамена (персонаж трагедии Расина «Федра». – *Примеч. сост.*) среди общего посмеяния! Увы! если б дидактика всегда занимала собой одних стариков, читателей Терамена, и давала нам поэмы вроде «Послания о пользе стекла» (автор – М. В. Ломоносов. – *Примеч. сост.*) и «Art Poetique» Боало! Дидактическая поэзия не умерла с тремя единствами, она недавно еще цвела во Франции, в Германии, отпускала философские дифирамбы устами Жоржа Санда, руками Берне бросала грязью в великого Гете, участвовала в aberrациях романтической школы поэзии, убила эту школу, попробовала смешаться со всеми интересами наших годов, опозорила себя окончательно и, полная тревоги, уверившаяся в своей слабости, пугливо остановилась на своем пути, сама не зная, что делать и куда броситься! ...

В нашем подразделении все дидактики равны по своему поэтическому значению, ибо следуют одной и той же теории, приносящей одни и те же результаты. Каждый из них желает прямо действовать на современный быт, современные нравы и современного человека. Они хотят петь, поучая, и часто достигают своей цели, но песнь их, выигрывая в поучительном отношении, не может не терять многого в отношении вечного искусства. ... Свет так устроен, что всякий человек любит учить себе подобного человека и осмеивать его пороки, и вот причина, по которой юношество каждой страны кипит неодидактиками, которым самим следовало бы хорошенько поучиться и не кидать грязью в читателя искусства чистого, как это делали немцы с Гете, французы с поэтами своей славной эпохи! Кто помнит теперь ненавистников поэта-олимпийца, подарившего нам Фауста, – кто почитает имена Берне, Пруца, Менцеля? Куда девались эти жрецы нового времени, гордо завладевшие званием учителей для своих собратьев? Куда завело их неодидактическое направление? Кто интересуется дидактиками-французами, когда-то переходившими из рук в руки? ... Кто в состоянии без смеха прочесть «Мартына Найденыша», в котором, кажется, дидактика автора так блестяща, так выглажена и так применена к вкусам всей массы читателей?

Изложив, по возможности, сущность обеих теорий, перейдем к их историческому значению. Во все года, во все века и во всех стра-

нах видим мы одно и то же. Незыблемо и твердо стоят поэты, читатели искусства чистого, голос их раздается из столетия в столетие, между тем как голоса дидактиков (часто благородные и сильные голоса) умирают, едва прокричавши кое-что, и погружаются в пучину полного забвения. Дидактики-моралисты, несмотря на сатиры и насмешки, возбуждаемые их трудами, еще играют некоторую роль в словесности благодаря вечному нравственно-философскому элементу в их деятельности, но дидактики, приносящие свой поэтический талант в жертву интересам так называемой современности, вянут и отцветают вместе с современностью, которой служили. В великом поступательном движении человека и общества – десятки годов, составляющие срок жизни целого человеческого поколения, – есть атом, минута, кратчайший срок из вечно переходной эпохи. То, что сегодня было ново, смело и плодотворно, – завтра старо и неприменимо и, что еще грустнее, не нужно обществу! Горе поэту, променявшему вечную цель на цель временную; горе мореходцу, доверчиво бросившему свой единственный якорь не в твердое дно, а в наносную отмель без устойчивости и крепости! И странное дело, – и странная сила чистого гения, – поэты-олимпийцы, поэты так невозмутимые, поэты, удалявшиеся от житейских тревог и не мыслящие поучать человека, – делаются его вожатыми, его наставниками, его учителями, его прорицателями в то самое время, когда жрецы современности теряют все свое значение! К ним народы приходят за духовной пищею и отходят от них, просветлев духом, подвинувшись на пути просвещения. Их чтит потомство, давно позабывшее возгласы поэтов-дидактиков, служителей элемента преходящего. Их каждое слово умягчает душу смертного, с ними сбывается сказание про Орфея, под вдохновенные песни которого города строились сами, битвы прекращались, люди подавали руки друг другу и даже дикие звери забывали свою жестокость. Добро, красота и правда, вдохновлявшие этих поэтов, отражались во всех их произведениях. Произведения эти, пропетые в минуту вдохновения, набросанные для одного наслаждения, без всякой поучительной цели, стали зерном общего поучения, основанием наших познаний, наших добрых помыслов, наших великих деяний! ...

Ред.

Библиотека для чтения. 1856. Т. 140, № 11, 12. Критика. С. 1–64.
Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 427–430.

**Критический взгляд на основы, значение и приемы
современной критики искусства**

(Посвящено А. Н. Майкову)

I

...В первостепенных произведениях всякой словесности, а стало быть, и нашей, сколь их в ней ни мало, есть та неувядающая красота, та прелесть вечной свежести, которая будит мысль к новой деятельности, к новым размышлениям о жизненных вопросах, к новым проникновениям в тайны художественного творчества. В созерцании первостепенных, то есть *рожденных*, а не *деланных* созданий искусства, можно без конца потеряться, как теряется мысль в созерцании жизни и живых явлений. Как рожденные, и притом рожденные лучшими соками, могущественнейшими силами жизни, они сами порождают и вечно будут порождать новые вопросы о той же жизни, которой они были цветом, о той же почве, в которую они бросили семена. Бесконечные и неисследимые проявления силы творческой, они не имеют дна, они глубоки и вместе прозрачны: за ними есть еще что-то беспредельное, в них сквозит их идеальное содержание, вечное, как душа человеческая; их не исключить из общей цепи человеческих созерцаний, как не исключить из общей цепи судеб человечества ту жизнь, которую они отразили в вечном типе и с которой связаны они сплетением тончайших нервов. Их значение в мировой жизни столь же велико, как значение ее самой, и нечему удивляться, что они могут служить предметом постоянных и во всякое время имеющих значение и важность созерцаний мысли: как художественные отражения неперменного, коренного в жизни, они не умирают: у них есть корни в прошедшем, ветви в будущем. ...

II

Ясно, что критика перестала быть чисто художественною, что произведения искусства связываются для нее общественные, психологические, исторические интересы, – одним словом, интересы самой жизни. Попытки удержаться в пределах отрешенно-художественной критики остаются ни более ни менее как попытками: многие из решающихся на такие попытки сами не могут долго удер-

жаться в пределах чисто технических задач и впадают или в нравственное отношение к искусству, или в исследование вопросов, касающихся уже не искусства как техники, а опытной психологии: ищут, например, разложить художественную способность на составные части, определить, из каких потенций души складывается наблюдательность или другие свойства, входящие в представление о даровании, исследуют вопросы, конечно, весьма важные, но важные в отношении психологическом, а не в художественном.

Вопрос в том: хорошо это или дурно, правильно или неправильно?

Если это дурно и неправильно, то в чем же заключается хорошее и правильное, то есть законы чисто художественной критики?

Если это хорошо и правильно, то как назвать это хорошее и правильное, чем оправдать поставление его на место чисто художественной критики, как определить меру и границы правильности этого правильного; в чем, одним словом, заключаются законы этой критики? ...

Явился взгляд, который в художественных произведениях постоянно ищет преднамеренных теоретических целей, вне их лежащих; варварский взгляд, который ценит значение живых созданий вечного искусства постольку, поскольку они служат той или другой, поставленной теорией, цели. Связь такой аномалии с засвидетельствованным фактом несомненна. Когда рассматриваешь искусство в связи с существенными вопросами жизни, то не мудрено, при известной степени страстности натуры, увлечься вихрем этих вопросов до поглощающего всю жизнь сочувствия оным. Затем, более мудрено, конечно, но возможно, при разившемся уже фанатизме, насиловать в себе любовь к искусству и к вечной правде человеческой души до подчинения их обаянию временного; при недостатке же органическом, то есть при отсутствии чувства красоты и меры, чрезвычайно легко обратить искусство в орудие готовой теории. ... Последнего рода ошибки предполагают или яростное тупоумие, готовое на все, хоть бы, например, на такое положение, что «яблоко нарисованное никогда не может быть так *вкусно*, как яблоко настоящее»¹, или показывает просто, что критика мешается не в свою область, оставляя области, ей свойственные, – историю, мораль, политическую экономию и стати-

¹ Григорьев искаженно излагает идеи диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности».

стику, государственное право и психологию. Тем не менее в последнее десятилетие являлось множество статей, в которых фанатизм теории, желчное раздражение или яростное тупоумие заменили всякое художественное понимание, всякое чувство красоты и меры. ...

Как ни хотел бы критик, рожденный даже с самым тонким художественным чутьем, стать на отрешенно-художественную точку, — живая, или, правильнее сказать, жизненная, сторона создания увлечет его в положение судьи над образами, являющимися в создании, или над одним образом, выразившимся в нем своею внутреннею нравственною жизнью, если дело идет о круге лирических произведений. ...

Велико значение искусства. Оно одно, не устану повторять я, вносит в мир новое, органическое, нужное жизни. Для того чтобы мысль поверили, нужно, чтобы мысль приняла тело; и, с другой стороны, мысль не может принять тела, если она не рождена, а сделана искусственно.

Мы равно не верим теперь как в неопределенное вдохновение, порождающее мысль, облеченную в плоть, то есть создание искусства, так и в то, чтобы по частям слагалась живая мысль; то есть не верим и в одно *личное* творчество, да не верим и в безучастное, безличное.

Вдохновение есть, но какое?

Художник прежде всего человек, то есть существо из плоти и крови, потомок таких или других предков, сын известной эпохи, известной страны, известной местности страны, конечно, наиболее даровитый из всех других своих собратий, наиболее чуткий и отзывчивый на кровь, на местность, на историю, — одним словом, он принадлежит к известному типу и сам есть полнейшее или одно из полнейших выражений типа; да, кроме того, у него есть своя, личная натура и своя личная жизнь; есть, наконец, сила, ему данная, или, лучше сказать, сам он есть великая зиждительная сила, действующая по высшему закону. В те минуты, когда по зову сего закона

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега далеких волн,
В широкошумные дубровы, —
В те минуты, когда у него
...Холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе, —

совершается с ним действительно нечто таинственное. Но эти мину-

ты, в которые, по слову одного из таковых, не бог знает как наделенных силами, но глубоких и искренних, «растаять бы можно», в которые «легко умереть» (строки из стихотворения Н. П. Огарева «Звучи» (1841). – *Примеч. сост.*), – подготовлены, может быть, множеством наблюдений, раскрывавших прозорливому наблюдателю смысл жизни, хотя никогда не преднамеренных и душевных страданий и умственных соображений. Когда запас всего этого накопится до известной нужной меры, тогда некая молния освещает художнику его душевный мир и его отношения к жизни, и начинается творчество. Оно и начинается и совершается в состоянии, действительно близком к ясновидению, но и в это состояние художник вносит все богом данные ему средства: и свой общий тип, и свою местность, и свою эпоху, и свою личную жизнь; одним словом, и тут он творит не один, и творчество его не есть только личное, хотя, с другой стороны, и не безличное, не без участия его души совершающееся. ...

Поэтому-то и художество есть дело общее, жизненное, народное, даже местное: как же мы отнесемся к нему с душевною техникой? Этого нельзя!

С другой стороны, самая критика со времен Лессинга получила иное значение в жизни.

Критик (я разумею здесь настоящего, призванного критика, а таковых было немного) есть половина художника, может быть, даже в своем роде тоже художник, но у которого судящая, анализирующая сила перевешивает силу творящую. Вопросы жизни, ее тайные стремления, ее явные болезни близки впечатлительной организации критика так же, как творящей организации художника. Выразить свое созерцание в полном и цельном художественном создании он не в силах; но, обладая в высшей степени отрицательным сознанием идеала, он чувствует (не только знает, но и чувствует, что гораздо важнее), где что не так, где есть фальшь в отношении к миру души или к жизненному вопросу, где не досоздалось или где испорчено ложью воссоздание живого отношения. ...

Всякий удар в живую жилу современности, производимый художественным созданием, отозвавшись в его сердце, прояснивши для него его собственные предчувствия, сообщивши плоть и кровь его логическим выводам, отражается потом в его деятельности целым рядом пояснений, толкований, развитии живой мысли, вырванной из сердца жизни поэтическим творчеством.

Что художество в отношении к жизни, то критика в отношении к художеству: разъяснение и толкование мысли, распространение света и тепла, таящихся в прекрасном создании. Естественно поэтому, что, связывая художественное произведение с почвою, на которой оно родилось, рассматривая положительное или отрицательное отношение художника и жизни, критика углубляется в самый жизненный вопрос, ибо иначе что же ей делать? Исполнять весьма мизерное назначение, то есть указывать на технические промахи? Но свои технические промахи каждый художник сам непременно знает, ибо великого художества без великого разума я не понимаю, да и критик, поколику он есть существо мыслящее и чувствующее и поколику пульс его бьется в один такт с пульсом эпохи, знает, что так называемые технические промахи художника (разумеется, речь идет о художнике серьезном, а не о борзописце и поставщике товаров на литературный рынок) происходит из какого-либо нравственного источника, из не совершенно прямого и ясного отношения к вопросу. В этих промахах выражаются или неполнота взгляда на жизнь, или колебание его, или смутное, но упорное предчувствие иного разрешения психологического или общественного вопроса, не похожего на обычные разрешения. Душа художника весьма часто не подчиняется ни такому обычному разрешению, ни сухому логическому выводу, ищет более жизненного исхода и позволяет себе в создании сделать технический промах в виде намека на какое-то особенное решение.

Критик в таком и в подобных этому случаях обязан только засвидетельствовать факт с точки, указанной художническим намеком, и затем имеет право опять пойти путем жизненного вопроса, то есть может углубляться в корни, в причины того, почему не полно разрешен вопрос или почему уклонилось от обычного решения искусство, которое одно имеет право и полномочие разрешать, то есть воплощать вопросы. Тем более должен идти таким путем критик, что обязан помнить, как технические требования, требования вкуса в разные эпохи изменялись, как многое, что современники считали у великих мастеров ошибками, потомки признали за достоинства, и наоборот. ...

Естественно также, что, когда произведения второстепенные, говоря геологически: вторичного образования – правильно или неправильно развивают задачи, перешедшие к ним от *рожденных* созданий искусства, или когда задевают они еще не тронутые стороны жизненного вопроса, критика или возводит их к настоящим источни-

кам, к идеям первостепенных произведений, и говорит о них не иначе, как связывая с ними последними, или силами отрицательными, ей данными, борется с их ложью в поставлении и разрешении живых вопросов. В этом случае, не будучи в силах создать сама ясное художественное представление вопроса (единственная форма его разрешения), критика делает, по крайней мере, то, что может, указывая, почему жизненно-художественный вопрос поставлен или разрешен неправильно.

На это она имеет полномочие, ибо пульс ее бьется в один такт с пульсом жизни, и всякая разладица с этим тактом ей слышна. Только руководить жизнью она не может, ибо руководит жизнь единое творчество, этот живой фокус высших законов самой жизни.

...Историческая критика¹ пошла ...ложным путем, то есть приняла жизнь как явления за норму искусства, и правильный прием: видеть в искусстве вообще, в искусстве словесном в особенности отражение жизни – обратила весьма быстро в прием совершенно неправильный: видеть в искусстве рабское служение жизни. Такое отношение критики к искусству не похоже даже на отношение слепца к слепцу: нет! тут слепой хочет вести зрячего. Именно это самое делалось и делается в критике, когда она принимает фальшивый прием. Искусство всегда опережает ее, всегда захватывает жизнь шире той минуты, на которой произвольно останавливается критика.

Какой же выход из этого? Неужели же рабское служение искусству и слепая вера в него? ... Это было бы весьма неутешительно, хотя надобно согласиться, что слепая вера в искусство и рабское служение ему выше, нежели такое же рабское, только дикой гордости исполненное служение теории, которая хочет задержать, остановить на данной минуте откровения жизни и поставить им геркулесовы столбы.

Критике нет, по-видимому, никакого выхода из следующей дилеммы, обнажаемой логическим мышлением:

Или критика вовсе не самостоятельна, а подчинена искусству.

Или критика ложно самостоятельна, то есть самостоятельность ее вредна или бесполезна.

Так и выходит, если критериум для критики берется в явлениях жизни или явлениях же искусства.

¹ Ап. Григорьев имеет в виду концепцию «реальной» критики Чернышевского, Добролюбова и их последователей.

Но дело-то в том, что как *искусство*, так и *критика искусства* подчиняются одному критериуму. Одно есть отражение идеального, другая – разъяснение отражения. Законы, которыми отражение разъясняется, извлекаются не из отражения, всегда как явления более или менее ограниченного, а из существа самого идеального. Между искусством и критикой есть органическое родство в сознании идеального, и критика поэтому не может и не должна быть слепо историческою, а должна быть, или, по крайней мере, стремиться быть, столь же органическою, как само искусство, осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть и кровь искусство.

Библиотека для чтения. 1858. № 1.
Григорьев А. А. *Искусство и нравственность*. М., 1986.
С. 31–32, 37, 43–45, 68–69.

Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина

IV

...Гениальная натура носит в себе клад всего неперменного, что есть в стремлениях ее эпохи. Но, отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед. Противоречия примиряются в ней высшими началами разума, который вместе с тем есть и бесконечная любовь.

Отношение такой гениальной натуры к окружающей ее и отражающейся в ее созданиях действительности только на первый взгляд представляется иногда враждебным. Вглядитесь глубже, и во вражде, в желчном негодовании уразумете вы любовь, только разумную, а не слепую; за мрачным колоритом картины ясно будет сквозить для вас сияние вечного идеала, и, к изумлению вашему, нравственно выше, благороднее, чище выйдете вы из адских терзаний Отелло, из безвыходных мук морального бессилия Гамлета, – из грязной тины мелких гражданских преступлений, раскрывающейся пред вами в «Ревизоре», и пусть холод сжимает ваше сердце при чтении «Шинели», вы чувствуете, что этот холод освежил и отрезвил вас, и нет в вашем наслаждении ничего судорожного, и на душе у вас как-то торжественно. Миросозерцание поэта, невидимо присутствующее в создании, примирило вас, уяснивши вам смысл жизни. Поэтому-то создание истинного художника в высокой степени нравственно, не в том, ко-

нечно, пошлом и условном смысле, над которым поделом смеется наш век: избави вас небо от той нравственности, которая до сих пор еще готова видеть в Пушкине безнравственного поэта и в героях его уголовных преступников, которая до сих пор еще не прощает Мольеру его Тартюфа и доискивается атеизма в Шекспире. Нет, создание истинного художника нравственно в том смысле, — что оно живое создание. Оживите перед вами лица Шекспировых драм, обойдитесь с ними как с живыми личностями, призовите их вторично на суд, и вы убедитесь, что Немезида, покаравшая или помиловавшая их, полна любви и разума. Даже не нужно и убеждаться в том, что совершенно непосредственно создается, осязательно чувствуется.

В сердце у человека лежат простые вечные истины, и по преимуществу ясны они истинно гениальной натуре. От этого и сущность миросозерцания одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет. Одну и ту же глубокую, живую веру и правду, — одно и то же тонкое чувство красоты и благоговения к ней встретите вы в Шекспире, в Гоголе, в Гете и в Пушкине, — та же самая нота звучит и в напряженном пафосе Гоголя, и в мерно-ровном блестящем течении творчества Гете, и в благоуханной простоте Пушкина, и в строго-безукоризненном величии Шекспира. Различие может быть только в степени и в цвете чувствования. ...

Русское слово. 1859. № 2.

Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 95–96.

И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо»

Статья четвертая и последняя

Творчество — я принужден напоминать и повторять для ясности дела принципы и положения, уже не раз мной высказанные, — творчество, каково бы оно ни было, субъективное или объективное, все равно, — есть результат внутреннего побуждения творить, то есть выражать в образах прирожденные стремления или благоприобретенные созерцания своего внутреннего мира, — и даже границы между творчеством субъективным и творчеством объективным не могут быть резко установлены: наблюдениями биографов и исследованиями критиков-психологов доказана связь многих, видимо, объективнейших созданий с личной жизнью их творцов. Да оно иначе и быть

не может: что б ни выражал человек, он выражает только самого себя. Большая степень способности сообщать свои личные впечатления и свои душевные опыты, отвлекая их от частных явлений и перенося их на однородные же, но другие явления, есть объективность; меньшая степень такой способности – субъективность. Дело в том только, что субъективнейшие ли из призраков Байрона, объективнейшие ли из вечных типов Шекспира – равно не хотят собою что-либо намеренно сказать, а если и говорят, так вот что: «Берите нас, каковы мы родились, берите нас, как примете вы орла, любящего вершины гор и утесы, как примете вы голубой василек в широком, желтоводном море колыхающейся ржи: мы вас ничему не учим и ни в чем не виноваты; мы – дети любви наших творцов, плоть от плоти их, кровь от крови; нас, как мать, выносила в себе их натура, и мы рождены, как рождены вы сами, а не сделаны, как сделаны предметы вашей роскоши или вашего испорченного вкуса. Примите нас – если мы родились даже не совсем доношенные, примите нас, если мы родились даже с какими-либо органическими недостатками, примите нас, потому что и такими-то нас вам не сделать, потому что есть великая тайна в нашем рождении, тайна, которой вы не уследите и не объясните. Мы не то, что сама жизнь, ибо мы не сколки с нее; жизнь сама по себе, а мы сами по себе, – но мы так же самостоятельны, и необходимы, и живы, как самостоятельны, и необходимы, и живы ее явления. Вы нас не встречали нигде, и между тем – мы ваши старые знакомцы, вы нас знаете – таково свойство нашего таинственного происхождения, вследствие которого мы существуем, не существуя, существуем явно, видимо, бесспорно». Вот что сказали бы создания искусства и что говорят они любящим их, с которыми беседуют они так, как иногда же равнодушная природа с своими жрецами, с теми, которые слышат

И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье¹.

Но, не говоря ничего намеренно, произведения искусства связаны тем не менее органически с жизнью творцов их, и посредством этого с жизнью эпохи; как живые порождения, они выражают собою то, что есть живого в эпохе, часто как бы предугадывают вдаль, разъясняют

¹ Из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

или определяют смутные вопросы, сами нисколько, однако, не поставляя себе такого разъяснения задачей. Все новое вносится в жизнь только искусством: оно одно воплощает в созданиях своих то, что невидимо присутствует в воздухе эпохи. Больше еще: искусство часто заранее чувствует приближающееся будущее, как птицы заранее чувствуют ведро или ненастье ... Искусство, связанное с жизнью, – видит, однако, дальше, нежели жизнь сама видит; а то, что уже есть в жизни, то, что носится в воздухе эпохи – постоянное или преходящее, – оно отразит как фокус и отразит так, что всякий почувствует правду отражения, что всякий готов дивиться, как ему самому эта высшая правда жизни не представляла прежде столь же ярко. Искусство уловляет вечно текущую, вечно несущуюся вперед жизнь, отлиывает моменты ее в вековые формы, связывая их процессом – опять-таки таинственным – с общею идеею, души человеческой...

Русское слово. 1859. № 8.

Григорьев А. А. *Искусство и нравственность*. М., 1986. С. 189–191.

После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу

...Для читающей публики должен я точнее определить смысл, в котором принимаю слово: народность литературы.

Как под именем народа разумеется народ в обширном смысле и народ в тесном смысле, так равномерно и под народностью литературы.

Под именем народа, в обширном смысле, разумеется целая народная личность, собирательное лицо, слагающееся из черт всех слоев народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных, слагающееся, разумеется, не механически, а органически, носящее общую, типическую, характерную физиономию, физическую и нравственную, отличающую его от других, подобных ему собирательных лиц. Что такая личность слагается органически, а не механически, это я, кажется, напрасно и прибавил. Государства, как Австрия, могут слагаться механически, народы – никогда, они могут быть плохие народы, но никогда не бывают сочиненные народы.

Под именем народа в тесном смысле разумеется та часть его, которая наиболее, сравнительно с другими, находится в непосредственном, неразвитом состоянии.

Литература бывает народна в обширном смысле, когда она в своем *миросозерцании* отражает взгляд на жизнь, свойственный всему

народу, определившийся только с большею точностью, полнотою и, так сказать, художественностью в передовых его слоях; *в типах* – разнообразные, но общие, присущие общему сознанию, сложившиеся целно и полно типы или стороны народной личности; *в формах* – красоту по народному пониманию, выработавшемся до художественности представления, будь это красота греческая, итальянская, фламандская, все равно; *в языке* – весь общий язык народа, развившийся на основании его коренных этимологических и синтаксических законов, следовательно, не язык касты, с одной стороны, не язык *местностей*, с другой. Чтобы не оставить и малейшего повода к недоразумениям, должно прибавить, что под передовыми слоями народа разумею я тоже не касты и не слои, случайно выдвинувшиеся, а верхи самосущного народного развития, ростки, которые сама из себя дала жизнь народа.

В тесном смысле литература бывает народна, когда она или 1) приносится к взгляду, понятиям и вкусам неразвитой массы для ее воспитания, или 2) изучает эту массу как *terram incognitam* (неизвестную землю (лат.)). – *Примеч. сост.*), ее нравы, понятия, язык как нечто особенное, диковинное, чудное, ознакомливая со всем этим особенным и чудным развитие и, может быть, пресытившиеся развитием слои. Во всяком случае, в том или в другом, существование такого рода народной литературы предполагает исторический факт разрозненности в народе, предполагает то обстоятельство, что народное развитие шло не путем общим, цельным, а раздвоенным.

Русский мир. 1860. № 11.

Григорьев А. А. *Искусство и нравственность*. М., 1986. С. 256–257.

В. П. БОТКИН

Стихотворения г. Фета

Самое драгоценное свойство истинно поэтического таланта и вернейшее доказательство его действительности и силы есть оригинальность и самобытность мотивов, или, говоря музыкальным выражением, мелодий, лежащих в основе его произведений. Удивительное дело! Несмотря на тысячелетия, пережитые человечеством, и на видимое однообразие человеческих страстей и чувств, выражение личной, душевной жизни человека всегда имеет для нас привлекательную, чарующую силу. Внутренняя личность каждого человека,

несмотря на свою внешнюю одинаковость, есть своего рода разнообразнейший и самобытный мир, исполненный для нас самого живейшего интереса. Разумеется, тут все зависит от достоинства и значения самой личности, от глубины ее, от богатства и многосторонности ее натуры, а главное, от искренности ее выражения. Потому прежде всего скажем мы каждому поэту и каждому писателю: будьте правдивы и искренни, если хотите, чтоб вам верили и ценили вас. Быть искренним и правдивым нелегко: только с помощью самой глубокой серьезности мысли может человек высказать свое чувство, свое воззрение на жизнь и людей, высказать действительное состояние своего сердца, и только в таком случае другие люди непременно станут сочувствовать ему – так чудно мы все связаны между собой симпатией. Нужды нет, что по воззрениям, по понятиям, по общественному положению мы можем стоять выше или ниже этого человека; во всяком случае слова его, если только они правдивы и искренни, непременно найдут отголосок внутри нас и сердце человека непременно ответит сердцу человека. Вот где заключается вечная прелесть и очарование лирической поэзии. Оригинальность и самобытность мотивов, о которых упомянули мы, есть только следствие правдивости и искренности поэта. ...

Стихи г. Фета есть пробный камень для узнавания в читающем их поэтического чувства, – мы бы должны были прибавить – чувства красоты предметов и явлений. В высшей степени одарен г. Фет этим чувством красоты: он уловляет не пластическую реальность предмета, а идеальное, мелодическое отражение его в нашем чувстве, именно красоту его, то светлое, воздушное отражение, в котором чудным образом сливаются форма, сущность, колорит и аромат его. В лирическом стихотворении, если оно имеет предметом изображения природы, – главное заключается не в самой картине природы, а в том поэтическом ощущении, которое пробуждено в нас природой; так, что здесь природа является только поводом, средством для выражения поэтического ощущения. Не надобно забывать, что призвание поэзии в этом, да и во всяком случае состоит не в фотографически верном изображении природы, – до этого никакое искусство не может достигнуть, – а в пробуждении нашего внутреннего созерцания природы. Только то и поэзия, что пробуждает это внутреннее созерцание. Отделка подробностей, конечно, имеет важное достоинство, но ведь то, что в действительности можно осмотреть и охватить од-

ним взглядом в описании и не иначе может быть представлено, как в отдельных чертах и одно за другим. Поэтому великий художественный дар нужен писателю для изображения природы, нужен великий такт для того, чтобы отдельные подробности нисколько бы не затемняли собою созерцания целого, а, напротив, только придавали бы ему красоту, колорит и рельефность для нашего внутреннего созерцания...

Действительными, кажется нам, делает вообще литературные произведения одна только поэзия; без нее остаются они мертворожденными; она одна дает им жизнь, и жизнь эта, по самому свойству всего жизненного не пропадает без следа...

Литературу называют обыкновенно выражением общества, зеркалом, где в сосредоточенном виде отражается нравственное состояние общества. Это правда; но не забудем также, что высшее развитие литературы, цвет ее – есть искусство, а прямое действие искусства есть, прежде всего, – не достижение тех или других полезных целей, а духовное наслаждение, которое оно дает человеку. Потребность этого наслаждения создает любовь к литературе. Наслаждение же это сообщается только поэзией. Одна поэзия дает самобытность и жизненность литературе. Потому, в какой бы форме, в какой бы степени ни проявлялась поэзия, – мы должны радостно приветствовать ее. Ничто так не делает человека лучше, ничто так не исцеляет его от загрубелости нрава, черствости чувств, эгоизма, – как духовное наслаждение. Всякий, почувствовавший наслаждение от какого-либо произведения искусства, непременно, хоть на самое короткое время, делается лучше. Вот в чем заключается благотворное действие литературы на общество.

Современник. 1857. № 1.

Русская критика эпохи Чернышевского и Добролюбова.
М., 1989. С. 182, 184, 190–191.

М. А. АНТОНОВИЧ

О почве

(не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)

Самым несчастным и поразительным примером того, как бессмысленные стереотипные фразы затемняют дело, производят сбивчивость в понятиях, отнимая у них отчетливость, – служат журнальные толки и споры о каком-то предмете, которому дано аллегорическое назва-

ние «почвы». Уже одно такое название показывает, что спорящие имеют неопределенное, не собственное, а ...аллегорическое понятие о предмете спора, то есть толкуют о том, чего никто из них не потрудился уяснить для себя. В таких случаях обыкновенно люди бросаются с большим удовольствием на метафорические фразы, которые бы своею неопределенностью могли обманывать всякого, вместо дела представляли бы один пустой звук, маску или ширму, удобно скрывающую за собой пустоту, недостаток внутреннего содержания. По счастливой случайности сорвется у кого-нибудь с языка неопределенная фраза, с виду как будто имеющая некоторый смысл; вот за нее и ухватятся люди, бедные мыслями, начнут жевать да пережевывать ее, играть ею, точно мячиком, придумывать для нее разные перифразы и антифразы. От частого употребления фразы глаза и уши так привыкают к ней, что никто уже не считает нужным вникать в ее смысл.

...Посмотрите на журналы, толкующие о почве почти на каждой странице, славящиеся своею почвенностью и укоряющие всех за оторванность от почвы, — чем они отличаются от прочих журналов? Решительно ничем; то есть, пожалуй, отличаются многими качествами; но эти качества служат не к чести их и не имеют ни малейшего отношения к почве. В них те же толки и рассуждения об искусстве, о жителях луны и драмах Мея, об идеалах истины, добра и красоты, которые мы слышали и прежде, когда еще и речи не было о почве. В этих рассуждениях и вообще-то нет ничего особенного, а тем более нет ничего такого, почему бы людей, предающихся таким рассуждениям, можно было назвать стоящими на почве, а не летающими в облаках. Но это еще небольшая беда, что люди, у которых постоянно на языке почва, сами стоят не на почве и не отличаются почвенностью; за это их нельзя судить. И то хорошо, что они по крайней мере сознали неудовлетворительность прежнего положения вещей, существовавшего не на почве, и почувствовали необходимость нового, которое непременно должно устроиться на почве. С их стороны было бы даже заслугой, если бы они ясно высказали, в чем и как прежний порядок оторвался от почвы и каким образом нам опять связаться с почвою, то есть точно определили и формулировали свои стремления. А то ведь и этого нет; они сами для себя не выяснили тех требований, с которыми они обращаются к другим, сами не знают, чего хотят, или хотение их так смутно и туманно, что его и понять нельзя. «Мы оторвались от почвы; наша наука, искусство и жизнь выросли

не на почве, поэтому нам нужно стать на почву», – как прикажете понимать эти фразы и что они значат такое? Если не для пользы дела, по крайней мере из снисходительности к любопытству читающей публики толкующие о почве должны бы были объяснить, что значит отрывание от почвы и какими явлениями оно обнаруживается; или, в частности, в применении, например, к науке: какие черты представляет наука, по которым ее называют оторванной от почвы, и какой вид она должна была бы иметь, если бы она коренилась в почве и всасывала в себя почвенные начала. Уже если они не могут высказать этого прямо, в точных положениях, то хоть бы по крайней мере разъяснили свой взгляд какими-нибудь противоположениями и параллелями. Иногда они сами указывают на Германию, Францию, вообще на Европу, где будто бы и наука и все другое стоит на почве; вот и прекрасно, и следовало бы показать, чем наша наука отличается от западной, какого элемента, имеющего именно отношение к почве, недостает в ней? Французская наука XVIII века была пересажена из Англии на французскую почву и пошла здесь хорошо, принесла свои плоды; она же была пересажена в Германию, – и тут ничего, пошла успешно. Подобным образом и наша наука не выросла на туземной почве, а тоже пересажена из-за моря, что же с нею случилось такое, что она вдруг оказалась оторванной от почвы; не принялась она, что ли, засохла и увяла? Но в таком случае ее нет вовсе, и нечего толковать о науке. Да вообще, уж если бы почвенники имели определенные и ясные понятия насчет отрывания от почвы и стояния на ней, они непременно разъяснили бы их и для других каким-нибудь другим способом, кроме указанного нами. А то ведь читающая публика находится в совершенном неведении причин, по которым ее обзывают оторванной от почвы и летающей в облаках.

Наконец, уж в самое недавнее время «почву» стали переводить словом «народ» и все фразы о почве применять к народу. Конечно, перевод этот довольно вольный, и переводчики не объясняют, в каком смысле народ может быть назван почвою и какое у него сходство с нею; но все-таки и то уж большой шаг вперед, что на место совершенно пустой фразы явилось слово, имеющее хоть какое-нибудь определенное содержание; вместо «соединения с почвою» некоторые стали говорить «соединение или сближение с народом». Последние слова тоже слишком неопределенны и много смахивают на фразу, но в них все-таки видна мысль, у которой ясны по крайней мере элемен-

ты, хоть и не выражено точно их взаимное отношение. «Не народ», или, точнее, «не простой народ», и потом народ черный, или почва, – вот эти два элемента, сами по себе еще довольно определенные; по крайней мере их удобно и возможно как-нибудь разграничить, хотя рассуждающим о сближении и в голову не приходило провести резкую черту между народом, который должен сблизиться, и народом, с которым должно сблизиться. Говорят вообще, наше общество разорвано на две части, на две народности, а на самом-то деле оно состоит не из двух, а, пожалуй, из целого десятка народностей; но на это наши сближатели не обращают никакого внимания. Они делят народности не по тем признакам, которыми обыкновенно определяется народность, а по признакам случайным, по развитию и образованию, так сказать по степени учености; народности же действительные, различные между собою по натуре, по складу ума и характера, для них как будто не существуют и не входят в круг их рассуждений и вопросов; поэтому они и видят в нашем обществе только две части: с одной стороны, верхний слой его, куда относятся более или менее образованные и полубразованные люди, занимающиеся науками, искусствами, ведущие жизнь на европейский манер, имеющие право или претензию называть себя цивилизованными людьми; с другой стороны, масса простого народа, без науки, искусства, культуры и других атрибутов цивилизации. Между ними будто бы существует огромная непроходимая пропасть, ров, бездна, – положим, хоть бездны даже и нет, а все-таки различие есть, и оно очень заметно. Говорят далее, будто бы таким образом разорвала наше общество реформа Петра I, – а может быть, кроме этого оно еще разрывалось само собою, вследствие общих, не исторических только, а и социальных причин, которые везде, и не у нас одних, произвели и производят подобный разрыв. Но, как бы то ни было, теперь требуется соединить эти две различные, или, пожалуй, противоположные, части, сблизить их между собою; если в неизбежности этого сближения и не все согласны, по крайней мере все признают его пользу и многие искренно его желают. Этим и оканчивается относительная ясность и определенность дела и общее согласие во взглядах на предмет. А вот уж самое сближение – совершенная темень, вещь мудреная и весьма смутно понимаемая. Каково должно быть это сближение, в каком смысле оно возможно, кто и как должен сделать первый шаг, с чьей стороны должно быть больше уступок, какие элементы внесет в будущее общее со-

единение та и другая сторона, – на эти вопросы вы нигде не найдете определенного ответа. ... «Стать на почву, сблизиться с почвою, с народом», «возвратиться к почве» – и больше решительно ничего, так что наконец даже становится досадно, на что вас заморили фразами, измучили совершенно напрасными поисками и напряжениями. К главному мотиву фразы вроде припева иногда прибавляется «грамотность» и ее распространение в народе; народу нужна грамотность, она засыплет ров, отделяющий нас от народа. Итак, вот к какому скромному результату привели высокопарные и глубокомысленные фразы о почве и о сближении с народом; стояние на почве, укоренение науки, искусства и жизни в почву суть таким образом не что иное, как учение и грамотность народа. Мало, очень мало; но зато хоть ясно по крайней мере, хоть требование-то предлагается определенное и понятное, слава богу и за это; на место фраз явилась мысль и дело. Итак, мы должны оставить теперь в стороне и народность, и почву, и сближение с народом и должны ограничиться скромными рассуждениями о грамотности.

До того времени, когда грамотность распространяется повсюду и повсеместно и когда образуется весь народ, придется очень долго сидеть и ждать у моря погоды. Да едва ли когда-нибудь и можно дожидаться этого. Вон и у самых почвенных народов грамотность распространена не повсеместно, и еще нигде не видано было примера, чтобы вся почва была грамотна и учена. В Англии, положим, много грамотных между простым народом, однако ж это не мешает им бедствовать самым отличным образом. Германия – страна ученая, идеал почвенной учености, однако тоже страдает порядочно. Во всяком случае, значит, никак нельзя сваливать всего на почву и на грамотность. Мы теперь оправдываем свою апатию и бездействие тем, что мы оторвались от почвы, что почва неграмотна. Но когда почва соединится с верхним слоем, все-таки верхний же слой будет играть главную роль, ему будет принадлежать инициатива, от которой он, стало быть, и теперь не должен отказываться. Да и то сказать: мы вот все грамотны и образованны хоть понемногу, однако не можем похвалиться собою. Как знать, может быть то же будет и с почвою, когда она научится грамоте; образование, быть может, и ее не выведет из апатии, как не вывело нас, и она также будет оправдываться указанием на верхний слой, без которого-де почва ничего не значит. Мы не называем грамотность вредною и желаем ее распространения; а приведенные нами

соображения относительно тех случаев, когда грамотность и образование могут привести к печальным результатам, клонились единственно и исключительно только к тому, чтобы показать, что народ, предоставленный самому себе и своему настоящему течению, не далеко уйдет по пути развития, что верхний слой необходимо должен помогать ему. Грамотность прекрасное дело: но ее одной еще недостаточно. Каким образом посредством грамотности вы разрешите проблему? Для народа нужна, как выражаются, усиленная грамотность, он должен учиться много и прилежно, так как теперь он почти ничего не знает и не умеет; – такое требование предлагается народу с полной уверенностью в возможности его исполнения. – Латинская пословица говорит: «satur venter non studet libenter», а русская переделывает ее так: «сытое брюхо на учение глухо» – значит, для прилежного учения требуется некоторого рода пост и содержание желудка постоянно впроголодь; и самое учение начинается, таким образом, «с голоду» и приводит к голоду. И действительно, некоторые утверждают, что если народ захочет учиться и пойдет в университет, то ему нечего будет есть, и все мы вместе с ним будем голодать. Это опасение справедливо; но так же, если еще не более, справедливо и противоположное опасение, что народ ни за что не станет учиться и не пойдет в университет, если ему нечего есть, и с голоду он не примется за грамоту, а скорее бросится на кусок хлеба. Должно быть, также и пустое брюхо на учение глухо, и недаром говорят, что «голодной куме постоянно хлеб на уме». Как ни восхваляйте грамотность, как красноречиво ни доказывайте высокое превосходство невещественной пищи перед вещественной, а все-таки есть хочется и вам самим, и тем, кому вы рекомендуете прилежное учение; желудок всегда берет свое и первый настоятельно заявляет свои права. Поэтому голодный прежде всего желает и ищет хлеба, и за учение может приняться только тогда, когда утолит свой голод. Все это как-то грубо и материально, но тем не менее естественно и неизбежно. Даже возвышенные эстетические наслаждения подчиняются желудку, или, выражаясь деликатнее, чувству голода. Откормленный господин из верхнего слоя с удовольствием заглядится на группу прекрасно нарисованных яблоков и картофеля; а голодный член почвы предпочтет этим произведениям искусства естественные яблоки и картофель; первый до самозабвения залюбуется поэтической картиной, как «волнуется желтеющая нива и темный лес шумит при звуке ветерка», а последний с неудо-

вольствием отвернется от этой картины; ему бы – безвкусуному невежде – хотелось прозаической материальной нивы и такого же леса. Вот, видите ли, везде на первом плане желудок. Сначала надо позаботиться о том, чтобы достать кусок хлеба и поесть, а потом уж можно заниматься и другими предметами, какими угодно: грамотностью, науками искусствами и проч. Что же делать? К несчастью, уж этого требует натура человеческая. Так вот и поступает народ, не ученым образом и не понаслышке, а по собственному горькому опыту знающий требования природы и права желудка.

Современник. 1861. № 12.

Антонович М. А. Литературно-критические статьи. М.: Л., 1961. С. 14–35.

Н. Н. СТРАХОВ

Бедность нашей литературы

У. Нигилизм. Причины его происхождения и силы

Нигилизм есть явление нашей умственной жизни, представляющее великое множество безобразий. ...

Прежде всего нигилизм есть некоторое западничество. Он возник под влиянием Запада, следовательно под тем влиянием, которое так давно и сильно на нас действовало и постоянно действует. Напрасно у нас некоторые критики и публицисты, ради пушшего унижения нигилизма, уверяют, что он есть наше доморощенное, туземное сумасбродство, что на Западе ничего подобного не существует, а все идет чинно, стройно и благополучно. Совершенно ясно, что умственные явления Запада дали толчки опоры для развития нашего нигилизма, явления, давно там зародившиеся, имеющие силу и будущность и потому составляющие постоянный источник, постоянную поддержку для нашего нигилистического движения. Нигилизм, какого бы оттенка он ни был, всегда характеризуется великим уважением к Западу, всегда имеет там каких-нибудь божков и оракулов, может быть, превратно понимаемых, но от всего сердца понимаемых и славимых. Это та сторона нигилизма, в которой обнаруживается недостаток у нас самостоятельного развития – наше подчинение Западу.

Во-вторых, нигилизм есть не что иное, как крайнее западничество – западничество, последовательно развившееся и дошедшее до конца. В этом отношении он представляет действительный, неизбеж-

ный прогресс, и напрасно некоторые наши западники чужаются нигилизма, утверждая, что и ныне, как встарь, можно питаться западными взглядами и идеями, нимало не впадая в нигилизм. Запад в умственном и нравственном отношении велик и многообразен. Следовательно, каждый может в нем выбирать себе по вкусу, чему следовать и подражать. На Западе много явлений отживших, межеумочных, фальшивых, но державшихся там в силу упорного консерватизма истории, консерватизма, свойственного исторической жизни, как вообще всякой жизни. ...

Но русская мысль не остановилась и не могла остановиться на этих и подобных умственных настроениях. Внутреннее расположение, естественное сродство тянули ее в другую сторону. Мы не жили исторической жизнью Запада, для нас не могли быть дороги формы, в которых она воплощалась. Эта жизнь являлась нам издали, в общем своем движении, в крупных и общих чертах, и, следовательно, по естественному ходу дел мы становились в отношении к ней в роль судей и созерцателей; мы были чужие для нее и смотрели на нее со стороны. Следовательно, нас должен был всегда привлекать некоторый *общий смысл* этой жизни, а никак не частные ее проявления. ...

Всматриваясь в общий смысл западной жизни, мы не могли не заметить той печати разрушения, которая лежит на ней, тех усилий отрицания, которые разъедают ее формы. В нашем положении мы не могли быть слепыми для этих явлений, и отрицание, развившееся на самой почве этой жизни, должно было привлечь наше полное сочувствие, так как мы у себя дома были также отрицателями. Человек, скептически относившийся к православию, по сущности дела не мог питать прочного благоговения к католицизму. Так и во всем остальном. Запад сам учил нас, что его формы преходящие, что все подчинено течению, изменению, прогрессу; и мы, столь жаждавшие изменений у себя дома, жадно примкнули к этому учению. Мы поверили всею душою теории прогресса, которая утверждала, что рано или поздно не останется в старой Европе камня на камне; мы не захотели исповедать то, что должно было скоро отжить и разрушиться, а прямо примкнули к новому, к будущему, к надеждам и порываниям вперед. ...

Собственно, мы требовали от Европы полного нравственного мерила, полного всеразрешающего взгляда, совершенно твердого руководящего начала, а ничего подобного Европа нам дать не могла. Мы оказались в положении учеников, которые сперва твердо верова-

ли в своих учителей, но мало-помалу разочаровывались в них и убедились, что ждать от них нам нечего. ...

Отсюда, казалось бы, прямой переход к признанию своей народности, к преклонению перед ее началами. Но жизнь идет медленно, и наши блуждания потому-то и имеют такую длинную и грустную историю, что вызваны нашими жизненными условиями, а не составляют простых теоретических ошибок.

Многих удивляло, что нигилизм у нас распространился и усилился тогда, когда в Европе были нанесены жестокие и почти уничтожительные удары социализму и всяческому радикализму. Но в том-то и дело, что нигилизм нельзя рассматривать как простое отражение на нас Запада, а следует видеть в нем чисто русское явление...

...Нигилизм есть отрицание всяких сложившихся форм жизни, отрицание, которое мы, в силу особенного нашего развития, заимствовали из Европы преимущественно перед многим другим и которое, в силу тех же особенностей развития, стало у нас хроническим.

Как мысль, органически привившаяся, нигилизм органически и развивается, изнутри, собственной силою, не требуя стороннего руководства и поддержки, а нуждаясь только в *пище*, которую он уже способен претворить в свою плоть. ...

Нигилизм есть прежде всего и главное всего – отрицание; это его основная и здоровая, правильная черта. Все, что может служить опорой для отрицания, все, что дает отрицанию разумность и право, все идет впрок нигилизму, составляет его законную пищу, законный источник. Русская жизнь, которою в сущности дела вызывается это отрицание, вызывает его с двух сторон. Слабость нашего духовного развития, неясность, неформулированность его глубоких основ внушают смелость отрицать эти основы, отвергать их состоятельность в силу тех требований и задач, с которыми мы, по-видимому, имеем полное право приступать к ним. С другой стороны, безобразия, которыми преисполнена русская жизнь, составляют еще более распространенную и общедоступную пищу отрицания. Можно сказать утвердительно, что каждое безобразие, творимое ныне на русской земле, имеет своим непосредственным следствием, между прочим, и усиление нигилизма, отражается в его пропорциональном наращении.

Эта здоровая сторона нигилизма никогда не должна быть упускаема из виду. Скептицизм, недоверие, отсутствие наивности, насмешливость, бездеятельная, но умная лень – все эти черты русского характера находят здесь себе исход.

Но тут же обнаружились и другие, более плачевные черты: в русской натуре есть задаток глубокого цинизма, составляющего как бы противовес чистому и высокому энтузиазму, тоже несомненно тающемуся в русских душах. Совершенно ясно, что в русском характере лежат какие-то непримиренные требования, какие-то одно другому противоречащие стремления. Трудно нам проникнуться к чему-либо пламенным восторгом, и ядовитая струйка северного холода готова примешаться к каждому нашему увлечению.

Холодность, доходящая до цинизма, до отрицания всех теплых и живых движений души человеческой, составляет ту почву, на которой удобно укрепились и разрослись известные учения нигилизма. Непонимание искусства составляет здесь явление, параллельное глубокому непониманию жизни. Целые ряды человеческих чувств и отношений занесены нигилизмом в разряд фальшивых явлений; вся индивидуализирующая, фигурная, цветная сторона жизни подвергается отрицанию. Весьма замечательно, что с понятием такой обесцвеченной жизни у нас сочетался некоторый эвдемонизм, детское представление, будто жизнь, лишенная своей формирующей силы, не имеющая никаких центров тяжести, чуждая всяческих красок и всякой перспективы, будет легче, спокойнее, радостнее.

Эти бледные фантазии, может быть, составляют только доказательство того, как бледна, как мало имеет нормального содержания действительная жизнь, среди которой они возникают. Вообще, нигилизм представляет в себе много молодого, так как молодость предполагает незнакомство с жизнью. В нигилизме отразилось то, что мы еще чужды настоящей жизни, политической, общественной, научной, художественной и проч.

Итак, нельзя не видеть, что нигилизм, хотя развивался под влиянием Запада, но главные свои условия нашел в особенностях нашего внутреннего развития. Самая лучшая и самая важная сторона есть попытка *освобождения ума* от тех уз, которые тяготеют над русским человеком. Очень смешны эти господа, решающие ныне всяческие вопросы собственным умом; весьма нелепы решения, к которым они приходят; но самый принцип, порождающий эти дикие попытки, нисколько не смешон и не нелеп. Жизнь требует какого-нибудь выхода. Ужели можно было ждать чего-нибудь нормального и красивого от людей, разорвавших связь со своею историею и народностью? Подчинение чужой истории, чужой духовной жизни ... не есть выход, а только продолжение той нелепости, того же разрыва. Волей-

неволей приходилось равно оттолкнуть от себя и ту и другую сторону, остаться на воздухе между небом и землею, и мечтать о переселении на луну или, по крайней мере на необитаемый остров, где можно было бы завести новое человечество.

Положение дикое, но неизбежное, требуемое ходом дела и представляющее шаг вперед в нашем мудреном развитии.

Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868.
Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 44–92.

Отцы и дети (Время. 1862. № 4)

Система убеждений, круг мыслей, которых представителем является Базаров, более или менее ясно выражались в нашей литературе. Главными их выразителями были два журнала: «Современник» и «Русское слово», недавно заявившее их с особенною резкостью. ... Так что остается только один вопрос: верно ли схвачено базаровское направление?

В этом отношении для нас существенно важны отзывы тех самых журналов, которые прямо заинтересованы в деле, именно «Современника» и «Русского слова». Из этих отзывов должно вполне обнаружиться, насколько верно Тургенев понял их дух. Довольны ли они или недовольны, поняли Базарова или не поняли, – каждая черта здесь характеристична.

Оба журнала поспешили отозваться большими статьями. В мартовской книжке «Русского слова» явилась статья г. Писарева («Базаров». – *Примеч. сост.*), а в мартовской книжке «Современника» – статья Антоновича («Асмодей нашего времени». – *Примеч. сост.*). Оказывается, что «Современник» весьма недоволен романом Тургенева. Он думает, что роман написан в укор и поучение молодому поколению, что он представляет клевету на молодое поколение и может быть поставлен наряду с «Асмодеем нашего времени», соч. Аскоченского.

Совершенно очевидно, что «Современник» желает убить г. Тургенева во мнении читателей, убить наповал, без всякой жалости. Это было бы очень страшно, если бы только так легко было это сделать, как воображает «Современник». Не успела выйти в свет его грозная книжка, как явилась статья г. Писарева, составляющая столь радикальное противоядие злым намерениям «Современника», что лучше ничего не остается желать. «Современник» рассчитывал, что поверят на слово в этом деле. Ну, может быть, найдутся такие, что и

усумнятся. Если бы мы стали защищать Тургенева, нас тоже, может быть, заподозрили бы в задних мыслях. Но кто усумнится в г. Писареве? Кто ему не поверит?

Если чем известен г. Писарев в нашей литературе, так именно прямою и откровенностью своего изложения. Г. Писарев никогда не лукавит с читателями; он договаривает свою мысль до конца. Благодаря этому драгоценному свойству роман Тургенева получил блистательнейшее подтверждение, какого только можно было ожидать.

Г. Писарев, человек молодого поколения, свидетельствует о том, что Базаров есть действительный тип этого поколения и что он изображен совершенно верно. «Все наше поколение, – говорит г. Писарев, – со своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа». «Базаров – представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах, и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателей». «Тургенев вдумался в тип Базарова и понял его так верно, как не поймет ни один из молодых реалистов». ...

Вот искреннее и неопровержимое свидетельство того, как верен поэтический инстинкт Тургенева; вот полное торжество всепокоряющей и всепримиряющей силы поэзии!

В подражание г. Писареву мы готовы воскликнуть: честь и слава художнику, который дождался такого отзыва от тех, кого он изображал. ...

Доказав фактами, что г. Тургенев понимает Базаровых по крайней мере настолько, насколько они сами себя понимают, мы теперь пойдем дальше и покажем, что Тургенев понимает их гораздо лучше, чем они сами себя понимают. Тут нет ничего удивительного и необыкновенного: таково всёгдашнее преимущество, неизменная привилегия поэтов. Поэты ведь – пророки, провидцы; они проникают в самую глубину вещей и открывают в них то, что оставалось скрытым для обыкновенных глаз. Базаров есть тип, идеал, явление, «возведенное в перл создания»; понятно, что он стоит выше действительных явлений базаровщины. Наши Базаровы – только Базаровы отчасти, тогда как Базаров Тургенева есть Базаров по превосходству, по преимуществу. И, следовательно, когда о нем станут судить те, которые не доросли до него, они во многих случаях не поймут его.

Наши критики, даже и г. Писарев, недовольны Базаровым. Люди отрицательного направления не могут помириться с тем, что Базаров

в отрицании дошел до конца. В самом деле, они недовольны героем за то, что он отрицает 1) изящество жизни, 2) эстетическое наслаждение, 3) науку. Разберем эти три отрицания подробнее; таким образом нам уяснится сам Базаров. ...

Чтобы резче выставить простоту Базарова, Тургенев противопоставил ей изысканность и щепетильность Павла Петровича. От начала до конца повести автор не забывает подсмеяться над его воротничками, духами, усами, ногтями и всеми другими признаками нежного ухаживания за собственной особой. Не менее юмористически изображено обращение Павла Петровича, его *прикосновение усами* вместо поцелуя, его ненужные деликатности и пр.

После этого очень странно, что почитатели Базарова недовольны его изображением в этом отношении. Они находят, что автор придал ему *грубые манеры*, что он выставил его *неотесанным, дурно воспитанным*, которого *нельзя пустить в порядочную гостиную*. Так выражается г. Писарев и на этом основании приписывает г. Тургеневу *коварный умысел уронить и опошлить* своего героя в глазах читателей. По мнению г. Писарева, Тургенев поступил весьма несправедливо; «можно быть крайним материалистом, полнейшим эмпириком и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно-вежливо со своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом». ...

Изящные манеры и хороший туалет, конечно, суть вещи хорошие, но мы сомневаемся, чтобы они были к лицу Базарову и шли к его характеру. Человек, глубоко преданный одному делу, предназначивший себя, как он сам говорит, для «жизни горькой, терпкой, бобыльной», он ни в каком случае не мог играть роль утонченного джентльмена, не мог быть собеседником. Он легко сходится с людьми; он живо заинтересовывает всех, кто его знает; но этот интерес заключается вовсе не в тонкости обращения.

Глубокий аскетизм проникает собою всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая. Характер этого аскетизма совершенно особенный, и в этом отношении должно строго держаться настоящей точки зрения, то есть той самой, с которой смотрит Тургенев. Базаров отрекается от благ этого мира, но он делает между этими благами строгое различие. Он охотно ест вкусные обеды и пьет шампанское; он не прочь даже поиграть в карты. Г. Антонович в «Современнике» видит здесь тоже *коварный умысел* Тургенева.

нства и уверяет нас, что поэт выставил своего героя *обжорой, пьян-чужской и картежником*. Дело, однако же, имеет совсем не такой вид. Базаров понимает, что простые или чисто телесные удовольствия гораздо законнее и простительнее наслаждений иного рода. Базаров понимает, что есть соблазны более гибельные, более растлевающие душу, чем, например, бутылка вина, и он бережется не того, что может погубить тело, а того, что погубляет душу. Наслаждение тщеславием, джентльменством, мысленный и сердечный разврат всякого рода для него гораздо противнее и ненавистнее, чем ягоды со сливками или пулька в преферанс. Вот от таких соблазнов он бережет себя; вот тот высший аскетизм, которому предан Базаров. За чувственными удовольствиями он не гоняется, он наслаждается ими только при случае; он так глубоко занят своими мыслями, что для него никогда не может быть затруднения отказаться от этих удовольствий; одним словом, он потому предается этим простым удовольствиям, что он всегда выше их, что они никогда не могут завладеть им. Зато тем упорнее и суровее он отказывается от таких наслаждений, которые могли бы стать выше его и завладеть его душою.

Вот откуда объясняется и то более разительное обстоятельство, что Базаров отрицает эстетические наслаждения, что он не хочет любоваться природою и не признает искусства. Обоих наших критиков это отрицание искусства привело в великое недоумение.

«Мы отрицаем, — пишет г. Антонович, — только ваше искусство, вашу поэзию, г. Тургенев; но не отрицаем и даже требуем другого искусства и поэзии, хоть такой поэзии, какую представил, например, Гете». ...

Вот неожиданный и, признаемся, весьма сомнительный факт! Давно ли же это «Современник» сделался поклонником тайного советника Гете. «Современник» ведь очень много говорит о литературе; он особенно любит стихишки. Чуть, бывало, появится сборник каких-нибудь стихотворений. Уж на него непременно пишется разбор. Но чтобы он много толковал о Гете, чтобы ставил его в образец, — этого, кажется, вовсе не бывало. ...

Да и возможное ли дело, чтобы «Современник» восхищался Гете, эгоистом Гете, который служит вечною ссылкою для поклонников искусства для искусства, который представляет образец олимпийского безучастия к земным делам, который пережил революцию, покорение Германии и войну освобождения, не принимая в них сердечного участия, глядя на все события свысока!..

...Если г. Антонович столь неожиданно объявил себя приверженцем Гете, то это еще не доказывает, что молодое поколение расположено упиваться гетевскою поэзией, что оно учится у Гете наслаждаться природою...

...Гораздо прямее и откровеннее излагает дело г. Писарев. Он также находит, что, отрицая искусство, Базаров *завирается*, отрицает вещи, *которых не знает или не понимает*. «Поэзия, – говорит критик, – по его мнению, ерунда; читать Пушкина – потерянное время; заниматься музыкою – смешно; наслаждаться природою – нелепо». Для опровержения таких заблуждений г. Писарев не прибегает к авторитетам, как сделал г. Антонович, но старается собственноручно объяснить нам законность эстетических наслаждений. Отвергать их, говорит он, нельзя: ведь это значило бы отвергать наслаждение «приятным раздражением зрительных и слуховых нервов». Ведь, например, «наслаждение музыкою есть чисто физическое ощущение». «Последовательные материалисты, вроде Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам в употреблении наркотических веществ. Они смотрят снисходительно даже на нарушения должной меры, хотя признают подобные нарушения вредными для здоровья». «Отчего же, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения природою». И точно так, если можно пить водку, то отчего же нельзя читать Пушкина. Отсюда мы уже должны ясно видеть, что так как Базаров допускал питье водки и сам ее пил, то он поступает непоследовательно, смеясь над чтением Пушкина и над игрою на виолончели.

Очевидно, Базаров смотрит на вещи не так, как г. Писарев. Г. Писарев, по-видимому, признает искусство, а на самом деле он его отвергает, то есть не признает за ним его настоящего значения. Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже понимает его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто физическое занятие, и читать Пушкина не все равно, что пить водку. В этом отношении герой Тургенева несравненно выше своих последователей. В мелодии Шуберта и в стихах Пушкина он ясно слышит враждебное начало; он чувствует их всеувлекающую силу и потому вооружается против них.

В чем же состоит эта сила искусства, враждебная Базарову? Выражаясь как можно проще, можно сказать, что искусство есть нечто слишком *сладкое*, тогда как Базаров никаких сладостей не любит, а предпочитает им горькое. Выражаясь точнее, но несколько старым

языком, можно сказать, что искусство всегда носит в себе элемент *примирения*, тогда как Базаров вовсе не желает примириться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерцание, отрешение от жизни и поклонение идеалам; Базаров же реалист, не созерцатель, а деятель, признающий одни действительные явления и отрицающий идеалы. ...

Восторг – вот зло, против которого идет Базаров и которого он не имеет причины опасаться от рюмки водки. Искусство имеет притязание и силу становиться гораздо выше приятного раздражения зрительных и слыхательных нервов; вот этого-то притязания и этой власти не признает законными Базаров. ...

Конечно, искусство непобедимо и содержит в себе неистощимую, вечно обновляющуюся силу; тем не менее веяние нового духа, которое обнаружилось в отрицании искусства, имеет, конечно, глубокое значение.

Оно особенно понятно для нас, русских. Базаров в этом случае представляет живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному; мы для этого слишком трезвы, слишком практичны. Сплошь и рядом можно найти между нами людей, для которых стихи и музыка кажутся чем-то приторным или ребяческим. Восторженность и высокопарность нам не по нутру; мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на этот счет, как видно из романа, Базаров сам великий художник.

Пойдем далее. Базаров отрицает науку. На этот раз наши критики разделились. Г. Писарев вполне понимает и одобряет это отрицание, г. Антонович принимает его за клевету, взведенную Тургеневым на молодое поколение.

«Курс естественных и медицинских наук, прослушанный Базаровым, – говорит г. Писарев, – развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным источником познания, личное ощущение – единственным и последним убедительным доказательством. *Я придерживаюсь отрицательного направления*, – говорит он, – *в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и basta! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения – это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу*». Итак, – заключает критик, – ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя Базаров

не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого (теоретического) принципа».

Что касается до г. Антоновича, то такое умственное настроение Базарова он считает весьма нелепым и позорным. Весьма жаль только, что, как он ни усиливается, он никак не может показать, в чем же состоит эта нелепость. «Разберите, – говорит он, – приведенные выше воззрения и мысли, выдаваемые романом за современные: разве они не походят на кашу? Теперь «нет принципов, то есть ни одного принципа не принимают на веру»; да самое же это решение не принимать ничего на веру и есть принцип!».

Конечно, так. Однако же, какой же хитрый человек г. Антонович: нашел противоречие у Базарова! Тот говорит, что у него нет принципов, – и вдруг оказывается, что есть!

«И ужели этот принцип нехорош? – продолжает г. Антонович. – Ужели человек энергический будет отстаивать и проводить в жизнь то, что он принял извне, от другого, на веру, и что не соответствует всему его настроению и всему его развитию?».

Ну вот это странно. Против кого вы говорите, г. Антонович? Ведь вы, очевидно, защищаете принцип Базарова; а ведь вы собрались доказывать, что у него каша в голове. Что же это значит?

Но чем дальше, тем удивительнее.

«И даже, – пишет критик, – когда принцип принимается на веру, это делается не беспричинно, а вследствие какого-нибудь основания, лежащего в самом же человеке. Есть много принципов на веру; но признать тот или другой из них зависит от личности; от ее расположения и развития; значит, все сводится к авторитету, который заключается в личности человека (*т. е. как говорит г. Писарев, личное ощущение есть единственное и последнее убедительное доказательство*); он сам определяет и внешние авторитеты, и значение их для себя. И когда молодое поколение не принимает ваших *принципов* (по произношению Павла Петровича), значит они не удовлетворяют его натуре; внутренние побуждения (ощущения?) располагают в пользу других *принципов*».

Яснее дня, что все это суть базаровские идеи. Г. Антонович, очевидно, против кого-то ратует; но против кого, неизвестно; потому что все, что он говорит, служит подтверждением мнений Базарова, а никак не доказательством, что они представляют *кашу*. ...

Уже отсюда можно видеть, что воззрения Базарова не представляют каши, как старается уверить критик, а, напротив, образуют твер-

дую и строгую цепь понятий. Вражда против науки есть также современная черта, и даже более глубокая и более распространенная, чем вражда против искусства. Под наукою мы разумеем именно то, что разумеется под *наукою вообще* и что, по мнению нашего героя, не существует вовсе. Наука для нас не существует, как скоро мы признаем, что она не имеет никаких общих требований, никаких общих методов и общих законов, что каждое знание существует само по себе. Такое отрицание отвлеченности, такое стремление к конкретности в самой области отвлечения, в области знания, составляет одно из веяний нового духа.

...Отрицание отвлеченных понятий, отрицание мысли составляет следствие более крепкого, более прямого признания действительных явлений, признания жизни. Это разногласие между жизнью и мыслью никогда так сильно не чувствовалось, как теперь. Оно проявляется в бесчисленных формах и есть важное современное явление. Никогда еще философия не играла такой жалкой роли, как в настоящее время. ...Всего более разрабатываются, всего более уважаются всеми естественные науки, т. е. науки, для которых исходом служат факты, частные явления. Другие науки потеряли то уважение, которым некогда пользовались. Мы даже привыкли к мысли, что они несколько портят человека, уродуют его, а не возвышают. Мы знаем, что занятия науками отвлекают от жизни, порождают доктринеров, мешают живому сочувствию к современности.

Ученость стала для нас подозрительною; кафедра потеряла свое значение, история – свой авторитет. Это обратное движение ума, это самоотвержение мысли совершается с глубокою силою и составляет один из существенных элементов современной умственной жизни. ...

Отсюда понятно, что все Базаровы-болтуны, Базаровы-проповедники, Базаровы, занятые не делом, а только своею базаровщиною, – идут по ложному пути, который приводит их к непрерывным противоречиям и нелепостям, что они гораздо непоследовательнее и стоят гораздо ниже настоящего Базарова.

Вот какое строгое настроение ума, какой твердый склад мыслей воплотил Тургенев в своем Базарове. Он одел этот ум плотью и кровью и исполнил эту задачу с удивительным мастерством.

Время. 1862. № 4.

Страхов Н. Литературная критика. М., 1984. С. 184–210.

7. ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ЛОНДОНЕ

Братьям на Руси*

Отчего мы молчим?

Неужели нам нечего сказать?

Или неужели мы молчим оттого, что мы не смеем говорить?

Дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться инде, если только ее время пришло.

Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв.

Открытая, вольная речь – великое дело; без вольной речи – нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние. Скрывается только слабое, боящееся, незрелое. «Молчание – знак согласия», – оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознannую безвыходность.

Открытое слово – торжественное признание, переход в действие.

Время печатать по-русски вне России, кажется нам, пришло.

Ошибаемся мы или нет – это покажете вы.

Я первый снимаю с себя вериги чужого языка и снова принимаюсь за родную речь.

Охота говорить с чужими проходит. Мы им рассказали как могли о Руси и мире славянском; что можно было сделать – сделано.

Но для кого печатать по-русски за границу, как могут расхотиться в России запрещенные книги?

Если мы все будем сидеть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием, если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти, тогда долго не придут еще для России светлые дни.

Ничего не делается само собою, без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека – страшно велика. ...

Присылайте что хотите, все писанное в духе свободы будет напечатано, от научных и фактических статей по части статистики и истории до романов, повестей и стихотворений.

* Литографированный листок, выпущенный Герценом перед открытием Вольной русской типографии.

Мы готовы даже печатать безденежно.

Если у вас нет ничего готового, своего, пришлите ходящие по рукам запрещенные стихотворения Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Печерина и др.

Приглашение наше столько же относится к панславистам, как ко всем свободномыслящим русским. От них мы имеем еще больше права ждать, потому что они исключительно занимаются Русью и славянскими народами.

Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет – это останется на вашей совести.

Если мы не получим ничего из России – это будет не наша вина. Если вам покой дороже свободной речи – молчите.

Но я не верю этому – до сих пор никто ничего не печатал по-русски за границею, потому что не было свободной типографии. С первого мая 1853 типография будет открыта. Пока, в ожидании, в надежде получить от вас что-нибудь, я буду печатать свои рукописи.

Еще в 1849 году я думал начать в Париже печатание русских книг; но, гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий, я не мог исполнить моего предприятия. К тому же я был увлечен; много времени, сердца, жизни и средств принес я на жертву западному делу. Теперь я себя в нем чувствую лишним.

Быть вашим органом, вашей свободной, бесцензурной речью – вся моя цель.

Не столько нового, своего хочу я вам рассказывать, сколько воспользоваться моим положением для того, чтоб вашим невысказанным мыслям, вашим затаенным стремлениям дать гласность, передать их братьям и друзьям, потерянным в немой дали русского царства. (...)

Александр Герцен (Искандер).

Лондон, 21 февраля 1853.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений. Пб., 1919. Т. 7. С. 186–188.

Крещеная собственность

С детских лет я бесконечно любил наши села и деревни, я готов был целые часы, лежа где-нибудь под березой или липой, смотреть на почернелый ряд скромных, бревенчатых изб, тесно прислоненных друг к другу, лучше готовых вместе сгореть, нежели распасться, слушать заунывные песни, раздающиеся во всякое время дня, вблизи, вдали... С полей несет сытным дымом овинов, свежим сеном, из

лесу веет смолистой хвоей и скрипит запущенный колодезь, опуская бадью, и гремит по мосту порожняя телега, подгоняемая молодецким окриком...

В нашей бедной, северной, долинной природе есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельские виды наши не задвинулись в моей памяти ни видом Сорренто, ни Римской Кампаньей, ни насупившимися Альпами, ни богато возделанными фермами Англии. Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, в нашей стелющейся природе что-то мирное, доверчивое, раскрытое, незащищенное и кротко грустное. Что-то такое, что поется в русской песне, кровно отзывается в русском сердце.

И какой славный народ живет в этих селах! ...

Деревенские мещане-собственники составляют на Западе слой народонаселения, который тяжело налег на сельский пролетарий и душит его, по мелочи и на чистом воздухе, так, как фабриканты душат работников гуртом в чаду и смраде своих рабочих домов.

Сословие сельских собственников почти везде отличается изуверством, несообщительностью и скупостью; оно сидит назаперти в своих каменных избах, далеко разбросанных и окруженных полями, отгороженными от соседей. Поля эти имеют вид заплат, положенных на земле. На них работает батрак, бобыль, словом, сельский пролетарий, составляющий огромное большинство всего полевого населения.

Мы, совсем напротив, государство сельское, наши города – большие деревни, тот же народ живет в селах и городах; разница между мещанами и крестьянами выдумана петербургскими немцами. У нас нет потомства победителей, завоевавших нас, – ни раздробления полей в частную собственность, ни сельского пролетариата; крестьянин наш не дичает в одиночестве – он вечно на миру и с миром, коммунизм его общинного устройства, его деревенское самоуправление делают его сообщительным и развязным.

При всем том половина нашего сельского населения гораздо несчастнее западного, мы встречаем в деревнях людей сумрачных, печальных, людей, которые тяжело и невесело пьют зеленое вино, у которых подавлен разгульный славянский нрав, – на их сердце лежит, очевидно, тяжкое горе.

Это горе, это несчастье – крепостное состояние. ...

Зачем наш народ попал в крепость, как он сделался рабом? Это не легко растолковать.

Все было до того нелепо, безумно, что за границей, особенно в Англии, никто не понимает.

Как, в самом деле, уверить людей, что половина огромного народонаселения, сильного мышцами и умом, была отдана правительством в рабство без войны, без переворота, рядом полицейских мер, рядом тайных соглашений, никогда не высказанных прямо и не оглашенных как закон.

А ведь дело было так, и не бог знает когда, а два века тому назад.

Крестьянин был обманут, взят врасплох, загнан правительственным кнутом в капканы, приготовленные помещиками, загнан малопомалу, по частям, в сети, расставленные приказными; прежде нежели он хорошенько понял и пришел в себя – он был крепостным. ...

Торг людьми идет не хуже, как в Кубе или в Малой Азии. Правда, стыдливое и целомудренное правительство запретило объявлять о продаже людей. В газетах скромно и бессмысленно печатают: «Отпускается в услужение кучер, лет 35, здорового сложения, с обкладистой бородой и честного поведения, или девка лет 18, прекрасного поведения и годная на всякую службу».

Это лицемерие, этот полустыд, эта неловкая ложь пойманного на деле вора – в устах самодержавия имеет в себе что-то безгранично подлое.

Самое существование несчастного сословия дворовых людей – незаконное, ничем не определенное и зависящее вполне от помещика. Сколько крестьян может взять помещик во двор из деревни, сколько рук отнять у семей? Он может взять жену у мужа и делать ее прачкой у себя в доме, он может взять последнего сына у старика отца и сделать из него лакея; пока помещик не уморил с голоду или не убил физически своего крепостного человека, он прав, перед законом и ограничен только одним – топором мужика. Им, вероятно, и разрубится запутанный узел помещичьей власти. ...

Народ русский все вынес, но удержал общину, община спасет народ русский; уничтожая ее, вы отдадите его, связанного по рукам и ногам, помещику и полиции. И коснуться до нее, в то время когда Европа оплакивает свое раздробление полей и всеми силами стремится к какому-нибудь общинному устройству!

Говорят, что община поглощает личность и что она несовместна с ее развитием. В этом мнении есть доля правды. Всякий неразвитой коммунизм подавляет отдельное лицо. Но не надобно забывать, что

русская жизнь находила сама в себе средства отчасти восполнить этот недостаток. Сельская жизнь образовала рядом с неподвижной, мирной, хлебопашенной деревней подвижную общину работников – артель и военную общину казаков. ...

Само собою разумеется, что ни в коммунизме деревень, ни в казачьих республиках мы не могли бы найти удовлетворения нашим стремлениям. Все это было слишком дико, молодо, неразвито, но из этого не следует, что нам должно ломать эти незрелые начинания, – напротив, их надобно продолжать, развивать, образовывать. Тут нет большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину, в то время как германские народы ее утратили, но это большое счастье, и его не надобно выпускать из рук. ...

Народ русский ничего не приобрел ... он сохранил только свою незаметную, скромную общину, т. е. владение сообща землею, равенство всех без исключения членов общины, братский раздел полей по числу работников и собственное мирское управление своими делами. Вот и все приданое Сандрильоны (Сандрильона – Золушка. – *Примеч. сост.*), – зачем же отнимать последнее? ...

1853 год.

Отдельное издание Вольной русской типографии в Лондоне.
Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954. Т. 12. С. 97–112.

Объявление о «Полярной звезде»

Да здравствует разум!

А. Пушкин

Полярная звезда скрылась за тучами николаевского царствования (имеется в виду альманах «Полярная звезда», издававшийся в 1823–1825 годах К. Ф. Рылевым и А. А. Бестужевым. – *Примеч. сост.*).

Николай *прошел*, и «Полярная звезда» является снова, в день нашей Великой Пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями.

Русское периодическое издание, выходящее без цензуры, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, чтоб показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство.

Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою; мысль будет деятельнее, новые

вопросы возникнут – неужели и они должны затеряться, заглухнуть? – Мы не думаем. Казенная Россия имеет язык и находит защитников даже в Лондоне. А юная Россия, Россия будущего и надежд не имеет ни одного органа.

Мы предлагаем его ей.

С 18 февраля (2 марта) Россия вступает в новый отдел своего развития. Смерть Николая больше, нежели смерть человека, смерть начал, неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела. При его жизни они могли кой-как держаться, упроченные привычкой, опертые на железную волю.

После его смерти – нельзя продолжать его царствования. ...

План наш чрезвычайно прост. Мы желали бы иметь в каждой части одну общую статью (философия революции, социализм), одну историческую или статистическую статью о России или о мире славянском; разбор какого-нибудь замечательного сочинения и одну оригинальную литературную статью; далее идет смесь, письма, хроника и пр. «Полярная звезда» должна быть – и это одно из самых горячих желаний наших – убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею. Мы в третий раз обращаемся с просьбой ко всем грамотным в России доставлять нам списки Пушкина, Лермонтова и др., ходящие по рукам, известные всем. ...

Рукописи погибнут наконец – их надобно закрепить печатью...

25 марта (6 апреля) 1855.

Отдельное издание Вольной русской типографии в Лондоне.
Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954. Т. 12. С. 265–271.

Предисловие к «Колоколу»

«Полярная звезда» выходит слишком редко, мы не имеем средств издавать ее чаще. Между тем события в России несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас. Для этого мы предпринимаем новое повременное издание. Не определяя сроков выхода, мы постараемся ежемесячно издавать *один лист*, иногда два, под заглавием «Колокол».

О направлении говорить нечего; оно то же, которое в «Полярной звезде», то же, которое проходит неизменно через всю нашу жизнь. Везде, во всем, всегда быть со стороны воли против насилия, со стороны разума против предрассудков, со стороны науки против изуверства, со стороны развивающихся народов против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши.

В отношении к России мы хотим страстно, со всею горячностью любви, со всей силой последнего верования, чтоб с нее спали, наконец, ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее. Для этого мы теперь, как в 1855 году (программа «Полярной звезды». – *Примеч. А. И. Герцена*), считаем первым необходимым, неотлагаемым шагом:

Освобождение слова от цензуры!

Освобождение крестьян от помещиков!

Освобождение податного сословия – от побоев.

Не ограничиваясь, впрочем, этими вопросами, «Колокол», посвященный исключительно русским интересам, будет звонить, чем бы ни был затронут, – нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное – все идет под «Колокол».

А потому обращаемся ко всем соотечественникам, делящим нашу любовь к России, и просим их не только слушать наш «Колокол», но и самим звонить в него!

Появление нового русского органа, служащего дополнением к «Полярной звезде», не есть дело случайное и зависящее от одного личного произвола, а ответ на потребность; мы должны его издавать.

Для того чтобы объяснить это, я напомним короткую историю нашего типографского станка.

Русская типография, основанная в 1853 году в Лондоне, была запросом. Открывая ее, я обратился к нашим соотечественникам с призывом, из которого повторяю следующие строки (далее идут выдержки из помещенной выше листовки Герцена «Вольное русское книгопечатание в Лондоне». – *Примеч. сост.*)...

Ожидая, что будет, я принялся печатать свои сочинения и летучие листы, писанные другими. Ответа не было, или хуже – до меня доходили одни порицания, один лепет страха, осторожно шептавший мне, что печатание за границей опасно, что оно может компрометировать и наделать бездну вреда; многие из близких людей делили это мнение. Меня это испугало.

Пришла война. И в то время, когда Европа обратила жадное внимание на все русское и раскупала целые издания моих французских брошюр и перевод моих «Записок» на английском и немецком языках быстро расходилась, – русских книг не было продано и десяти экземпляров. Они горами валялись в типографии или рассылались нами на наш счет, и притом даром.

Пропаганда тогда только начинает быть действительной силой, когда она окупается; без этого она натянута, неестественна и может разве только служить делу партии, но чаще вызывает наскоро вырощенное сочувствие; которое бледнеет и вянет, как скоро слова перестают звучать.

Меньшинство осуществляет часть своего идеала только тогда, когда, по-видимому выделяясь из большинства, оно, в сущности, выражает его же мысль, его стремления, его страдания. Большинство бывает вообще неразвито, тяжело на подъем; чувствуя тягость современного состояния, оно ничего не делает, чтобы освободиться от него; тревожась вопросами, оно может остаться, не разрешая их. Появляются люди, которые из этих страданий, стремлений делают свой жизненный вопрос; они действуют словом, как пропагандисты делом, как революционеры – но в обоих случаях настоящая почва тех и других – большинство и степень их сочувствия к нему.

Все попытки издавать журналы в лондонской эмиграции с 1849 года не удалось, они поддерживались приношениями, не окупались и лопались; это было явное доказательство, что эмиграции не выражали больше мысли своего народа. Они остановились и вспоминали, народы шли в другую сторону. ...

Конечно, строгость и свирепые меры очень затрудняли ввоз запрещенных книг в Россию. Но разве простая контрабанда не шла своим чередом вопреки всем мерам? Разве строгость Николая остановила воровство чиновников? На взятки, на обкрадывание солдат, на контрабанду – была отвaga; на распространение свободного слова – нет; стало быть, нет еще на него и истинной потребности. Я с ужасом сознавался в этом. Но внутри была живая вера, которая заставляла надеяться вопреки собственных доводов; я, выжидая, продолжал свой труд.

Вдруг телеграфическая депеша о смерти Николая.

Теперь или никогда!

Под влиянием великой, благодатной вести я написал программу «Полярной звезды». В ней я говорил... (Далее печатаются выдержки из листовки Герцена «Вольное русское книгопечатание в Лондоне». – *Примеч. сост.*).

В день казни наших – через 29 лет – вышла в Лондоне первая «Полярная звезда». С бьющимся сердцем ожидал я последствий.

Вера моя начала оправдываться.

Я стал вскоре получать письма, исполненные симпатии – юной, горячий, тетради стихов и разных статей. Началась продажа, сначала туго и медленно возрастая, потом, с выхода *второй книжки* (в апреле 1856 г.), количество требований увеличилось до того, что иных изданий уже совсем нет, другие изданы во второй раз, третьих остается по несколько экземпляров. От выхода второй книжки «Полярной звезды» и до начала «Колокола» все *расходы по типографии* покрыты продажей русских книг.

Сильнее доказательства на действительную потребность свободного слова в России быть не может, особенно вспомнив таможенные препятствия.

Итак, труд наш не был напрасен. Наша речь, свободное русское слово раздается в России, будит одних, страшит других, грозит гласностью третьим.

Свободное русское слово наше раздается в Зимнем дворце – напоминая, что сдавленный пар взрывает машину, если не умеют его направить.

Оно раздается среди юного поколения, которому мы передаем наш труд. Пусть оно, более счастливое, нежели мы, увидит *на деле* то, о чем мы только говорили. Не завидуя смотрим мы на свежую рать, идущую обновить нас, а дружески ее приветствуем. Ей радостные праздники освобождения, нам благовест, которым *мы зовем живых* на похороны всего дряхлого, отжившего, безобразного, рабского, невежественного в России!

Колокол. 1857. № 1.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954. Т. 12. С. 7–12.

(Сечь или не сечь мужика?)

Сечь или не сечь мужика? That is the question. – Разумеется, сечь, и очень больно. Как же можно без розог уверить человека, что он шесть дней в неделю должен работать на барина, а только *остальные* на себя. Как же его уверить, что он должен, когда вздумается барину, тащиться в город с сеном и дровами, а иногда отдавать сына в переднюю, дочь в спальную?.. Сомнение в праве сечь есть само по себе посягательство на дворянские права, на неприкосновенность собственности, признанной законом. И, в сущности, отчего же не сечь мужика, если это позволено, если мужик терпит, церковь благословляет, а правительство держит мужика за ворот и само подстегивает?

Неужели в самом деле у нас есть райские души, которые думают, что целая каста людей, делящая с палачом право телесных наказаний и имеющая над ним то преимущество, что она сечет по собственному желанию, из собственного прибытка и притом знакомых, а не чужих, — что такая каста — из видов гуманности и благости сердечной — бросит розги? Полноте дурачиться. ...

Кто не знает у нас историю... о том, как флигель-адъютант (Эльстон-Сумароков) был отправлен в Нижегородскую губернию на следствие о возмутившихся крестьянах. Дело само по себе замечательно. Крестьяне одного помещика (помнится, Рахманова), предложили за себя взнос, помещик взял деньги, т. е. украл их, а мужиков продал другому, вместо того чтоб отпустить на волю. Крестьяне, разумеется, отказались повиноваться новому помещику. Трудное ли дело разобрать? Но у нас суд нипочем, надобно комиссии, флигель-адъютанты, аксельбанты, команда, розги. С розгами и послали Эльстон-Сумарокова. Мужики бросились на колени (бунт на коленях!). Он спросил их: «Чьи вы?». Крестьяне сказали имя прежнего помещика, Сумароков же назвал имя нового помещика (кажется, Пашкова или наоборот) и после этого приказал без всякого разбора сечь мужиков. Крестьяне покорились. Тогда флигель-адъютант до того расхотелся, что дал предписание губернскому правлению одну часть на коленях бунтующих мужиков сослать в Сибирь на поселение, другую в арестантские роты, а третью да саро высечь. Губернское правление и радо бы исполнить, но не смело взять на себя такое явное нарушение положительного закона и отнеслось в сенат. За такое понятие о справедливости, за такое знание законов Эльстон-Сумароков сделан вице-директором одного из департаментов военного министерства.

А вы рассуждаете о том, сечь или не сечь мужиков? Секите, братцы, секите с миром! А устанете, царь пришлет флигель-адъютанта на помощь!!!..

Колокол. 1857. № 6.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954. Т. 13. С. 105–106.

Под спудом

Мы получили за прошлый месяц ворох писем; сердце обливается кровью и кипит бессильным негодованием, читая, что у нас делается под спудом.

Прежде нежели мы начнем страшный перечень злодеяний, мы еще раз умоляем всех особ, пишущих к нам, проникнуться – ради нашего дела, ради смысла и значения, которое мы хотим ему приобрести, – что всякий факт неверный, взятый по слухам, искаженный, может сделать нам ужасный вред, лишая нас доверия и позволяя преступникам прятаться за ошибочно обвиненных.

Одна горячая любовь к России, одно глубокое убеждение, что наш обличительный голос полезен, заставляет нас касаться страшных ран нашего жалкого общественного быта и их гноя. Мы крик русского народа, битого полицией, засекаемого помещиками, – да будет же этот крик исторгнут одной истинной болью!

Отсутствие николаевского гнета как будто расшевелило все гадкое, все отвратительное, все воруемое и в зубы бьющее – под сенью императорской порфиры. Точно как по ночам поднимается скрытая вонь в больших городах во время оттепели или перед грозой.

Для нас «так это ясно, как простая гамма»: или *гласность* – или все начинания не приведут ни к чему. И не иносказательная гласность повести, намеков, а обличительные акты с именами, с разбором дел и действий лиц и правительственных мест.

Искренно, от души жалею Александра II, его положение действительно трагическое, не рассеять ему туман, скрывающий от него страшное состояние России, он устанет от борьбы, оттого, что борьба всего труднее в безгласную ночь, да еще не с врагами, а с толпой клеветников и мошенников.

Зачем он не знает старой русской пословицы: «Не вели казнить, вели правду говорить»? Это единственное средство *правду узнать*!

Вести, полученные нами, до того страшны, до того гадки – и лучшие из них до того глупы, что мы теряемся, с чего начать. Их все можно разделить на две части: *часть сумасшедшего дома и часть смиренного дома*. Во всех действуют безумные и воры, в разных сочетаниях и переложениях, иногда воры и безумные вместе, иногда безумные, но не воры (нет, это мы обмолвились: все воры), – воры смиренные, воры бешеные, воры цепные, а потом духовные, военные, городские, полевые, садовые воришки; – все это восходит, поднимается от станowych приставов, заседателей, квартальных до губернаторов, полковников, от них до генерал-адъютантов, до действительных тайных советников (2-го класса и 1-го класса) и оканчивается художественно, мягко, роскошно, женственно в Мине Ивановне, в этой

Слоаса Махима¹ современных гадостей, обложенной бриллиантами, золотой и серебряной работой (Сазикова)², с народным калачом и православной просвирой³ в руке, на которой потомок старинной русской фамилии велел вырезать: «Благословенна ты в женах!» – Хорош архангел, да и пречистая дева не дурна!

Колокол. 1857. № 5.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954. Т. 13. С. 80–81.

Нас упрекают*

Нас упрекают либеральные консерваторы в том, что мы слишком нападаем на правительство, выражаемся резко, бранимся крупно.

Нас упрекают свирепо красные демократы в том, что мы мирволим Александру II, хвалим его, когда он делает что-нибудь хорошее, и верим, что он хочет освобождения крестьян.

Нас упрекают славянофилы в западном направлении.

Нас упрекают западники в славянофильстве.

Нас упрекают прямолинейные доктринеры в легкомыслии и шаткости, оттого что мы зимой жалуемся на холод, а летом, совсем напротив, – на жар.

На сей раз только несколько слов в ответ последнему упреку.

Он вызван двумя или тремя признаниями, что мы *ошиблись*, что мы были *увлечены*; не станем оправдываться тем, что мы ошибались и увлекались со всей Россией, мы не отклоняем ответственности, которую добровольно взяли на себя. Мы должны быть последовательны, *единство* – необходимое условие всякой пропаганды, с нас вправе его требовать. Но, принимая долю вины на себя, мы хотим ее разделить с другими виновниками.

Идти по одной линии легко, когда имеешь дело с спетым порядком дел, с последовательным образом действия, – что трудного взять

¹ Мина Ивановна – любовница всемогущего в то время министра императорского двора гр. Адлерберга, открыто бравшая громадные взятки с лиц, желающих получить ее покровительство или содействие в их делах. Слоаса Махима – большая труба для спуска нечистот в Древнем Риме.

² Сазиков – владелец мастерской по изготовлению серебряных и золотых изделий.

³ Тоже Сазикова работы. – *Примеч. А. И. Герцена.*

* Статья написана в ответ проф. Чичерину, выступившему с чрезвычайно резкой критикой «Колокола» с позиций умеренного либерализма.

резкое положение относительно английского правительства или французского императорства? Трудно ли было быть последовательным во время прошлого царствования?

Но мы этого *единства* не находим в действиях Александра II; он то является освободителем крестьян, реформатором, то заступает за николаевскую постройку и грозит растоптать едва восходящие ростки. ...

Как согласить облегчение цензурных пут и запрещение писать об освобождении крестьян с землею?

Как согласить амнистии, желания публичности с проектом Ростовцева¹, с силой Панина (министр юстиции, противник отмены крепостного права. – *Примеч. сост.*)?

Фридрих II говорил, что он не боялся ни одного генерала так, как Салтыкова², потому что никогда не мог догадаться за минуту вперед, какое движение он сделает: Салтыков все их делал зря.

Шаткость в правительстве отразилась в наших статьях. Мы, следуя за ним, терялись и, откровенно досадуя на себя, не скрывали этого. В этом была своего рода связь между нами и нашими читателями. Мы не вели, а шли вместе; мы не учили, а служили отголоском дум и мыслей, умалчиваемых дома. Ринутые в современное движение России, мы носимся с ним по переменному ветру, дующему с Невы.

Конечно, тот, кто, останавливая надежду и страх, молча выждет результата, тот не ошибется. Надгробное слово истории – гораздо больше предохранено от промахов, нежели всякое участие в совершающихся событиях.

Доктринеры на французский манер и гелертеры на немецкий, люди, производящие следствия, составляющие описи, приводящие в порядок, твердые в положительной религии или религиозные в положительной науке, люди обдуманые, точные доживают до старости лет, не сбиваясь с дороги и не сделав ни орфографических, ни иных ошибок; а люди, брошенные в борьбу, исходя страстной верой и страстным сомнением, истощаются гневом и негодованием, перегорают быстро, падают в крайность, увлекаются и мрут на полдороге – много раз споткнувшись.

¹ Проект разделения России на генерал-губернаторства в целях укрепления власти на местах.

² Салтыков командовал русскими войсками во время Семилетней войны.

Не имея ни исключительной системы, ни духа партии – все отталкивающего, – мы имеем незыблемые основы, страстные сочувствия, проводившие нас – от ребячества до седых волос, в них у нас нет *легкомыслия*, нет *колебания*, нет *уступок*. Остальное нам кажется второстепенным; средства осуществления бесконечно различны, которое изберется... в этом поэтический каприз истории, – мешать ему неучтиво.

Освобождение крестьян с землею – один из главных и существенных вопросов для России и для нас. Будет ли это освобождение «сверху или снизу» – мы будем за него! Освободят ли их крестьянские комитеты, составленные из заклятых врагов освобождения¹, – мы благословим их искренно и от души. Освободят ли крестьяне себя от комитетов во-первых, а потом от всех избирателей в комитеты – мы первые поздравим их братски и также от души. Прикажет ли, наконец, государь отобрать именья у крамольной аристократии, а ее выслатъ, – ну хоть куда-нибудь на Амур к Муравьеву (генерал-губернатор Восточной Сибири. – *Примеч. сост.*), – мы столько же от души скажем: «Быть по сему».

Из этого вовсе не следует, что мы рекомендуем эти средства, что нет других, что это лучшие, совсем нет, – наши читатели знают, как мы думаем об этом.

Но так как главное дело, чтоб крестьяне были освобождены с землею, то из-за средств спора мы не поднимем.

При таком отсутствии обязательной доктрины, предоставляя, так сказать, самой природе действовать и сочувствуя каждому шагу, согласному с нашим воззрением, мы можем часто ошибаться, всегда будем очень рады, когда «ученые друзья наши», спокойно сидящие в сторожках на берегу, прокричат нам «правее или левее» держаться; но мы желали бы, чтоб и они не забывали, что им легче делать наблюдения над силой волн и слабостью пловцов, нежели нам плыть... и притом так далеко от берега.

Из-за стен доктрины, как из-за монастырских стен, сполугоря смотреть на треволение мирское. Доктринеры счастливы, они не увлекаются и... не увлекают других.

Колокол. 1858. № 27.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954. Т. 13. С. 361–363.

¹ Имеются в виду губернские комитеты, разрабатывавшие проекты отмены крепостного права. Они состояли исключительно из представителей дворянства.

Из отдела «Смесь»

«Le Nord» рассказывает, по своему обычаю умалчивая собственные имена, что в Тамбовской губернии крепостной человек убил своего помещика, вступившись за честь своей невесты. И превосходно сделал, прибавим мы. Таковы нравственные последствия преступного и, по счастью, издыхающего теперь крепостного права. Посмотрите на эту чудовищную альтернативу: или вам приходится сказать, что священный долг жениха, брата, отца – почтительно молчать, когда насилуют его невесту, сестру, дочь, сказать, что этого молчания требует нравственность, религия и чистота семейной жизни, или сознаться, что в подобном случае еще нравственнее расколоть топором голову барину? Что касается до нас, мы предпочитаем последнее!

«Nord» совершенно прав, говоря, что наказывать «по всей строгости законов» плетью и каторгой такого преступления нельзя, что это безобразно; особенно, прибавим мы, когда рядом «строгость законов» оказывается слабостью бабушки к внучатам – в отношении к Затлеру¹.

Кстати, когда же нам напишут, что сделали с орловским помещиком Гутцейтом, насилловавшим детей или его оставили тоже *до первого жениха*?

Эх, вы, законодатели, администраторы!

Колокол. 1860. № 62.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1958. Т. 14. С. 233.

Имя кулачного бойца и генерала, тузящего полтавский кадетский корпус (см. «Кол.». № 80), *Сергей Егорович Тихоцкий*.

Поди! И не ждешь от такой скромной фамилии столько прыти!

Колокол. 1860. № 82.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1958. Т. 14. С. 315.

От редакции

Предисловие к Письму из провинции

М. г.

Я долго сомневался, печатать ваше письмо или нет... и наконец решился, но считаю необходимым сперва сказать несколько слов об этом.

¹ Затлер – генерал, возглавлявший русское интендантство во время Крымской войны. За допущенные им злоупотребления и хищения после войны был привлечен к ответственности, но сумел выйти сухим из воды.

Вы говорите, что я уже печатал письмо моих врагов, отчего же не напечатать письмо одного из друзей, «не совершенно согласное с моим мнением», как прибавляет приложенная к вашему письму записка.

Мне раз случилось поместить враждебную статью, но это не достаточная причина, чтоб помещать дружеские письма, с которыми мы не согласны. Печатая враждебные обвинения, мы садимся на лавку подсудимых и, как все подсудимые, ждем суда и вперед радуемся, если он будет в нашу пользу. Скажу больше, я предчувствовал, с которой стороны будет общественное мнение, и от всей души желал этого.

Но этого-то я и не желаю в отношении к статьям наших друзей, с которыми мы расходимся. Нам будет больно, если мнение выскажется против нас, и больно, если против них; торжество над своими не веселит. К тому же в наше бойкое время нельзя давать много места междоусобному спору, нельзя слишком останавливаться, а надобно, избравши дорогу, идти, вести, пробиваться.

Россия выпала из той душевной эпохи, в которую людям только и оставалось теоретически обсуживать гражданские и общественные вопросы, и, что они говорят, мы не взошли снова в гамлетовский период сомнений, слов, спора и отчаянных средств.

Дело растет, крепнет, и вот почему мы не можем быть беспристрастной нейтральной ареной для бойцов; мы сами бойцы и люди партии.

Впрочем, это замечание к вашему письму мало относится. Мы расходимся с вами *не в идее*, а в средствах; *не в началах*, а в образе действия. Вы представляете *одно из крайних* выражений *нашего* направления; ваша односторонность понятна нам, она близка нашему сердцу; у нас негодование так же молодо, как у вас, и любовь к народу русскому так же жива теперь, как в юношеские лета.

Но к Топору, к этому *ultima ratio* (последний довод (лат.)). — *Примеч. сост.*) притесненных, мы звать не будем *до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора*.

Чем глубже, чем дольше мы всматриваемся в западный мир, чем подробнее вникаем в явления, нас окружающие, и в ряд событий, который привел к нам Европу, тем больше растет у нас *отвращение от кровавых переворотов*; они бывают иногда необходимы, ими отделяется общественный организм от старых болезней, от удушающих наростов; они бывают роковым последствием вековых ошибок,

наконец, делом мести, племенной ненависти, – у нас нет этих стихий; в этом отношении наше положение беспримерно.

Императорство со времени Петра I так притоптало и вылололо прежнее государственное устройство, как этого не сделал 92 и 93 год во Франции, так что его нет в живых, что его надобно отыскивать в пыльных свитках, в летописях, оно для нас больше чужое, чем Франция Людовика XIV.

И это не вся отрицательная заслуга его, – важнее этого, может быть, то, что оно и не заменило его ничем прочным органическим, что бы бросило глубокие корни и выросло бы помехой будущему. Совсем напротив, осадное положение императорства было вместе с тем постоянной *реформой*.

Сломавши все старое, императорская власть принималась обыкновенно ломать вчерашнее: Павел – екатерининское, Александр – павловское, Николай – александровское и, наконец, ныне царствующий государь, сто раз повторяя, что он будет царствовать в духе своего отца, ничего не оставил от военно-смирительного управления его, кроме сторожей, истопников и привратников.

Императорская власть столько же и строила, сколько ломала, но строила по чужим фасадам, из скверного кирпича, наскоро, здания его разваливались прежде, чем покрывались крышей, или ломались по приказу нового архитектора. Оттого-то никто не верит теперь не только в прочность Грановитой палаты и теремов, растреллиевских дворцов и присутственных мест, но даже казарм и крепостей.

Если что-нибудь уцелело под ударами императорского тарана, то это *сельская община*; она казалась немецкому деспотизму до того нелепой и слабой, что ее оставили как детскую игрушку, зная вперед, что она исчезнет, как только благотворные лучи цивилизации ее коснутся.

Другая Россия – Россия правительственная, *дворянская* – по той мере только и сильна, по которой она идет заодно с правительством.

Они поссорились на вопросе об освобождении крестьян, и одной неловкости правительства следует приписать то, что оно не умеет воспользоваться этим.

Дворянская Россия – искусственная, подражательная, и оттого она бессильна как аристократия. Подумайте о разнице между крестьянским понятием о своем праве и понятием дворянским. Право на землю так кажется естественным и прирожденным крестьянину, что он

в крепостной неволе *не верит*, что оно утрачено. В то время как дворяне знают, что права их высочайше пожалованные и притом довольно дарованные...

Где же у нас та среда, которую надобно вырубать топором? Неверие в собственные силы – вот наша беда, и, что всего замечательнее, неверие это равно в правительстве, дворянстве и народе.

Мы за какими-то картонными драконами не видели, как у нас развязаны руки. Я не знаю в истории примера, чтобы народ с меньшим грузом переправлялся на другой берег.

К метлам! надобно кричать, а не к топорам!..

Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костями, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расходится? Есть ли все это у вас?

Одно вы мне можете возразить: а что будем делать, если народ, увидя, что его надувают освобождением, сам бросится к топору? Это будет великое несчастье, но оно возможно благодаря бесхарактерности правительства и характерности помещиков, – тогда рассуждать нельзя, тут каждый должен поступать, как его совесть велит, как *его любовь* велит... но, наверное, тогда не *из Лондона* звать к топорам. Будемте стараться всеми силами, *чтоб этого не было!*

Вот все, что я хотел вам сказать.

В заключение одно слово насчет того, что вы называете моим «гимном» Александру II.

Одной награды, кажется мне, я мог бы требовать за целую жизнь, посвященную одному и тому же делу, за целую жизнь, проведенную, как под стеклянным колпаком, – чтоб, наконец, не сомневались в чистоте моих убеждений и действий.

Я могу ошибаться в пути, много раз ошибался даже, но наверное не сворочу ни из страха перед фельдъегерской тройкой, ни из благоговения перед императрицей каретой!

Сказавши это, я вас спрашиваю: да полно, ошибся ли я? Кто же в последнее время сделал что-нибудь путного для России, кроме государя? Отдадимте и тут кесарю кесарево!..

Прощайте и не сердитесь за длинное предисловие.

25 февраля 1860.

И-р

(Письмо из провинции)

Милостивый государь,

на чужой стороне, в далекой Англии вы, по собственным словам вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царской властью, вы показали России, что такое свободное слово... и за то, вы это уже знаете, все, что есть живого и честного в России, с радостью, с восторгом встретило начало вашего предприятия, и все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий – это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия; и что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге... Вы взяли на себя великую роль, и потому каждое ваше слово должно быть глубоко взвешено и рассчитано, каждая строка в вашей газете должна быть делом расчета, а не увлечения. Увлечение в деле политики бывает иногда хуже преступления... Помните ли, когда-то вы сказали, что России при ее пробуждении может предстоять опасность, если либералы и народ не поймут друг друга, разойдутся, и что из этого может выйти страшное бедствие – новое торжество царской власти. Может быть, это пробуждение недалеко, царские шпицрутены, щедро раздаваемые верноподданным за разбитие царских кабаков¹, разбудят Россию скорее, чем шепот нашей литературы о народных бедствиях, скорее мерных ударов вашего Колокола... Но чем ближе пробуждение, тем сильнее грозит опасность, о которой вы говорили... и об отвращении которой вы не думаете... По всему видно, что о России настоящей вы имеете ложное понятие, помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками... Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права

¹ Имеется в виду протест крестьян против системы винных откупов, приведшей к удорожанию и снижению качества винно-водочных изделий. В деревнях были организованы общества трезвости, что, в свою очередь, сказалось на царской казне. Ответной реакцией правительства были карательные меры.

прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая. Да, я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца, машина давно бы лопнула. Но Николай сам это понимал и при помощи Мандта предупредил неизбежную и грозную катастрофу¹. Война шла дурно, удар за ударом, поражение за поражением – глухой ропот поднимался из-под земли! Вы писали в первой «Полярной звезде», что народ в эту войну шел вместе с царем и потому царь будет зависеть от народа. Из этих слов видно только, что вы в вашем прекрасном далеко забыли, что такое русские газеты, и на слово поверили их возгласам о народном одушевлении за отечество. Правда, иногда случалось, что крепостные охотно шли в ополчение, но только потому, что они надеялись за это получить свободу. Но чтоб русский народ в эту войну заодно шел с царем – нет. Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения – крепостные от помещичьей неволи, раскольники ждали от них свободы вероисповедания. Подумайте об этом расположении умов народа в конце царствования Николая, а вместе с тем о раздражении людей образованных, нагло на каждом шагу оскорбляемых николаевским деспотизмом, и мысль, что незабвенный мог бы не так спокойно кончить жизнь, не покажется вам мечтою. Да, как говорит какой-то поэт, «счастье было так близко, так возможно». Тогда люди прогресса из так называемых образованных сословий не разошлись бы с народом; а теперь это возможно и вот почему: с начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду – как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей; все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою. Поднялся такой чад от либеральных курений Александру II, что ничего нельзя было разглядеть, но, опустившись к земле (что делают крестьяне во

¹ По свидетельству некоторых мемуаристов, Николай I покончил с собою, приняв яд, данный лейб-медиком Мандтом.

время топки в курных избах), можно еще было не отчаиваться. Вслушиваясь в крестьянские толки, можно было с радостью видеть, что народ не увлечет 12 лет рабства под гнетом переходного состояния и что мысль, наделят ли крестьян землею, у народа была на первом плане. А либералы? Профессора, литераторы пустили тотчас же в ход эстляндские, прусские и всякие положения, которые отнимали у крестьян землю. Догадливы наши либералы! Да и теперь большая часть из них еще не разрешила себе вопроса насчет крестьянской земли. А в правительстве в каком положении в настоящее время крестьянский вопрос? В большей части губернских комитетов положили страшные цены за земли, центральный комитет делает черт знает что, сегодня решает отпустить с землею, завтра без земли, даже, кажется, не совсем брошена мысль о переходном состоянии. Среди этих бесполезных толков желания крестьян растут, — при появлении рескриптов можно было еще спокойно взять за землю дорогую цену, крестьяне охотно бы заплатили, лишь бы избавиться от переходного состояния, теперь они спохватились уже, что нечего платить за вещь 50 целковых, которая стоит 7. Вместе с этим растут и заблуждения либералов, они все еще надеются мирного и безобидного для крестьян решения вопроса, одним словом, крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых помещики тиранят, теперь с каким-то особенным ожесточением готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает что еще. Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае если народ без руководителей возьмется за топор, путаница, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-нибудь и хорошее, но вместе с Собакевичами, Ноздревыми погибнет и наше всякое либеральное поколение, не сумевши пристать к народному движению и руководить им? Если выйдет первое, то ужасно, если второе, то, разумеется, жалеть нечего. Что жалеть об этих франтах в желтых перчатках, толкующих о демократии в Америке и не знающих, что делать дома, — об этих франтах, проникнутых презрением к народу, уверенных, что из русского народа ничего не выйдет, хотя, в сущности, не выйдет из них-то ничего... Но об этих господах толковать нечего, есть другого сорта люди, которые желают действительно народу добра, но не видят перед собою пропасти и с пылкими надеждами, увлеченные в общий водово-

рот умеренности, ждут всего от правительства и дождутся, когда их Александр засадит в крепость за пылкие надежды, если они будут жаловаться, что последние не исполнились, или народ подведет под один уровень с своими притеснителями. Что же сделано вами для отвращения этой грядущей беды? Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых нумеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии... Зато с особенною яростию напали на Орловых, Паниных, Закревских (типичные представители бюрократии эпохи Николая I, продолжавшие оставаться у власти. – *Примеч. сост.*). В них беда, они мешают Александру II! Бедный Александр II! Мне жаль его, видите, его принуждают так окружать себя – бедное дитя, мне жаль его! Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! И вот вы, – вы, автор «С того берега» и «Писем из Италии», поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию. Вы не должны ни минуты забывать, что он самодержавный царь, что от его воли зависит прогнать всех этих господ... Как ни чисты ваши побуждения, но я уверен – придет время, вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому. Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания безымянную гласность; но чуть дело коснется дела, тут и прихлопнут... Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей, не вам ее поддерживать.

С глубоким к вам уважением

Русский человек.

Колокол. 1860. № 64.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1958. Т. 14. С. 238–244, 538–541.

Н. Г. Чернышевский

Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!

«Инвалид» (газета «Русский инвалид» была органом военного ведомства. – *Примеч. сост.*) недавно спрашивал, где же новая Россия, за которую пал Гарибальди. Видно, она не вся «за Днепром», когда жертва падает за жертвой... Как же согласовать дикие казни, дикие кары правительства и уверенность в безмятежном покое его писак? Или что же думает редактор «Инвалида» о правительстве, которое без всякой опасности, без всякой причины расстреливает молодых офицеров, ссылает Михайлова, Обручева, Мартьянова, Красовского, Трувелье¹, двадцать других, наконец, Чернышевского в каторжную работу.

И это-то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!
И-р.

Р. С. Строки эти были написаны, когда мы прочли следующее в письме одного очевидца экзекуции: «Чернышевский сильно изменился, бледное лицо его опухло и носит следы скорбута. Его поставили на колени, переломили шпагу и выставили на четверть часа у позорного столба. Какая-то девица бросила в карету Чернышевского венки – ее арестовали. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему «про-

¹ М. И. Михайлов был приговорен в 1861 году к каторжным работам за распространение прокламации «К молодому поколению», написанной его другом Н. В. Шелгуновым. В. А. Обручев – сотрудник «Современника», осужденный в 1861 году на каторжные работы за распространение прокламации «Великорусс». П. А. Мартьянов – крепостной крестьянин по происхождению, будучи в Лондоне, опубликовал в «Колоколе» письмо Александру II, в котором убеждал его созвать Земский собор. По возвращении в Россию был арестован и приговорен к каторжным работам. А. А. Красовский – полковник, осужденный на каторгу за пропаганду среди солдат. В. В. Трувелье – офицер, в 1862 году был осужден на каторжные работы за попытку распространить среди матросов прокламации, напечатанные в типографии Герцена.

шай!» и был арестован. Ссылая Михайлова и Обручева, они делали выставку в 4 часа утра, теперь – белым днем!..»

Поздравляем всех различных Катковых – над этим врагом они восторжествовали! Ну что, легко им на душе?

Чернышевский был **вами** выставлен к столбу на четверть часа¹ – а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?

Проклятье вам, проклятье – и, если возможно, месть!

Колокол. 1864. № 186.

Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1959. Т. 18. С. 221–222.

8. ЖУРНАЛИСТИКА 60-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Об искренности в критике

...Критика есть суждение о достоинствах и недостатках какого-нибудь литературного произведения. Ее значение – служить выражением мнения лучшей части публики и содействовать дальнейшему распространению его в массе. Само собой разумеется, что эта цель может быть достигаема сколько-нибудь удовлетворительным образом только при всевозможной заботе о ясности, определенности и прямоте. Что за выражение общественного мнения – выражение обоюдное, темное? Каким образом даст критика возможность познакомиться с этим мнением, объяснить его массе, если сама будет нуждаться в пояснениях и будет оставлять место недоразумениям и вопросам: «да что же вы думаете в самом-то деле, г. критик? да в каком же смысле надобно понимать то, что говорите, г. критик?» Поэтому критика вообще должна сколько возможно избегать всяких недомолвок, оговорок, тонких и темных намеков и всех тому подобных околичностей, только мешающих прямоте и ясности дела. Русская критика не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончи-

¹ Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста. – *Примеч. А. И. Герцена.*

вую и пустую критику французских фельетонов; эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям, которых требует совершенно справедливо от критики наша публика.

...Жар нападения должен быть соразмерен степени вреда для вкуса публики, степени опасности, силе влияния, на которые вы нападаете. Следовательно, если перед вами два романа, отличающихся фальшивою экзальтациею и сентиментальностью, и один из них носит имя неизвестное, а другой – имя, пользующееся весом в литературе, то на который вы должны напасть с большей силой? На тот, который более важен, т. е. вреден для литературы. Перенесемся за шестьдесят лет назад. Вы немецкий критик. Перед вами лежит превосходная в художественном отношении, но приторная «Hermann und Dorothea» Гете и какая-нибудь другая идиллическая поэма какого-нибудь посредственного писателя, довольно складно написанная, и столько же приторная, как «художественно-прекрасное создание» великого поэта. На которую из этих двух поэм должны вы напасть со всем жаром, если вы считаете (как всякий умный человек) приторное идеальничанье очень вредной для немцев болезнью? И которую поэму вы можете разобрать уступчивым, мягким и, может быть, даже ободрительным тоном? Одна из них пройдет незамеченной, безвредной, несмотря на ваш уступчивый отзыв; другая вот уже 57 лет восхищает немецкую публику. Очень хорошо поступили бы вы, если б, бывши немецким критиком шестьдесят лет тому назад, излили всю желчь негодования на эту вредную поэму, отказались бы на время слушаться мягких внушений вашего глубокого уважения к имени того, кто был славой немецкого народа, не побоялись бы упреков в запальчивости, в опрометчивости, в неуважении к великому имени и, холодно и коротко сказав, что поэма написана очень хорошо (на это найдутся сотни перьев и кроме вашего), как можно яснее и резче напали бы на вредную сентиментальность и пустоту ее содержания, постарались бы, насколько сил ваших достает, доказать, что поэма великого Гете жалка и вредна по содержанию, по направлению. Говорить о произведении Гете таким образом было бы, конечно, не легко для вас: и вам самим горько восставать на того, кого хотели бы вы вечно прославлять, и дурно подумают о вас многие. Но что же делать? Того требует от вас обязанность.

Современник. 1854. № 7.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1949. Т. 2. С. 241, 254–258.

Критика философских предубеждений против общинного землевладения

Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людсй, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения. Примеры малой выгодности ее при противном условии часто встречаются у нас по дворянским имениям, обремененным долгами. Бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин, достающихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых помещьем. Он рассчитывает, что излишек, остающийся за уплатой долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением. Потому, когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентой, если он находит выгодным для себя ввод во владение. Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты.

На предположении этих двух условий была основана та горячность, с какой я выставлял общинное владение необходимым довершением гарантий благосостояния.

Меня упрекают за любовь к употреблению парабол (здесь – иносказание. – *Примеч. сост.*). Я не спорю, прямая речь действительно лучше всяких приточных сказаний; но против собственной натуры и, что еще важнее, против натуры обстоятельств итти нельзя, и потому я останусь верен своему любимому способу объяснений. Предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою ра-

зумеется, что если я это делал из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия надлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия ее не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит сам обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при столь странных открытиях? «Человек самолюбив», и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. «Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?» Вторая моя мысль – о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним из обстоятельств которого я так интересовался: «Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!». Досада за вас, стыд за свою глупость – вот мои чувства.

Современник. 1858. № 12.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 360–361.

Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X

У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших сословий над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, – уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой – дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную

нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному – аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибели для свободы.

Радикализм, собственно говоря, состоит не в приверженности к тому или другому политическому устройству, а в убеждении, что известное политическое устройство, водворение которого кажется полезным, не согласно с коренными существующими законами, что важнейшие недостатки известного общества могут быть устранены только совершенною переделкой его оснований, а не мелочными исправлениями подробностей... Из всех политических партий одна только либеральная непримирима с радикализмом, потому что он расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформ готов жертвовать и свободой слова, и конституционными формами. Конечно, в отчаянии либерал может становиться радикалом, но такое состояние духа в нем не натурально, оно стоит ему постоянной борьбы с самим собой, и он постоянно будет искать поводов, чтобы избежать надобности в коренных переломах общественного устройства и вести свое дело путем маленьких исправлений, при которых не нужны никакие чрезвычайные меры.

Таким образом, либералы почти всегда враждебны демократам и почти никогда не бывают радикалами. Они хотят политической свободы, но так как политическая свобода почти всегда страдает при сильных переворотах в гражданском обществе, то и самую свободу, высшую цель всех своих стремлений, они желают вводить постепенно, расширять понемногу, без всяких, по возможности, сотрясений. Необходимым условием политической свободы кажется им свобода печатного слова и существование парламентского правления; но так как свобода слова, при нынешнем состоянии западноевропейских обществ, становится обыкновенно средством для демократической, страстной и радикальной пропаганды, то свободу слова они желают держать в довольно тесных границах, чтобы она не обратилась против них самих. Парламентские прения также должны принять повсюду радикально-демократический характер, если парламент будет состоять из представителей нации в обширном смысле слова, потому либералы принуждены также ограничивать участие в парламенте теми

классами народа, которым довольно хорошо или даже очень хорошо жить при нынешнем устройстве западноевропейских обществ.

С теоретической стороны либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливой судьбой от материальной нужды: свобода – вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что ни мало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими, – скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?..

Не переставая быть либералом, невозможно выбиться из этого узкого понятия о свободе, как о простом отсутствии юридического запрещения. Реальное понятие, в котором фактические средства к пользованию правом поставляются стихией более важной, нежели одно отвлеченное отсутствие юридического запрещения, совершенно вне круга идей либерализма. Он хлопочет об отвлеченных правах, не заботясь о житейском благосостоянии масс, которое одно и дает возможность к реальному осуществлению права.

Нам кажется, что этих кратких замечаний будет пока достаточно для предварительного объяснения читателю, в каком смысле мы употребляем слово «либерализм».

Само собой разумеется, что теоретическая несостоятельность либерализма чувствуется только теми, кому, кроме юридического разрешения, нужны еще и материальные средства. А у кого эти средства уже есть, тому, разумеется, и не приходится в голову хлопотать о них. Оттого либерализм очень долго был системой, совершенно удовлет-

ворявшей людей с независимыми материальными средствами к жизни и с развитыми умственными потребностями. «Сытый голодного не разумеет», и они никак не могли теоретическим путем дойти до соображения, что потребности народа могут состоять в чем-нибудь ином, нежели либеральные тенденции.

Современник. 1858. № 8.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 216–218.

Русский человек на rendez-vous*

Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»

...Вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же, как лица г. Тургенева... Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, – большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие об их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: «Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим», – при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что «как же можно так скоро», и «при том же они – честные люди», и не только честные, но очень смиренные и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего – ни за что не приниматься,

* Свидание (франц.).

потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не ждали и не ожидали» и проч...

...Хотя и со стыдом, должны мы признаться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он – представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильнее и сильнее развивается в нас мысль, что это мнение о нем – пустая мечта, мы чувствуем, что недолго уже остается нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, – но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его братьям. Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, которой определится навеки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время неспособны они понять свое положение, неспособны поступить благоразумно и вместе великодушно, – только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные благоразумные граждане, а сами они теперь непригодны к роли, которая дается им; мы не хотим еще обратить на них слова пророка: «Будут видеть они, и не увидят, будут слышать, и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях, и оглохли их уши, и закрыли они свои глаза, чтоб не видеть», – нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед, неизбежных для людей, не умеющих вовремя сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые предоставляет мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию лю-

дей, которых упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать сообразно здравому смыслу, – но пусть по крайней мере не говорят они, что не слышали благоразумных советов, что не было им объяснено их положение.

Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим достопочтенным людям), есть довольно много людей грамотных; они знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой впереди ее ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, пока она подлетает к вам, но – пропустите один миг – она пролетит, и напрасно погнались бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен счастливый миг. Не дожидаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту – вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться, в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устроивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, – вот в чем теперь для вас вопрос о счастии или несчастье навеки.

Атений. 1858. № 18.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 159–160, 171–173.

Г-н Чичерин как публицист

...Мы часто слыхивали, что главным достоинством ученого должно быть служение науке, не поддающейся минутным увлечениям общественного мнения. Но в этом ли должно состоять главное качество публициста? на его ли специальной обязанности лежит исследование истинных начал общежития? Нет, он выражает и поясняет те потребности, которыми занято общество в данную минуту. Служение отвлеченной науке не его дело; он не профессор, а трибун и адвокат. Г. Чичерин не имеет понятия о качествах той роли, какую берет на себя. Он не замечает, что публицист, воображающий себя

профессором, так же странен, как профессор, воображающий себя фельетонистом.

В каждом человеке, для которого главное дело – живые люди, а не отвлеченная наука, главным качеством должна быть способность понимать, в каком положении находится его публика, его слушатели или читатели. Если он начнет проповедывать истины, которые вовсе не относятся к его слушателям, он будет смешон... Отвлеченные истины могут быть уместны в ученом трактате, но слова публициста должны прежде всего сообразоваться с живыми потребностями известного общества в данную минуту. Что же мы слышим от г. Чичерина? Он предостерегает нас от одностороннего увлечения каким-то отрицанием чего-то будто бы хорошего, существующего у нас... Мы, видите ли, страдаем избытком одностороннего отрицания и нас надобно предостерегать от расположения к борьбе, к упорству в столкновениях. Странное понятие о нашем обществе!

Для публициста, кроме знания потребностей общества, нужно также понимание форм, по которым движется общественный прогресс. До сих пор история не представляла ни одного примера, когда успех получался бы без борьбы. Но, по мнению г. Чичерина, борьба вредна. До сих пор мы знали, что крайность может быть побеждаема только другой крайностью, что без напряжения сил нельзя одолеть сильного врага; по мнению г. Чичерина, следует избегать напряжения сил: он не знает, что, одержав победу, войско всегда бывает утомлено, и что если оно боится утомления, то незачем ему выходить в поле...

Итак, главный порок нашего общества состоит в том, что оно слишком страстно, слишком непреклонно, слишком круто проводит свои стремления [противные существующему порядку], и публицист, пишущий по-русски, обязан говорить нам, что мы должны соблюдать умеренность в борьбе, которую ведем так энергически. [Мы теперь заняты беспощадным разрушением всего существовавшего порядка, и] надобно публицисту вразумлять нас, чтобы мы оставили хотя какие-нибудь следы старинных наших учреждений; главное, чего должен остерегаться публицист, это – потворства «современному кумиру нашего временного увлечения». Изумительно, изумительно!..

Из этих советов быть холодным, беспристрастным, подавлять в себе всякое раздражение мы заключаем, что г. Чичерин знает только, как пишутся ученые книги, но не знает, какими силами развивается

общественная жизнь. Он думает быть публицистом, но является школьным учителем, у которого главная забота та, чтобы ученики смиренно сидели по своим местам и слушали его наставления. Первым делом у него выставляется то, чтобы общество отказалось от всяких живых чувств из боязни нарушить теоретическое беспристрастие.

Мы думаем, что г. Чичерин напрасно взялся быть публицистом, если нет у него в груди живого сердца. Нам кажется, что в нем слишком сильна склонность к схоластике. Быть может, мы ошибаемся, и дай бог, чтобы мы ошиблись; но нам кажется, что живой человек, при нынешнем положении нашего общества, не вздумал бы говорить против «мечтательных отрицателей существующего порядка», против «слишком отважных нововводителей», против «болезненного нетерпения». Быть может, в этих неуместных усилиях подавить то, что, право, вовсе не нуждается в подавлении со стороны г. Чичерина, виновата не натура его, а случайная односторонность его развития; но как бы то ни было, г. Чичерин в настоящее время решительно не понимает, какому обществу он дает свои советы, не умеет судить о том, что уместно и что неуместно в статьях, имеющих претензию руководить нашей общественной жизнью. Только человек, одержимый схоластикой, может воображать, что русскому публицисту надобно быть защитником бюрократии...

...Живой человек не может не иметь сильных убеждений. От этих убеждений не отделается он, что бы ни стал делать: писать историю или статистику, фельетон или повесть; все написанное им будет написано для оправдания и развития какой-нибудь мысли, кажущейся ему справедливой. Если вы разделяете эту мысль, нам будет казаться, что писатель изображает жизнь беспристрастно; если вы враждуете против его образа мнений, вам будет казаться, что он изображает жизнь пристрастно и несправедливо. Следовательно, дело не в том, проводит ли историк свои убеждения в своей книге. Не проводить убеждений могут только те, которые не имеют их; а не иметь убеждений могут только или люди необразованные, или люди неразвитые, или люди тупые, или люди бессовестные; дело только в том, хороши ли убеждения, проводимые историком, т. е. возникают ли они из желания добра, справедливости и благосостояния людям, или из каких-нибудь принципов, противных благосостоянию общества, и ясно ли понимает историк, какие учреждения и события содействовали, какие мешали осуществлению такого порядка дел, который пользуется

его сочувствием. Если убеждения историка честны и если он понимает влияние изображаемых им событий и учреждений на судьбу народа, тогда заслуживает он уважения; и кроме честности убеждений, другого беспристрастия никогда не бывало ни в каком историке, если он был одарен человеческим смыслом, а не писал, как бессмысленная машина.

Современник. 1859. № 5.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 647–649, 651, 660.

Современник. Политика. 1859 г. № 8

...По всему матерiku Западной Европы общество, в тесном смысле слова – сословия, участвующие до некоторой степени в просвещении и благосостоянии, распадается на три партии: реакционеров, модерантистов (т. е. умеренных либералов. – *Примеч. сост.*) и революционеров. Каждый примыкает к той или другой партии, смотря по своим личным потребностям; таким образом, связь по принадлежности к одной и той же партии гораздо крепче, нежели связь по национальности, а вражда по различию партий – выше недоверия, внушаемого иноземцами. По всему матерiku Западной Европы реакционеры составляют нечто вроде старинного Мальтийского ордена¹, в котором были люди всех национальностей и все стояли друг за друга, и все стояли за свой орден. Точно то же и модерантисты, и революционеры. ...Партий, мы сказали, три. Но борьба требует только двух лагерей: собственно борьбу ведут между собою только две из трех партий, более сильные, а третья должна примыкать к одной из них на то время, пока они вместе одолеют третью, чтобы уже потом разделиться между собою...

Какие из этих многочисленных сочетаний между разнородными партиями могут быть названы соответствующими логике идей, какие союзы могут не иметь своим следствием раскаяния? Пока остаешься в сфере отвлеченных идей, вопрос очень ясен. Реакционеры одной стороны, модерантисты и революционеры с другой – различаются между собой существенной противоположностью целей: реакционеры хотят застоя и для того, чтобы сохранить нынешний поряд-

¹ Мальтийский орден – религиозный рыцарский орден, который получил в XVI веке от испанского императора Карла V остров Мальту, обязавшись за это охранять Средиземное море от турок.

док от прогрессивных реформ, принуждены тянуть ход истории назад; модерантисты и революционеры одинаково хотят прогрессивных реформ и разнятся между собой только в понятии о средствах к успешнейшему их осуществлению. Из такого отношения понятий необходимо следует, что если модерантисты или революционеры становятся союзниками реакционеров, они помогают делу, существенно противоположному их собственным стремлениям, и в результате увидят себя обманувшимися. Напротив, реформы, которых желают модерантисты и революционеры, в сущности факта одинаковы и разнятся между собою только процессом своего осуществления; стало быть, результатом союза между модерантистами и революционерами бывает произведение изменений, одинаково нужных обоим союзникам, и спор о способе осуществления сам собой исчезает, когда дело исполнено тем или другим способом.

Таково естественное отношение партий по существенным их стремлениям. Только один союз между модерантистами и революционерами может быть назван существенно-удовлетворительным для обеих соединяющихся армий. Напротив того, если модерантисты или революционеры будут помогать реакционерам, они в результате непременно найдут разочарование или, по выражению императора французов, «разрушение иллюзий», которыми вовлеклись в противоестественный союз...

...Мы, сказав в начале статьи, что в каждой западноевропейской нации существуют две основы разделения на партии – материальные отношения и политические потребности, – говорили потом только о трех партиях, возникающих из разногласия в политических стремлениях, не упоминая о четвертом отделе, состоящем из массы народа, которая равнодушна к понятиям реакции, модерантизма и политического революционерства и носит в себе только недовольство чисто материальными отношениями известного порядка вещей. Эта темная, почти немая, почти мертвая в обыкновенные времена масса не играет роли в нынешних итальянских событиях, как не играет и в большей части других политических дел Западной Европы. Глухие, немые стремления этой массы так непохожи на исторические стремления друзей реформы в образованных сословиях, что модерантисты никогда и даже революционеры очень редко отваживаются прямо опираться на удовлетворение этим стремлениям, и масса, не находя в их программах соответствия с своими мыслями, остается обыкно-

венно равнодушна к реформаторам; мало того, она даже обыкновенно имеет расположение проникаться нелюбовью к ним, досадой на них за то, что в общественной тишине, доставляющей ежедневное скудное пропитание массе, реформаторские партии производят нарушение для целей, не кажушихся достаточно благотворными для массы. ...

Так было и в Италии... Действовали образованные сословия да некоторые классы горожан, то-есть горсть людей, только сотни тысяч, а остальные четырнадцать с половиной миллионов, покинутые без внимания к их потребностям предводителями движения, равнодушно смотрели на это движение к целям, не затрагивавшим бедных потребностей бедной массы – их поселян и городских простолюдинов, и говорили: «Пусть разделяются между собой, как знают, это не наше дело: о нас никто не заботится, нам никто не желает пользы, – что же нам-то хлопотать о них?» [Итак, оставалась горсть образованных людей, не позаботившихся поставить за собой массу народа против сотен тысяч штыков – чего тут ждать для этих образованных людей и их стремлений? Они должны погибнуть, они сами себя обрекли на темницы, на изгнание, на ссылку, плаху и виселицу, став против страшной физической силы армий без опоры на еще более страшную силу массы. Разумеется, мы говорим собственно только об итальянском вопросе и более ни о чем; потому мы можем сделать вывод очень простой и короткий: итальянские люди, желающие реформы и свободы, знают, что достигнуть ваших целей, победить реакцию и обскурантизм вы можете, только усвоив себе стремления массы ваших бедных темных соотечественников поселян и городских простолюдинов. Или примите в ваши программы аграрные перевороты, или вперед знайте, что вы обречены на гибель от реакции.]*

Современник. 1859. № 8.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1949. Т. 6. С. 339–340, 369–370.

* Здесь и далее в прямых скобках – текст, изъятый из журнала цензурой.

Суеверие и правила логики

...Может ли выйти из бедности народ, у которого администрация дурна и судебная власть не исполняет своего предназначения? Разве не каждому известно, что народное благосостояние развивается только трудолюбием и бережливостью? А эти качества могут ли существовать при дурной администрации, при плохом суде? Человек может работать с усердием только тогда, когда никто не помешает его труду и не отнимет у него плодов его труда. Этой уверенности нет у человека, живущего в стране, где администрация дурна и суд бессилён и несправедлив. Бережливым можешь быть только при уверенности, что бережешь для себя и своей семьи, а не для какого-нибудь хищника. Если этой уверенности нет, человек спешит поскорее растратить – хотя бы на водку – те скудные деньги, которые успеет приобрести. Распространяться об этом вновь едва ли нужно, потому что много раз говорил об этом «Современник». Приведем только небольшой отрывок из статьи, которая, по нашему мнению, довольно верно указывает причину зла.

«Кто говорит “бедность народа”, тот говорит “дурное управление”. Это – единственный источник народной бедности. Но что такое дурное управление? Зависит ли оно от лиц? Нет, каждый видел на опыте, что при самых благонамеренных начальниках порядок дел оставался точно таков, каков был при самых дурных...

...Надобно изменить положение чиновников, дать им возможность не погибать от отказа нарушать закон в угоду сильным людям и, с другой стороны, сделать так, чтобы одно благорасположение начальства не служило для них залогом полной безопасности при нарушении закона. Читатель видит, что для этого должны быть изменены отношения должностной деятельности к общественному мнению. Оно должно получить возможность к тому, чтобы защищать чиновника, исполняющего свой долг, от гибели и подвергнуть ответственности чиновника, нарушающего закон. Для этого одно средство: надобно сделать, чтобы должностная деятельность перестала быть канцелярскою тайною, чтобы все делалось открыто, перед глазами общества, и общество могло высказывать свое мнение о каждом официальном действии каждого должностного лица».

Мы не знаем, возможно ли при нынешнем устройстве наших общественных отношений осуществление условия, которое предлагает-

ся выписанным нами отрывком для прекращения незаконности: быть может, подобная реформа предполагает уничтожение отношений слишком сильных, не поддающихся реформам, а исчезающих только вследствие важных исторических событий, выходящих из обыкновенного порядка, которым производятся реформы. Мы не хотим решать этого, мы не хотим рассматривать, какие обстоятельства нужны для исполнения мысли, изложенной автором приведенного нами отрывка. Но можно сказать, что пока не осуществится изменение, необходимость которого он показывает, все попытки к водворению законности в нашей администрации и судебном деле останутся безуспешными.

Современник. 1859. № 10.
Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т.
М., 1950. Т. 5. С. 704–707.

Материалы для решения крестьянского вопроса

Почти всегда в истории бывало, что дело при своем осуществлении обнаруживало такие стороны, которых не замечалось в нем прежде, когда только начинали браться за его осуществление. Иногда возникают затруднения, которых не предусматривали; иногда открывается, что вопрос в действительности гораздо шире, нежели как представлялся в теории; иногда оказывается, что люди, которых он касается, думают о своих правах и потребностях не совсем так, как предполагалось теорией. Результатом, во всяком случае, бывает то, что дело исполняется не совершенно по тому плану, по какому предполагалось исполнить его.

Когда у нас думали, как приступить к освобождению крестьян, большинству рассуждавших представлялось, что главная сторона дела состоит именно в освобождении личности. Правда, многие и тогда уже предвидели, что очень большую важность имеет также вопрос о земле.

Но почти никто не предугадывал, какой решительный оборот все-му делу даст на практике связь личности с землей.

До последней минуты предполагалось, что помещики наши в своей массе представляют сословие мало развитое, мало способное к обсуждению государственных вопросов. Когда созывались губернские комитеты, почти все мы, и в том числе сами помещики, полагали, что совещания комитетов будут иметь ребяческий характер.

[Главной опасностью представлялось то, что едва крепостные крестьяне услышат слово «воля», как начнутся беспорядки. Эта опас-

ность казалась столь неминуемой, что невозможным казалось и произносить магическое слово: даже в частном разговоре многие из нас старались избегать его, заменяя мудреным словом «эмансипация». В официальном языке вместо слова «освобождение» также почтено было нужным употреблять другое выражение, казавшееся не столь «резким»: нам сказали, что государство приступает «к улучшению быта крестьян».]

Появились высочайшие рескрипты. Давно уже носился в массах глухой говор о приближении такого решения. Тревожное ожидание было возбуждено до чрезвычайной степени. Наконец, дело началось. Оно заняло нацию в такой степени, что все остальное перестало обращать на себя внимание. Как же держат себя мужики, волнений между которыми опасались? Они держат себя так спокойно, как никогда не держали. Вот уже два года ждут они так терпеливо, так благоразумно, что дай бог самым образованным людям с самыми мягкими нравами выказать столько рассудительности и терпеливости. Число беспокойств и преступлений, возникающих из крепостного права, в последние два года было несравненно меньше, нежели в предшествующие годы.

Собрались губернские комитеты, в которых все ожидали увидеть неспособность, невежество, бестолковость. Но бестолковости нигде нет и следа. Совещания ведутся правильно, основательно. В провинциальных захолустьях нашлось множество людей чрезвычайно образованных, привыкших думать, хорошо приготовленных к обсуждению задач, им предложенных. В каждом комитете явилось несколько человек, чрезвычайно замечательных по уму и таланту...

Но вот собрались комитеты. Они составились из людей, живших по деревням, знавших русский народ не понаслышке, знавших национальные чувства. Они нашли, что отделять личность от земли — дело невозможное; они показали своим свидетельством, что производить такое разделение под предлогом сохранения выгоды помещиков — значит жестоко обманываться. Они поняли и доказали, что подобная попытка была бы гибельна для помещиков. Они, выборные от сословия помещиков, объявили, что помещики не хотят отделения личности от земли и не могут хотеть этого, потому что иначе, вредя народу, они сами подверглись бы опасности [становились бы предметом народной вражды и мести].

Таким образом, влияние губернских комитетов на ход крестьянского вопроса оказалось очень полезным. Но, отдав им должную справед-

ливость, нельзя нам скрывать от себя и того, что комитеты не сделали и не смогли сделать всего, что нужно для успешного решения этой задачи. Одной из причин этой недостаточности надобно считать обстоятельства, при которых были созданы комитеты. Вопрос тогда представлялся очень смутно, и по своим программам губернские комитеты не могли рассматривать некоторых важнейших сторон его в той широте, какая должна принадлежать им. Еще важнее было влияние самого состава комитетов: они были представителями исключительно только одной стороны, интересов которых касается крестьянский вопрос. Было бы напрасно доказывать, что для удовлетворительного решения надобно ближе узнать мысли и интересы другой стороны, именно самих поселян. Польза, принесенная делу приглашением помещиков к участию в ведении вопроса, должна служить доказательством того, что было бы полезно выслушать и мнения самих поселян, которых предполагается освободить от крепостной зависимости. В статьях, ряд которых мы теперь начинаем, мы хотим самым умеренным и спокойным образом обозначить, какое решение вопроса могло бы хотя бы до некоторой степени соответствовать идеям, с незапамятных времен существующим в поселянах.

Современник. 1859. № 10.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 711–713.

Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов Г. К. Кэри

С первого же взгляда каждому не помешанному в уме человеку видно, что во всех затруднениях и недостатках Соединенных штатов главная причина, а в большей части даже единственная причина – невольничество. Пока не поднимался вопрос об его уничтожении в плантаторских штатах, плантаторы в сношениях с другими гражданами умели держать себя благопристойно. Но дело переменялось с той поры, как они заметили, что свободные люди северных штатов увидели надобность позаботиться об уничтожении невольничества и в южных штатах, – позаботиться об этом не в интересе одних негров, а также и в собственном интересе, и в интересе массы свободного белого населения южных штатов. Поддерживая свои выгоды, противоположные выгодам массы белого населения самих южных штатов, плантаторы поняли, что спор решился бы очень быстро, если бы они стали ограничиваться одними законными средствами для своей

защиты: масса белого населения южных штатов, находившаяся в глубоком невежестве, почувствовала бы надобность в образовании, когда люди северных штатов стали бы объяснять ей, что при невежестве будет она оставаться в зависимости от плантаторов, а зависимость эта держит ее в нищете, потому что свободный работник не может пользоваться благосостоянием, имея раба своим соперником в работе. Таким образом, плантаторы были принуждены прибегать к насильственным средствам, чтобы держать массу белого населения своих штатов в невежестве. Они стали запрещать газеты и популярные книги; они стали стеснять школьное преподавание в своих штатах. Невежество само по себе дело не очень хорошее; но если люди остаются невеждами просто по обстоятельствам, это еще далеко не имеет на них такого дурного влияния, как то, когда они преднамеренно, искусственно удерживаются в невежестве чужим расчетом: натуральное (если можно так выразиться) невежество – зло ничтожное в сравнении с насильственным невежеством. Плантаторы стали предводителями грубых головорезов, которых по своему расчету сделали головорезами, и сами обратились в турецких пашей. Но насильственное подавление всякой образованности, всякой самобытности, всякой честности в белых людях южных штатов было для плантаторов еще недостаточной гарантией существования. Свободные штаты имеют громадный перевес по населению, а союзная власть дается большинством на выборах. Плантаторам нужно было привлечь на свою сторону такое меньшинство в северных штатах, чтобы голоса этого северного меньшинства в соединении с голосами южных штатов составляли большинство. Партия, поработавшая белое население в своих штатах, конечно, не могла найти честными средствами союзников себе в населении северных штатов, где каждый дорожит свободой, – надобно было употребить другие средства: коварство и подкуп... Огрубевшие в своих нравах, привыкшие к бесстыдным подкупам, ожесточенные опасениями за свое существование, плантаторы посылали в сенат союза и в палату представителей таких депутатов и сенаторов, которые были достойны своих доверителей. Вот источник отвратительных сцен в североамериканском конгрессе. Прочтите протоколы заседаний, – вы увидите, что прибегали к ругательствам, хватались за палки, ножи и пистолеты всегда люди одной партии – плантаторской партии. Это натурально и, кажется, довольно ясно каждому, в чем может состоять единственное средство к очищению конгресса от от-

вратительных сцен, к очищению выборов от подкупов, к очищению правительства Соединенных штатов от низких злоупотреблений. Как вы полагаете, в чем состоит оно? в том ли, чтобы свободные люди Соединенных штатов, убедившись в несовместимости свободы с невольничеством, вырвали власть над Союзом у плантаторов, как теперь и решились они сделать? «Нет, – говорит Кэри, – нет, не то; вся беда от низкого тарифа, а спасение в протекционизме!»...

Коренное зло в Соединенных штатах – невольничество. Главной опорой партии, стремящейся к уничтожению невольничества, служат штаты Новой Англии (шесть промышленных районов на северо-востоке США. – *Примеч. сост.*). Эти штаты требуют протекционных пошлин. Очень может быть, что они в этом случае заблуждаются, что протекционные пошлины на самом деле не нужны для них, но что же делать? Можно, если хотите, стараться вывести Новую Англию из ее заблуждения, но пока она держится его, надобно принимать и эту, может быть, неудовлетворительную, может быть, несколько даже вредную черту ее программы ради того, что существенная черта программы – враждебность невольничеству – справедлива, благотворна и своей важностью для государственной жизни в миллионы раз превосходит все остальные общественные вопросы. ... Все хорошо до известной меры, например, хотя бы и готовность жертвовать собой для любимого человека: если вы броситесь в омут для исполнения каприза любимой женщины, это будет глупо и, в сущности, даже очень преступно, но другое дело, если вы пожертвуете собой, чтобы дать ей счастье или спасти ее жизнь. Так и в разборчивости насчет общественной справедливости и несправедливости известной программы – тоже должна быть своя мера: излишняя щепетильность тут смешна и даже бывает очень часто преступна, хотя до известной степени следует быть разборчивым. «Он не хочет свободной торговли, потому я не должен быть его партизаном, хотя без него ничего нельзя мне сделать против невольничества», – да ведь это все равно, что сказать: «он хочет от меня грошового пожертвования, потому не сделаюсь я компаньоном его, хотя товарищество с ним обогатит нас обоих». Нет, не так рассуждает человек умный и действительно желающий пользы: пусть он рассчитывает как можно строже, но если в общем свode окажется перевес пользы, он пойдет на все. Были люди, которые не смущались не только какими-нибудь пустяками, – которые не жалели даже своей репутации, обрекали свое имя на позор в

устах всех так называемых благородных людей, когда того требовала общая польза...

...Постоянно через всю гражданскую жизнь каждого человека тянутся исторические комбинации, в которых обязан гражданин отказываться от известной доли своих стремлений для того, чтобы содействовать осуществлению других своих стремлений, более высоких и более важных для общества. Исторический путь – не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность.

Современник. 1861. № 1.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 7. С. 917–918, 920–923.

Барским крестьянам от их доброжелателей поклон

Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете.

Много тут рассказывать нечего. На два года остается все по-прежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается как была. А где барщины не было и был оброк, там оброк остается либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Пять лет, либо десять лет проволочут это дело. А там что? Да почитай, что то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будет. Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще в солдаты забреют, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известное дело: коза с волком тягалась, один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки останутся, – значит – помещики да чиновники останутся. А как уладить дело, чтобы волков-то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом речь, какие новые порядки надо вам завести; покуда об том речь идет, какой порядок вам от царя дан, – что, значит, не больно-то хороши для вас нынешние порядки, а что порядки, какие по царскому мани-

фесту да по указам заводятся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названия переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ноне срочно обязанными вас звать велют; на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, вишь ты глупость какая! Какой им чорт это в ум-то вложил такие слова! А по-нашему надо сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает и вправду вольный человек и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо всем дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь, хорош ли он.

Так вот как: два года ждите, царь говорит, покуда земля отмежуется, а на деле земля-то межеваться будет пять, либо и все десять лет, а потом еще семь лет живите в прежней кабале, по правде-то оно выйдет опять не семь лет, а разве что семнадцать, либо двадцать, потому что все, как сами видите, в проволочку идет... Не скоро же воли вы дождетесь, – малые мальчики до бород аль и до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит.

Ну, а покуда она придет, что с вашей землей будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отрежут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещиков да без потачки им от межевщиков по самому царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут, ведь им за то помещики станут деньги давать; оно и выйдет, что оставят вам земли меньше, чем наполовину против прежней: где было на тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину, либо меньше, мужик справляй барщину почти что такую же, как прежде за две десятины, либо оброк плати почти такой же, как прежде за две десятины.

Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит, должен будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика, сколько хочет. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с одной земли, какая оставлена ему по отмежевке, тоже нельзя. Ну, мужик на все и будет согласен, что

барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин барщину больше нонешней, либо оброк тяжелее нонешнего...

Так вот оно к чему по царскому-то манифесту да по указам дело поведено: не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней.

А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну, и рассуждайте, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно.

Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали, иных давно, так что вам уж и не памятно; а других не больно давно, так что деды помнят, прабабка нонешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А ссть сщс такие неразумные, что матушкой Екатерину величают. Хороша матушка, детей в кабалу отдала.

Вы у помещика крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они – все одно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону...

А как же нам, русским людям, в исправду вольнымилюдьми стать? Можно это дело обработать; не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собой мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись.

Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А другая половина – государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтобы рекрутчины, да подушной, да пачпортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, а чтобы тоже мир был всему голова. И от нас, ваших доброжелателей, поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим.

Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон.

А вот тоже солдат – ведь опять из мужиков, тоже ваш брат. А на солдате все держится, все нонешние порядки. А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что, ему житье, что ли, больно

сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им забрили по принуждению, и каждому из них вольную отставку получить бы хотелось. Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля объявится: служи солдатом, кто хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай. А у солдата денег нет, чтобы домой итти да хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему при отставке будут на то деньги выданы, сто рублей серебром каждому. А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованье 50 рублей серебром. А и принужденья никакого нет, хочешь – оставайся, хочешь – в отставку иди. Вы так им и скажите, солдатам: вы, братья солдатушки, за нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, потому что и вам воля будет: вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, да сто рублей серебром награды за то, что своим братьям мужикам волю добыть помогал. Значит, и вам и себе добро сделает. И поклон им от нас скажите:

Солдатам русским от их доброжелателей поклон.

А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры и не мало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, и таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть...

Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит – спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет готовности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и

пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет, и единодушные в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовка у тебя идет.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1950. Т. 7. С. 517–518, 520–521, 523–524.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Что такое обломовщина?

По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов, и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, — не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью; в ней сказывалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это — обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени...

В самом деле — как чувствуется веяние новой жизни, когда, по прочтении Обломова, думаешь, что вызвало в литературе этот тип. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широте его воззрений. И силу таланта, и воззрения самые широкие и гуманные находим мы и у авторов, произведших прежние типы, приведенные нами выше. Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шепотом, то приняло уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность настоящего дела. Бельтов и

Рудин, люди с стремлениями действительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами, которые их давили. Они вступали в дремучий, неведомый лес, шли по топкому опасному болоту, видели под ногами разных гадов и змей, и лезли на дерево, — отчасти, чтоб посмотреть, не увидят ли где дороги, отчасти же для того, чтобы отдохнуть и хоть на время избавиться от опасности увязнуть или быть ужаленными. Следовавшие за ними люди ждали, что они скажут, и смотрели на них с уважением, как на людей, шедших впереди. Но эти передовые люди ничего не увидели с высоты, на которую взобрались: лес был очень обширен и густ. Между тем, влезая на дерево, они исцарапали себе лицо, переранили себе ноги, испортили руки... Они страдают, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись как-нибудь поудобнее на дереве. Правда, они ничего не делают для общей пользы, они ничего не разглядели и не сказали; стоящие внизу, сами, без их помощи, должны прорубать и расчищать себе дорогу по лесу. Но кто же решится бросить камень в этих несчастных, чтобы заставить их упасть с высоты, на которую они взмостились с такими трудами, имея в виду общую пользу? Им сострадают, от них даже не требуют пока, чтобы они принимали участие в расчистке леса; на их долю выпало другое дело, и они его сделали. Если толку не вышло, — не их вина. С этой точки зрения каждый из авторов мог прежде смотреть на своего обломовского героя, и был прав. К этому присоединялось еще и то, что надежда увидеть где-нибудь выход из лесу на дорогу долго держалась во всей ватаге путников, равно как долго не терялась и уверенность в дальнозоркости передовых людей, взобравшихся на дерево. Но вот, мало-помалу, дело прояснилось и приняло другой оборот: передовым людям понравилось на дереве; они рассуждают очень красноречиво о разных путях и средствах выбраться из болота и из лесу; они нашли даже на дереве кой-какие плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку вниз; они зовут к себе еще кой-кого, избранных из толпы, и те идут и остаются на дереве, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже — Обломовы в собственном смысле... А бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают гады, хлещут по лицу сучья... Наконец, толпа решается приняться за дело и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы молчат и обжираются плода-

ми. Тогда толпа обращается и к прежним своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего. – Тогда бедные путники видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: «э, да вы все Обломовы!». И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья, делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадов, попавшихся на ней, не заботясь более об этих умниках, об этих сильных натурах, Печориных и Рудиных, на которых прежде надеялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрят на общее движение, но потом, по своему обыкновению, трусят и начинают кричать ... «Ай, ай, – не делайте этого, оставьте, – кричат они, видя, что подсекается дерево, на котором они сидят. – Помилуйте, ведь мы можем убиться, и вместе с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые в нас всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы делаете?..» Но путники уже слышали тысячу раз все эти прекрасные фразы и, не обращая на них внимания, продолжают работу. Обломовцам есть еще средство спасти себя и свою репутацию: слезть с дерева и приняться за работу вместе с другими. Но они, по обыкновению, растерялись и не знают, что им делать... «Как же это так вдруг?» – повторяют они в отчаянии и продолжают посылать бесплодные проклятия глупой толпе, потерявшей к ним уважение.

А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для нее совершенно все равно, – Печорин ли перед ней или Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова. Нельзя сказать, чтоб превращение это уже совершилось: нет, еще и теперь тысячи людей проводят время в разговорах, тысячи других людей готовы принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается – доказывает тип

Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознания о том, как ничтожны все эти *quasi* (мнимо (латин.)). – *Примеч. сост.*) талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является перед нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: *что он делает? в чем смысл и цель его жизни?* – поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настает неотлагательно, время работы общественной... И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова *знамение времени...*

Да, все эти обломовцы никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственной силой, двигающей человеком. Потому-то эти люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными в частных фактах своей деятельности. Потому-то дороже для них отвлеченные воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы полюбоваться логическим построением своей речи; говорят смелые вещи, чтобы прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья, говоренья, – они или вовсе не хотят знать, или не слишком беспокоятся. Они постоянно говорят вам: вот, что мы знаем, вот, что мы думаем, а впрочем, – как там хотят, наше дело – сторона... Пока не было работы в виду, можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем. На этом и основан был в обществе успех людей, подобных Рудину. Даже больше – можно было заняться кутежом, интрижками, каламбурами, театральством, – и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже Онегин должны были казаться натурой с необъятными силами души.

Но теперь уж все эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их...

Теперь загадка разъяснилась,

Теперь им слово найдено.

Слово это – *обломовщина*.

Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, – я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.

Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он – Обломов.

Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он – Обломов.

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что, наконец, сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это все пишут из Обломовки.

Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неумывающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...

Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите: «вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают... Предложите им самое простое средство, – они скажут: «да как же это так вдруг?». Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут... Продолжайте разговор с ними и спросите: что же вы намерены делать? – Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но, посудите сами...» и пр. Больше от них вы ничего не дожде-тесь, потому что на всех них лежит печать обломовщины.

Кто же, наконец, сдвинет их с места этим всемогущим словом «вперед!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно томи-тельно ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обще-стве, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблужде-

нию, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», – говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы – наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова и еще рано писать нам надгробное слово...

...Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила даже теперь – *в настоящее время, когда*¹, и пр. Кто из наших литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел в виду Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки:

«Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремление куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штолец. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы, – и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, – задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преобразуются в стремления: он, движимый нравственной силой, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, господи! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия! Но, смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смирятся в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу,

¹ «В настоящее время, когда...» – начальная фраза из пародии Добролюбова на статьи либеральных публицистов, восхищавшихся быстрым ходом «российского прогресса» и возлагавших надежды на правительственные реформы (Современник. 1858. № 12).

с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!» ...

Не правда ли, образованный и благородно-мыслящий читатель, – ведь тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что привставал с постели, протягивал руку и озирался вокруг. Иные так далеко не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море (таких большая часть); у других мысли вырастают в намерения, но не доходят до степени стремлений (таких меньше); у третьих даже стремления являются (этих уж совсем мало) ...

Современник. 1859. № 5.

Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: В 6 т. М., 1935. Т. 2. С. 10, 25–27, 29–32.

Новый кодекс русской практической мудрости

Человеку нужно счастье, он имеет право на него, должен добиваться его во что бы то ни стало.

Счастье, – в чем бы оно ни состояло применительно к каждому человеку порознь, – возможно только при удовлетворении первых материальных потребностей человека, при обеспеченности его нынешнего положения.

При современном устройстве и направлении общество не может достигнуть обеспеченности, не может и думать о достижении счастья тот, кто будет во всем, постоянно и неуклонно, следовать своим высоким стремлениям, ни разу не уступит обычаю и силе, не затаит своей правды. Известно, что такого человека не терпят в обществе и не дают ему ходу как беспокойному и опасному вольнодумцу.

Согласны вы принять эти три положения? Или, может быть, вы скажете, что наше современное общество уже дает полный простор честным людям, – что у них не может теперь оставаться за душой невысказанной мысли, не может встретить помехи задуманное предприятие? Неужели вы решитесь сказать это? В таком случае немного же имеете вы за душой честных убеждений!..

Итак, я полагаю, что вы принимаете все три положения, указанные выше. Что же из них следует? По моему мнению, вывод не труден для человека, действительно уважающего правду и в самом деле

желающего общего блага. Если настоящие общественные отношения не согласны с требованиями высшей справедливости и не удовлетворяют стремлениям к счастью, создаваемым вами, то, кажется, ясно, что требуется коренное изменение этих отношений. Сомнения тут никакого не может быть. Вы должны стать выше этого общества, признать его явлением ненормальным, болезненным, уродливым и не подражать его уродству, а, напротив, громко и прямо говорить о нем, проповедывать необходимость радикального лечения, серьезной операции. Почувствуйте только как следует права вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы самым неприметным и естественным образом придете к кровной вражде с общественной неправдой... Тогда-то, и только тогда, можете вы с полным правом считать себя честным человеком, и вам уже возможно будет отвергать темные сделки с ложью и неправой силою...

Современник. 1959. № 6.
Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: В 6 т.
М., 1937. Т. 4. С. 103–104.

Темное царство

...Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы, но иногда, на минуту, вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого – и наше сердце стесняется болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники, – они сидят в летаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положение; но, тем не менее они чувствуют тяжесть, лежащую на них, они не потеряли способности ощущать свою боль.

...Тут никто не может ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что приятель ваш похвалится тем, что он ловко обсчитал или обворовал вас; компаньон в выгодной спекуляции – легко может забрать в руки все деньги и документы и засадить своего товарища в яму за долги; тесть надует зятя приданым; жених обочтет и обидит сваху; невеста-дочь проведет отца и мать, жена обманет мужа. Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом темном мире: господствующее над ним самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало из него всякое сознание чести и права... И не может быть их там, где повержено в прах и нагло растоптано самодурами человеческое достоинство, свобода личности, вера в любовь и счастье и святыня честного труда...

«Но ведь есть же какой-нибудь выход из этого мрака?.. Островский, так верно и полно изобразивший нам «темное царство», показавши нам все разнообразие его обитателей и давши нам заглянуть в их душу, где мы успели разглядеть некоторые человеческие черты, должен был дать нам указание и на возможность выхода на вольный свет из этого темного омута... Иначе – ведь это ужасно – мы остаемся в неразрешимой дилемме: или умереть с голоду, броситься в пруд, сойти с ума, – или же убить в себе мысль и волю, потерять всякое нравственное достоинство и сделаться раболепным исполнителем чужой воли, взяточником, мошенником, для того, чтобы безмятежно провести жизнь свою... Если только к этому приводит нас вся художественная деятельность замечательного писателя, так это очень печально!..».

Печально, – правда; но что же делать? Мы должны сознаться: выхода из «темного царства» мы не нашли в произведениях Островского. Винить ли за это художника? Не оглянуться ли лучше вокруг себя и не обратить ли свои требования к самой жизни, так вяло и однообразно плетущейся вокруг нас... Правда, тяжело нам дышать под мертвящим давлением самодурства, бушующего в разных видах, от первой до последней страницы Островского; но и окончивши чтение, и отложивши книгу в сторону, и вышедши из театра после представления одной из пьес Островского, – разве мы не видим наяву вокруг себя бесчисленного множества тех же Брусковых, Торцовых, Уланбековых, Вышневских, разве не чувствуем мы на себе их мертвящего дыхания?.. Поблагодарим же художника за то, что он, при свете своих ярких изображений, дал нам хоть осмотреться в этом тем-

ном царстве. И то уж много значит... Выхода же надо искать в самой жизни: литература только воспроизводит жизнь и никогда не дает того, чего нет в действительности...

Современник. 1859. № 7.
Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: В 6 т.
М., 1935. Т. 2. С. 53–56, 133.

Народное дело. Распространение обществ трезвости

Много раз приходилось нам слышать от людей, искренно желающих народного блага, выражение сожаления о том, что народ наш живет так разрозненно, так мало проникнут сознанием общих интересов. Не менее горькие сетования слышатся часто и о том, что масса простого народа отделена у нас китайской стеной от образованных классов общества и вследствие того почти не может пользоваться благотворительными указаниями науки и литературы. И в самом деле, как много представляется пессимистами фактов и соображений, которые приводят к чрезвычайно мрачным заключениям о быте и характере народных масс и заставляют почти отчаяться возможности их успехов на поприще нравственных и общественных интересов.

«Народонаселение наше, — говорят пессимисты, — раскинуто по бесконечной равнине и во всей европейской России едва составляет 500 человек на квадратную милю, то-есть в восемь или в десять раз меньше населенности всей остальной Европы. Средства сообщения между обитателями разных концов этого 4000-верстного протяжения чрезвычайно неудобны и затруднительны, а потребности и обычаи их слишком разнообразны. Суровый климат и неблагоприятная почва большей половины этого пространства требуют изнурительных и долгих трудов для того, чтобы человек мог безбедно удовлетворять всем своим естественным потребностям. А между тем труд и богатство распределены с гораздо большим неравенством, нежели в какой бы то ни было другой стране. Почти весь производительный труд приходится на долю простонародья [почти все выгоды его достаются образованным классам]. На обязанности земледельца лежит не только забота о своем собственном прокормлении, но и содержание, — да не просто содержание, а богатое, роскошное содержание, — [высших] классов общества. Когда тут думать ему о высших потребностях собственной натуры, когда хлопотать о средствах для улучшения своего собственного быта? Да если и успеет и захочет простолюдин позабо-

тяться о своем нравственном и материальном усовершенствовании, то как он за это возьмется, если только он не мошенник, а честный человек? Вокруг него, перед ним и за ним, вверху и внизу – везде затруднения и препятствия. Промышленность развита у нас мало, да и то составляет большей частью монополию капиталистов, у которых бедному простолюдину можно быть только батраком и поденщиком; денежный курс все меняется к невыгоде бедняка: дороговизна увеличивается год от году, вместе с роскошью тех классов, которые безотчетно бросают направо и налево не ими нажитые деньги. Куда ни поди бедняк, что ни задумай приобрести себе, – ни к чему приступу нет, и на всем должен потерпеть страшный изъяз. На какие же средства будет он улучшать свое нравственное и материальное положение? Откуда возьмет он досуг для приобретения образования? Откуда возьмется у него вкус к участию в общественных интересах?..

...В школе его учат «не рассуждать, а исполнять»; в деле сердца и высших стремлений он слышит беспрепятственно суеверные аллегории от разных мистификаторов; в юридических отношениях он натывается всюду или на помещичью власть, или на окружного и станового; в частных житейских делах он встречает – кулака, конокрада, знахаря, солдата на постое, купца-барышника, подрядчика... Наконец, на каждом перекрестке в городе, на каждой сходке в селе, на каждой станции по дороге – встречает он целовальника и откупщика и, полный горького отчаяния, предается им телом и душой, с семьей, с именишком, даже часто с будущим трудом своим, за который еще только задаток получен»...

Так говорят пессимисты и, на основании своих мрачных соображений, отрицают возможность какого бы то ни было общего, самостоятельного движения в нашем народе. ...

Вечной апатии нельзя предположить в существе живущем; за латаргией должна следовать или смерть, или пробуждение к деятельной жизни. Следовательно, ежели правда, что наш народ совершенно равнодушен к общественным делам, то из этого вытекает вопрос: нужно ли считать это признаком близкой смерти нации, или нужно ждать скорого пробуждения? Пессимисты готовы, пожалуй, осудить на медленную смерть целое племя славянское; но, по нашему глубокому убеждению, они крайне несправедливы. Их обманывает временная летаргия, и они не хотят видеть признаков жизненности, по временам обнаруживающихся в нашем народе. А между тем суще-

ствование этих признаков не только подтверждается внимательными наблюдениями, но даже оправдывается некоторыми соображениями а priori. Говоря о народе, у нас сожалеют обыкновенно о том, что к нему почти не проникают лучи просвещения и что он поэтому не имеет средств возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя к гражданской деятельности и пр. Сожаления эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не дают нам права махнуть рукой на народные массы и отчаяться в их дальнейшей участи... Образованность именно ведет к большей ли меньшей степени ясности сознания и затем – к умению формулировать то, что сознается... Но и неформулированное страдание – все-таки страдание; [и смутное безотчетное недовольство – все-таки недовольство]. Пусть оно таится, пусть не принимает определенного выражения, это не должно обманывать нас: есть, предел, за которым оно должно ярко обозначиться, [и тогда] без всяких книг, без всяких отвлеченных соображений, не говоря никаких фраз, даже не принимая особого имени для себя [оно проявится на самом деле]. Действительный факт, отразившись на практической жизни деятельного, рабочего человека, породит тоже действительный факт, тогда как книжные теории и предположения образованных людей, может быть, так и останутся только теоретическими предположениями...

...Народные массы не умеют красно говорить; оттого они и не умеют и не любят останавливаться на слове и услаждаться его звуком, исчезающим в пространстве. Слово их никогда не пусто (оно говорится ими, как призыв к делу, как условие предстоящей деятельности). Сотни тысяч народа, в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без всяких предварительных возбуждений и прокламаций, в разных концах обширного царства, отказались от водки, столь необходимой для рабочего человека в нашем климате! Эти же сотни тысяч откажутся от мяса, от пирога, от теплого угла, от единственного армячишка, от последнего гроша, если того потребует доброе дело, сознание в необходимости которого созревает в их душах. В этой же способности приносить существенные жертвы раз сознанию и порешенному делу и заключается величие простой народной массы, величие, которого никогда не можем достичь мы, со всей нашей отвлеченной образованностью и прививной гуманностью. Вот отчего все наши начинания, все попытки геройства и рыцарства, все претензии на нововведения и реформы в общественной

деятельности бывают так жалки, мизерны и даже почти непристойны в сравнении с тем, что совершает сам народ и что можно назвать действительно народным делом.

Современник. 1859. № 9.

Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: В 6 т. М., 1937. Т. 4. С. 106–110, 138–139.

Из письма С. Т. Славутинскому*

Март 1860 г.

...Мы вот уж третий год из кожи лезем, чтоб не дать заснуть обществу под гул похвал, расточаемых ему Громекой (либеральный публицист, сотрудник «Отечественных записок» и «Русского вестника». — *Примеч. сост.*) и К³; мы всеми способами смеемся над «нашим великим временем, когда», над «исполинскими шагами», над бумажным ходом современного прогресса, имеющим гораздо меньший кредит, чем наши бумажные деньги. И вдруг вы начинаете гладить современное общество по головке, оправдывать его переходным временем (да ведь других времен, кроме переходных, и не бывает, если уж на то пошло), видеть в нем какое-то сознательное и твердое следование к какой-то цели!.. Я не узнал Вас в этой характеристике общества. ... У нас другая задача, другая идея. Мы знаем (и Вы тоже), что современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху, — до того, чтобы противно стало читателю все это богатство грязи, чтобы он, задетый, наконец, за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «да что же, дескать, это, наконец, за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи «Современника», и «Свисток»...

Огни: [Сборник]. 1916. Кн. 1. С. 66–68.

* С. Т. Славутинский вел в 1860 году «Внутреннее обозрение» «Современника». Руководители журнала вынуждены были подвергать его обозрения коренной переработке, а затем и вовсе отказались от сотрудничества со Славутинским. Отдел перешел в руки Г. З. Елисеева.

**Внутреннее обозрение мартовского номера
«Современника» за 1861 год**

...Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты, т. е. о дарованной крестьянам свободе. Напрасно. Вы ошибетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете. Я не подал вам никакого, даже малейшего повода думать, что я хочу стяжать лавры фельетониста, что я безустанно буду гоняться за всеми новостями, какие бы они ни были, которые появятся в течение месяца, ловить их и представлять вам в своем «Обозрении». Напротив, я старался показать вам, что я хочу вести речь связную, разумную и основательную, а не представлять вам перечень всех явлений, возникающих в течение месяца, разнovidных и разнородных, связывая их только таким образом, по общепринятому обычаю: «поговорив, дескать, о полиции, перейдем теперь к театру, а поговорив о театре, перейдем к сапожному цеху, а сказав о сапожном цехе, скажем несколько слов о философии, а от философии, дескать, прямой переход к балаганным представлениям, где весьма важную роль играет наша народная философия» и т. д. Правда, мы помещаемся в отделе, который называется «Внутренним Обозрением». Но потому-то мы и почитаем себя обязанными обозревать все явления не в обманчивой призрачности их первоначального появления, а в их внутреннем значении в том порядке жизни, в котором они должны осесться, получить прочное Dasein [существование (немец.)]. В свое время поговорим и мы о свободе крестьян... но только не теперь.

Современник. 1861. № 3. С. 101–102.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Наша общественная жизнь

По всей вероятности, читатель, который возьмет в руки эту первую книжку возобновленного «Современника», прежде всего спросит себя: очистились ли мы постом и покаянием? (Салтыков подразумевает приостановку «Современника» на 8 месяцев. – *Примеч. сост.*)

Что пост был – это достоверно; в этом в особенности убедилась сама редакция «Современника». Не то, чтобы идея поста была совер-

шенно противна «Современнику», но, конечно, было бы желательно, чтобы сроки воздержания были назначаемы несколько менее щедро рукой. Это вам более желательно, что было бы вполне согласно и с подлежащими постановлениями, которые нигде не заповедали, чтобы пост продолжался восемь месяцев. Будем надеяться, что это случилось нечаянно и что, с обнаружением новых законов о книгопечатании, будут изысканы иные, более приятные и не менее полезные мероприятия...

Что же касается до вопроса о покаянии, то на него мы постараемся ответить в продолжение последующих десяти месяцев настоящего года. Но во всяком случае, мы обещаемся быть благонамеренными, потому что все нас к тому призывает: и желание беседовать с читателями именно двенадцать, а не пять раз в году, и современное настроение российского общества, и, наконец, разные другие обстоятельства.

Но прежде всего я обязан определить, что такое благонамеренность...

...Прежде всего, благонамеренный человек должен обладать хорошим поведением. ...

Таким образом, с помощью фигур и уподоблений, мы догадываемся, наконец, что такое этот «хороший образ мыслей», который в последнее время пустил такие сильные корни в нашем обществе. Сидите ли вы в театре, идете ли по улице, — вы на каждом шагу встречаете людей, которых наружность ничего иного не выражает, кроме того, что их отлично кормят. ...

Деятели, целую жизнь дразнившие и усыкавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, всенародно раздирают на себе одежды и признают себя удовлетворенными. «Мальчишки!» — стонет на все лады один; «нигилисты!» — подвизгивает ему другой. И хотя это обвинение есть единственное, которое успела ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вероятно, оно признается достаточно капитальным, если журналы серьезные и, по-видимому, благонамеренные решаются настаивать на нем...

Из всего сказанного выше явствует, что один из существенных признаков нашей благонамеренности заключается в ненависти к мальчишкам и нигилистам. Что такое нигилисты? что такое мальчишки?

Слово «нигилисты» пущено в ход И. С. Тургеневым и не обозначает, собственно, ничего. В романе г. Тургенева («Отцы и дети». — *Примеч. сост.*), как и во всяком благоустроенном обществе, действуют отцы и дети. Если есть отцы, следовательно, должны быть и дети —

это бы, пожалуй, не новость; новость заключается в том, что дети не в отцов вышли, и вследствие этого происходят между ними беспрестанные реприманды.

Отцы – народ чувствительный и веруют во все. Они веруют и в красоту, и в истину, и в справедливость, но больше прохаживаются по части красоты. Они проливают слезы, читая Шиллерову «Resignation» («Примирение». – *Примеч. сост.*), они играют на виолончели, а отчасти и на гитаре, но не остаются нечувствительными и к четверткам. Да, люди о которых я докладывал выше, как о поддавшихся обаянию четвертака, – это все отцы. Вообще, это народ легко очаровывающийся. Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались, как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны – *Laure am clavier* («Лаура за клавесином» – стихотворение Шиллера. – *Примеч. сост.*), с другой – тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей – вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь. Тем не менее надо отдать им справедливость: Лаура с каждым днем все дальше и дальше отодвигается на задний план, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержания. Способность очаровываться осталась та же, но предмет ее изменился, и изменился потому, что нет в живых ни Белинского, ни Грановского. Будь они живы, они, конечно, сказали бы «отцам»: цыц! и тогда, кто может угадать, чем увлекались бы в настоящую минуту эти юные старцы?

...Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы их фармазонами, полковник Скалозуб назвал бы вольтерьянцами, но И. С. Тургенев не захотел быть подражателем и назвал нигилистами...

...Нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего. Тявкнет ли на улице шавка – благонамеренные кричат: это нигилисты подучили ее; пойдет ли безо времени дождь, благонамеренные кричат: это нигилисты заговаривают стихии! Этого мало: летом 1862 года, по случаю частых пожаров в Петербурге, ходили слухи о поджогах – благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов, образовалась какая-то неслыханная потаенная литература – благонамеренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до такой степени безобразия и нелепости, что благонамеренные готовы были, чтоб у них поснимали головы, лишь бы иметь право сказать: это они! это нигилисты!... ..Допустим, что слово «нигилист» выража-

ет собой совокупность всех возможных позорных понятий, начиная от неносения перчаток и кончая отрицанием кокоревского либерализма, – чем же тут виноваты мальчишки? Посредством какого адского сцепления идей приплетаются они к нигилизму? Умышленно ли это делается или неумышленно?

Прежде всего, примем в соображение, что слово «мальчишки» имеет смысл нарочито презрительный. Оно пущено в ход московскими публицистами, которые в этом случае оказали благонамеренным услугу столь же незабвенную, как и И. С. Тургенев. И действительно, сила заключается не в слове, а в том понятии, которое оно выражает; «мальчишки» же выражают собой еще более, нежели «нигилисты»... Слово «мальчишки», так сказать, подрывает будущее России, ибо обращается преимущественно к молодому поколению, на котором, как известно, покоятся все надежды любезного отечества.

Одним словом, мальчишество есть нечто вроде греха первородного; мальчишка уже тем виноват, что он мальчишка; мальчишка фаталистически обречен на нигилизм.

Он не может ни серьезно мыслить, ни серьезно думать – потому что он мальчишка; он не смеет ни о чем иметь своего суждения – потому что он мальчишка; его мысли, его действия, его телодвижения, все его существо, одним словом, необходимо должны заключать в себе нечто озорное, имеющее особый пасквильный смысл, – потому что он мальчишка. «Угодно вам папиросу?» – спрашивает мальчишка у благонамеренного, и благонамеренный фыркает и злится, потому что думает: «га! это он неспроста мне папиросу предлагает! он хочет этим показать, что я до такой степени ослаб, что даже папиросу выкурить не в состоянии!»». Каждое слово мальчишки подвергается толкованию самому инквизиторскому, в каждом его действии видится поползновение протанцовать карбонарский канкан...

Да не подумает, однако ж, читатель, что я вызываю о сожалении к мальчишкам, что я для того обращаюсь к памяти благонамеренных, чтобы сказать им: и вы были молоды, и вы заблуждались, так имейте же снисхождение к молодости и заблуждениям других! Нет, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамеренным: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть.

Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество – сила, а сословие мальчишек –

очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно, и что слова: «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо-скрытую досаду, нечто вроде плача Адама об утраченном рае.

В чем же собственно дело? Где побудительная причина тех ожесточенных походов, которые поднимаются «благонамеренными» против «мальчишек»? Какие, наконец, права «мальчишек» на общее внимание?

Ответ на эти вопросы не так затруднителен, как это кажется с первого взгляда. Нельзя не сознаться, что общий уровень жизни падает; многое, с чем мы сжились, оказывается несостоятельным; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознается, что нет существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуем, и в то же время не можем ничего выдумать к облегчению наших собственных болей!

И вот, в то самое время, когда мы вздыхаем и недоумеваем, вокруг нас все-таки происходит нечто новое; миазмы мало-по-малу разрежаются, жизнь становится и приветнее, и светлее. Откуда этот успех?

[Все оттуда, милостивые государи, все из мальчишества. Как бы ни мал был успех, как бы ни нерешительна была победа, но они существуют, они чувствуются, источник их не в нас, благонамеренных, а в мальчишестве, в той неустанно-наступательной силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых жизненных форм, большей частью, зависит от нас и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их, чтобы в нас заключалось какое-нибудь деятельное начало. Нет, мы только уступаем, мы только терпим; часто мы даже уступаем нехотя, с затаенной мыслью, но все-таки уступаем. Ибо таково действие свежей, неподкупленной гниlostными преданиями жизненной струи, что она покоряет себе человека, несмотря на его пролеты, она всасывается в него незаметно для него самого.

Итак, если мы видим, что жизнь мало-по-малу идет вперед – мы обязаны этим мальчишеству; если мы самих себя сознаем лучше и чище – мы обязаны этим мальчишеству.]

Мы клянем мальчишество, мы презираем его, и в то же время, неслышно для нас самих, признаем его силу и подаем ему руку.

Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь.

Я мог бы привести тысячи примеров из практики в доказательство справедливости моего положения; если не делаю этого, то единственно из опасения, чтоб из того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, вольтерьянством все то добро, которое ныне воочию совершается. И нельзя ли отсюда придти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими более или менее поносительными именами, будет *когда-нибудь* называться добром?

[Можно. Для этого надобно только, чтобы видимая трудность подвига не приводила мальчишества в отчаяние.]

Современник. 1863. № 1–2.

Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений: В 19 т. 1941. Т. 6. С. 41, 42–44, 46–47, 50–52, 53–55.

МАТЕРИАЛЫ ИЗ САТИРИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «СВИСТОК»

1

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Юное дарование, обещающее поглотить всю современную поэзию

...Милостивые государи!

Мне 20 лет. Я с юных годов одержим невыносимой любовью к поэзии. 12-ти лет я уже писал весьма хорошие стихи. Вообще я развился весьма рано. Вот первое стихотворение, которое я счел достойным печати; я написал его, будучи 12-ти лет:

*Первая любовь**

Вечер. В комнатке уютной
Кроткий полусвет.
И она, мой гость минутный...

* Пародия на стихотворение Фета «Шопот, робкое дыханье».

Ласки и привет;
Абрис миленькой головки,
Страстных взоров блеск,
Распускаемой шнуровки
Судорожный треск...
Жар и холод нетерпенья...
Сброшенный покров...
Звук от быстрого паденья
На пол башмачков...
Сладострастные объятья,
Поцелуй немой, —
И стоящий над кроватью
Месяц золотой...

1853

Это стихотворение попало к отцу моему, и он, признаюсь вам, чуть меня за него не высек. Напрасно уверял я его, что ничего подобного не видывал и не чувствовал, что это все есть подражание разным поэтам (я никогда не подражал одному): отец не хотел верить — так велика была сила таланта и живость изображения предмета!..

Но как ни уверен я был в своем даровании, а перспектива быть высеченным вовсе мне не нравилась, и я немедленно переменял род своей поэзии...

...Сделавшись больше и приобретя серьезный взгляд, я перестал уже тратить драгоценное время на описание любовных чувств. Вокруг меня волновалась общественная деятельность, все было полно новых надежд и стремлений, все озарено было самыми светлыми мечтами. ...

Вслед за тем у меня родилась потребность самому быть общественным деятелем, и я изобразил свое настроение в нескольких звуковых пьесах, из коих вот одна:

Общественный деятель

Я ехал на вечер. Веселыми огнями
Приветливо сиял великолепный дом;
Виднелась зала в нем с зелеными столами
И бальной музыки из окон неся гром.

А у ворот стоял болезненный и бледный,
С морозу синий весь, с заплаканным лицом,
В лохмотьях и босой, какой-то мальчик бедный
И грошик дать на хлеб молил меня Христом.

Я бросил на него взор, полный сострадания,
И в залу бальную задумчиво вошел,
И детям суеты, среди их ликованья,
О бедном мальчике печально речь повел.

В кадрилих говорил о нем я девам нежным;
Меж танцев подходил я к карточным столам;
Восторженно взывал я к юношам мятежным
И скромно толковал почтенным старикам.

Но глухи были все к святым моим призывам...
И проклял я тогда бездушный этот свет,
За то, что он так чужд возвышенным порывам, —
И тут же мстить ему я дал себе обет.

Я скоро отомстил: за ужином веселым,
Лишь гости поднесли шампанское к губам,
Я тостом грянул вдруг, для их ушей тяжелым:
«Здоровье бедняка, страдающего там!»

И показал я им на улицу рукою.
Смутились гости все, настала тишина,
Не стали пить... Но я, — я пил с улыбкой злою,
И сладок для меня был тот бокал вина!..

1858

Свисток. № 5 // Современник. 1860. № 5.

Н. А. НЕКРАСОВ

Отъезжающим за границу

Призвание Свистка широко: он должен услаждать слух почтенной публики, остающейся дома, и может сопровождать приличными звуками отъезжающих за границу. Он это понимает, но на последнее он решится только тогда, когда сам побывает в Европе и посмотрит, в какой мере и с какой стороны почтенные наши сограждане, там проживающие, заслуживают свиста. А между тем теперь все едет за границу; места в почтовых экипажах забраны за два месяца вперед; на пароходах давка. Не сказать ничего этим почтенным людям, покидающим отечество, а следовательно, нуждающимся в утешении, — было бы нехорошо. И мы очень рады, что подвернулся человек, который прислал нам свой «Первый шаг в Европу». Стихотворение, как видно, писано уже несколько лет тому назад, но благая мысль, руково-

дившая почтенным автором, понятна без объяснений: ее можно перевести известной нашей пословицей: «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Но не в мысли дело; в произведении, так написанном, могло бы и вовсе не быть мысли и все-таки оно было бы превосходно: так необыкновенна его форма! Это что-то дантовское. Давно уже решено, что мы имеем великих писателей по всем отраслям и во всех родах, но русского Данта еще не было. Пушкин написал несколько подражаний Данту, но это не более как попытка. Майков несколько удачнее воспроизвел манеру Данта в своем «Отрывке», но пальму первенства в этом роде мы решительно даем автору «Первого шага». Жизненность содержания дает ему силу, пусть читатель сам судит...

Первый шаг в Европу

Письмо первое

Как дядю моего Ивана Ильича
Нечаянно сразил удар паралича
В его наследственном имении Корсунском, –

Я памятник ему воздвигнул сгоряча,
А души заложил в совете опекуном.

Мои домашние, особенно жена,
Пристали: «жизнь для нас на родине скучна»;
Кто: «ангел!», кто: «злодей! вези нас за границу!»

Я кликнул старосту Ивана Кузьмина,
Именье сдал ему и – укатил в столицу.

В столице получив немедленно паспорт,
Я сел на пароход и уронил за борт
Горячую слезу, невольный дар отчизне...

«Утешься, – прошептал нас увлекавший чорт, –
Отраду ты найдешь в немецкой дешевизне» –

И я утешился... И тут уж не долга
Развязка мрачная: минули мы берега
Священной родины, минули Свинемюнде,

Приехали в Берлин – и обрели врага
В Луизе-Августе-Фернанде-Кунигунде.

Так горничная тварь в гостинице звалась.
Но я предупредить обязан прежде вас,
Что Лидия – моя дражайшая супруга –

Ужасно горяча: как будто родилась
Под небом Африки; в ней дышут страсти юга!

.....

В гостинице едва я умываться стал,
Вдруг слышу: Лидия бушует словно Терек.

Я бросился туда. Вот что случилось с ней...
О ужас! о позор! В небрежности своей
Луиза, Лидию с дороги раздевая,

Царапнула слегка булавкой шею ей,
А Лидия моя, не долго размышляя...

Но что тут говорить? Тут нужны не слова,
Тут громы нужны бы... Недвижна, чуть жива
Стояла Лидия в какой-то думе новой.

Растрепана коса, поникла голова:
«На натиск пламенный ей был отпор суровой!...»

Слова моей жены: «О, друг, Иван Ильич!»
Мне вспомнились тогда: «здесь грубость, мрак и дичь,
Здесь жить я не могу – вези меня в Европу!».

Ах! лучше б, душечка, в деревне девок стричь
Да надирать виски безгласному холопу!
И тяжко я вздохнул о родине моей...

.....

Более нет ничего. Но судя по тому, что в начале означено: письмо первое, мы вправе надеяться продолжения. Жаль, что автор не выставил своего имени: любопытно бы знать, кому принадлежит такое дарование. Но, с другой стороны, как подумаешь, то увидишь, что он и не мог выставить имени. Он уже и так принес большую жертву гласности обнаружением факта, и, таким образом, кроме литературного достоинства, произведение его имеет цену общественной заслуги.

«Свисток» радуется, что ему удалось напечатать такую вещь, в которой счастливо сочетались оба эти качества.

Свисток. № 5 // Современник. 1860. № 5.
Литературное наследство. 1946. Т. 49–50. С. 317–319.

Проект введения единомыслия в России

Для вящей характеристики Козьмы Петровича Пруткова, как государственного человека и верного сына отечества, я привожу здесь еще один отрывок из портфеля покойного, наполненного множеством неоконченных произведений (d'inacheve). Это – проект, не вполне отделанный, на котором сделана пометка: *«подать в один из торжественных дней на усмотрение»*. Проект этот был написан в 1859 году, но был ли он подан и принят, мне не может быть известно по весьма малому моему чину.

Отставной поручик Воскобойников.

Проект

(Подать в один из торжественных дней на усмотрение)

Приступ: Наставить публику... Занеслась... Молодость, науки, незрелость... Вздор... Убеждения, безначалие, неуважение к старшим. «Собственное» мнение... Собственное мнение... Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется и на чем основано? – Если бы писатели знали что-либо, их призвали бы к службе. Кто не служит, значит: недостоин; стало быть, и слушать его нечего. С этой стороны еще никто не колебал авторитета нынешних писателей; – я первый. (Напереть на то, что я – первый; может быть, это откроет мне карьеру... Далее развить то же, но в других выражениях, сильнее и подробнее).

Трактат: Вред различия во взглядах и убеждениях. Вред несогласия с властью во мнениях. «Аще царство на ся разделиться» и пр. Всякому русскому дворянину свойственно желать не ошибаться. Для осуществления этого желания необходимо держаться мнения начальства, ибо в противном случае, где ручательство, что составленное мнение безошибочно? Но как узнать мнение начальства? Нам скажут: оно выражается в принимаемых им мерах. Это правда... гм!.. Нет!.. Это неправда!.. Правительство нередко таит свои цели из высших государственных соображений, недоступных пониманию большинства. Оно нередко доходит до результата рядом косвенных мер, по-видимому противоречащих одна другой и даже не имеющих между собой никакой связи, но в действительности соединенных секретными

шолнерами одной государственной идеи, одного государственного плана, поражающего ум своей громадностью и своими последствиями... План этот открывается в неотвратимых результатах истории. Итак, может ли какой-либо подданный обсуждать правительственные мероприятия, не владея ключом взаимной между ними связи? «Не по отдельным частям водочерпательной машины суди о достоинствах сих частей» – так сказал я еще в 1842 г. сыну своему Фаддею и до сего времени непреклонно убежден в высокой справедливости этого изречения... Где подданному уразуметь все эти причины, поводы, соображения, разные виды, с одной стороны, и усмотрения – с другой, на основании коих принимаются правительственные меры? Не понять и не уразуметь ему их, если они не будут указаны самим благодетельным правительством. Этому мы видим доказательства ежедневно, ежечасно, скажу – ежеминутно... Вот причина, с одной стороны, почему иные, даже самые благонамеренные люди, нередко сбиваются с толку злонамеренными толкованиями; и почему, с другой стороны, многие из верноподданных недостаточно противодействуют распространяющимся лжемудрствованиям, не имея от правительства указания, какого мнения следует держаться?.. Положение их самое тягостное и даже, смело скажу, вполне невыносимое.

Заключение: На основании всех вышеизложенных соображений и принимая во внимание, с одной стороны, яркую необходимость установления однообразной точки зрения в пространном нашем отечестве, с другой же стороны, усматривая невозможность достижения этой благой цели без учреждения официального печатного органа, нельзя вместе с тем не признать справедливым, что в этом именно заключается настоящая потребность общества и существенное условие его преуспеяния и развития... Будучи поддержан достаточным содействием полицейской и административной властей, такой правительственный орган служил бы надежной звездой, скажу: маяком или вехой для общественного мнения. ... Дело только в том, чтоб избран был редактором достойный во всех отношениях человек, известный своим усердием и преданностью, пользующийся славой писателя и глубокого мыслителя и готовый пренебречь для пользы правительства, конечно, за достаточное вознаграждение, общественным уважением и мнением. В поощрение его и в пример другим необходимо, кроме достаточного вознаграждения, отличать его чинами, орденскими украшениями и особыми денежными наградами. Скром-

ность, свойственная моему характеру, препятствует мне предложить личный свой труд в этом деле и разносторонние свои познания и способности, которыми, однако, я готов жертвовать до последнего издыхания, если это будет согласно с предначертаниями начальства, для бескорыстной службы престолу отечества. Долговременная и беспорочная служба моя в пробирной палатке дает мне, между прочим, возможность разьяснять различные финансовые меры согласно с видами правительства; разьяснения же эти, как известно самому правительству, необходимы для отклонения произвольных суждений, вызываемых стесненным положением финансов нашего дорогого отечества. ...

Козьма Прутков, начальник пробирной палатки,
действительный статский советник
и разных орденов Кавалер, 1859 года (annus nī).

Свисток. № 9 // Современник. 1863. № 4.

Сатира 60-х годов. 1932. С. 229, 233.

Д. И. ПИСАРЕВ

Пчелы

Занявши свое новоселье, пчелы прежде всего замазывают и затыкают все отверстия, кроме одной маленькой дырочки, через которую поддерживается сообщение улья с внешним миром. На молодых побегах разных деревьев пчелы находят клейкую массу, и этою-то массою они как можно плотнее законопачивают щели; если в улей вставлено стекло, то они замазывают его, стараясь таким образом сделать свое жилище недоступным не только для внешних врагов, но преимущественно для действия внешнего света. Темнота совершенно необходима для поддержания существующего порядка. Вылетая из улья, пчела является свободным, усердным работником; у себя дома она подавлена, принесена в жертву внешней стройности государственного тела, и потому, чтобы покоряться таким тягостным условиям, чтобы нести безропотно лишения и труды, не пользуясь своею долею наслаждений, ей необходимо игнорировать настоящее положение дел, не видеть и не понимать того, как проводят время царица и трутни. Первый луч света пугает работницу, освещая грязь и бедность ее вседневной жизни; ей становится тяжело и страшно; она приписывает свое неприятное ощущение не тому зрелищу, которое

осветил ворвавшийся луч, а именно самому лучу; она старается устранить его, как мы, люди, стараемся порою устранить возникающее сомнение; если любопытный натуралист вставит в улей стеклянное окошечко, его замажут, если он для своих наблюдений вынет замазанное стекло, то в улье начнется волнение при первых лучах света; трутни толпами побегут к отверстию, стараясь закрыть его собственными телами; рабочие полетят за замазкою и начнут заклеивать; внутри улья послышится жужжание, и дела придут в прежнее положение только тогда, когда водворится прежняя темнота.

Но если наблюдатель будет постоянно прочищать отверстие, заклеиваемое рабочими и загораживаемое трутнями, если освещение улья будет продолжаться, несмотря на сопротивление всех сословий пчелиного царства, то все дела мало-помалу придут в расстройство. Рабочие перестают работать и начинают понимать, что плодами их усилий пользуются привилегированные классы. Они перестают строить соты, не кормят личинок и не обращают внимания на королеву. Жужжание их усиливается; они собираются в кучки и как будто рассуждают о чем-то, к великому ужасу ториев-трутней и крайнему огорчению царицы, начинающей чувствовать голод и одиночество. Вылетающие рабочие возвращаются без меда, каждая из них сама съедает благоприобретенное имущество; наконец многие из рабочих совершенно покидают улей, начинают жить на просторе, среди цветущей природы, совершенно в свое удовольствие. Королева умирает с голоду, трутни рассеиваются, личинки погибают, и только стены опустелого улья свидетельствуют о недавнем существовании гражданственного или стадного элемента. ...

Пчелы как-то инстинктивно понимают всю важность материальных условий; чтобы развить в молодом существе известные склонности, чтобы утвердить в нем такие свойства, которые ему придется прикладывать к делу в течение всей своей жизни, они начинают кормить его известною пищею, отводят ему просторное помещение, заботятся о его чистоте, — и цель достигается вполне; из скромного, трудолюбивого, бесстрастного и добродушного пролетария делается гордая, властолюбивая, жестокая своим соперницам королева, совершенно неспособная работать, но зато чрезвычайно плодовитая и в высшей степени расположенная к чувственным наслаждениям. При своем трезвом мирозерцании пчелы могли бы сделать великие открытия в области естественных наук, но, к сожалению, забота о на-

сушном хлебе поглощает все живые силы мыслящей части пчелиного народа: у пчел нет ни сословия ученых, ни академий, ни университетов; у них нет даже начатков литературы и поэзии. Они не делают даже самых простых выводов из тех фактов, которые находятся постоянно перед их глазами; они не умеют, например, рассуждать таким образом: ведь рабочая личинка может превратиться в королеву, если я буду кормить ее хорошим и сытным кормом; ведь королева – то же самое, что рабочая пчела, только она лучше откормлена и полнее развита; отчего же не кормить всех одинаково, чтобы все могли в равной мере пользоваться жизнью и производить детей. До этого простого рассуждения пчела никак не умеет дойти, вероятно, потому, что спешная работа не дает ей времени пофилософствовать. «Le travail est un frain» (Работа – это узда (фр.). – *Примеч. сост.*), – говорил Гизо¹ в 30-х годах нашего столетия, и, вероятно, его изречение, которое он великодушно применял к французским ремесленникам, может быть приложено не только к людям, но и к насекомым. Задавленные работою, которая не дает им ни отдыха, ни срока с самой минуты их рождения, пролетарии пчелиного королевства не составляют социальных теорий, не задумываются о смысле жизни, и бытовые формы улья остаются неизменными, незбылемыми и неподвижными. Движения мысли нет; постоянного прогресса незаметно; ни один обычай, ни одно учреждение не оказывается устарелым и не заменяется новым. Но спокойствие в улье сохраняется только тогда, когда припасов достаточно, когда кругом улья лежат цветущие луга, на которых тысячи пчел могут находить себе ежедневно обильную добычу. Как только наступает дождливая осень, как только полевые цветы увядают и осыпаются, так обитатели улья начинают чувствовать беспокойство; являются экономические недоразумения; трутни сталкиваются в своих интересах с пролетариями, и это столкновение ведет к страшным, кровавым результатам, ясно показывающим несостоятельность той конституции, которою управляются пчелы.

Не мешает заметить, что запасы меда, набранные в улье, принадлежат рабочим пчелам, которые горою стоят за свою собственность и не позволяют кому бы то ни было завладеть их экономическими суммами. На это никто и не решается, покуда окрестные луга покры-

¹ Гизо – французский историк. В 1840–1848 годах был главой французского правительства, защищал интересы финансово-промышленной олигархии.

ты цветами; трутни отправляются завтракать и обедать за пределы улья; но, с наступлением осени, такого рода образ жизни становится невозможным; даже рабочие пчелы возвращаются часто в улей с пустым желудком и не приносят на ножках ни меда, ни цветочной пыли; благородные трутни, тяжелые на подъем и не любящие дальних отлучек от родного улья, не находят возможности кормиться и, покружившись над пожелтевшей травой, возвращаются домой голодные и недовольные. Тогда в улье начинаются волнения, смысл которых можно, для большей наглядности, передать в виде совещаний и разговоров между представителями различных сословий, партий и мнений в улье.

Трутни собираются в кучки и с ворчливым жужжанием передают друг другу неутешительные сведения о бесплодии окружающих лугов и еще более неутешительные мнения о том, что, при подобном положении дел, надо ожидать голодной смерти.

«Мы – привилегированное сословие, – восклицает один из трутней, гордо расправляя крылья. – Мы пользуемся отменным расположением нашей милостивой повелительницы. Работники должны заботиться о нашем пропитании. Это их прямая обязанность; во время летних дней они набрали много меда, и в этом запасе мы должны иметь свою долю. Мы имеем прирожденное право пользоваться общественным состоянием. Теперь, к величайшему сожалению, мы видим, что неразвитая толпа подвергает сомнению наши права. Рабочие пчелы полагают, что запас принадлежит им одним на том основании, что они одни собирали мед и складывали его в клеточки. Тут они явно выворачивают наизнанку самые элементарные основания логики и права. Эти запасы принадлежат обществу, и наше пчелиное государство имеет право распоряжаться ими по своему благоусмотрению, для покрытия своих насущных потребностей. А разве поддержание нашей жизни и нашего благоденствия не может и не должно быть названо насущною потребностью государства? Разве может существовать улей без трутней, без привилегированного сословия? Запасы принадлежат нам – нам прежде всего. Обеспечив свое существование, мы охотно отдадим часть нашего излишка голодным беднякам-рабочим, но надо же нам сначала утолить свой голод и упорочить за собою продовольствие на будущее время. Пойдемте к королеве, изложим ей наши желания и представим на ее рассмотрение предъявляемые нами права».

Речь предприимчивого оратора приходится по душе слушателям: она соответствует потребностям времени, она разрешает удовлетворительным образом страшный вопрос, поставленный обстоятельствами, вопрос: есть или не есть? – и вследствие этого встречает себе единодушное сочувствие.

Депутаты от благородного сословия трутней отправляются к королеве, и королева не только не съедает их, подобно тому как жители Сандвичевых островов съели европейских парламентаров, но, напротив того, обходится с ними чрезвычайно милостиво и выслушивает с величайшим вниманием их всеподданнейшие прошения. Затем она отвечает им в таком духе, что господам трутням ничего не остается желать.

«Я всегда, – говорит она, окидывая всех присутствующих благосклонным взором, – была убеждена в том, что для прочности и благоденствия государства необходимо существование наследственного сословия пэров; с уничтожением этого сословия распадутся в прах все правительственные основы общества. Вы служили мне верно, вы были привязаны к моей особе, и ваши доблести вполне заслуживают награды. Вы, без всякого сомнения, прежде всех других имеете право пользоваться накопленными запасами. Я, как повелительница ваша, даю вам честное слово: ваши интересы нисколько не пострадают от наступающих бедствий. Не обращайтесь на ропот рабочих пчел; их назначение – работать, и пока они исполняют свое дело с подобающим усердием, я сохраняю в отношении к ним милостивое расположение. Но вы, пэры мои, не должны заботиться о своем пропитании; у вас есть более высокое и благородное призвание; не забывайте этого и предоставляйте мелкие заботы о насущном хлебе низшим существам, менее вас облагодетельствованным дарами природы. В заключение изъявляю вам, господа пэры, искреннее мое благоволение за то, что вы с таким полным доверием обратились к вашей королеве».

Трутни торжествуют и прославляют величие, благодушие и государственную мудрость своей повелительницы.

Между тем пролетарии, встревоженные увяданием цветов, также начинают собираться в кучки и толковать.

(Статья написана в 1862, напечатана в 1868 году).

Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. М., 1956. Т. 2. С. 98–119.

О внутреннем состоянии России*

Для того, чтобы говорить о внутреннем состоянии страны, от которого зависит и внешнее, надо прежде всего узнать и определить ее общие народные основания, которые отражаются в каждой частности, дробятся и отзываются в каждом отдельном лице, считающем эту страну отечеством. Отсюда уже легче будет определить общественные недостатки и пороки, которые происходят большею частью от непонимания общих народных оснований, или от ложного их применения, или от неправильного проявления.

I

Русский народ есть народ не государственный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия. Самым первым доказательством тому служит начало нашей истории: добровольное призвание чужой государственной власти в лице варягов, Рюрика с братьями. Еще сильнее доказательством служит тому Россия 1612 года, когда не было царя, все государственное устройство лежало вокруг разбитое вдребезги и когда победоносный народ стоял, еще вооруженный, в умилении торжества над врагами, освободив свою Москву: что сделал этот могучий народ, побежденный при царе и боярах, победивший без царя и бояр, с стольником князем Пожарским, да мясником Козьмою Мининым во главе, выбранными им же? Что сделал он? Как звал государственную власть, избрал царя и поручил ему неограниченную судьбу свою, мирно сложив оружие и разошедшись по домам. Эти два доказательства так ярки, что прибавлять к ним, кажется, ничего не нужно. Но если мы посмотрим на всю русскую историю, то убедимся в истине сказанного. В русской истории нет ни одного восстания против власти в пользу народных политических прав. Сам Новгород, признав над собою власть царя Московского, уже не восстал против него в пользу своего прежнего устройства. В Русской истории встречаются восстания за законную власть против беззаконий; законность иногда понимается ошибочно, но тем не менее такие восстания свидетель-

* Эта записка была представлена императору Александру II.

ствуют о духе законности в Русском народе. Нет ни одной попытки народной принять какое-нибудь участие в правлении. Были жалкие аристократические попытки в этом роде еще при Иоанне IV и при Михаиле Федоровиче, но слабые и незаметные. Потом была явная попытка при Анне. Но ни одна такая попытка не нашла сочувствия в народе и исчезла быстро и без следа. ...

Для того чтобы Россия исполнила свое назначение, нужно, чтобы она поступала не по чуждым ей теориям, часто обращаемым историей в смех, а по собственным понятиям и требованиям. Быть может, Россия пристыдит теоретиков и явит такую сторону величия, какой никто и не ожидал.

Мудрость правительства состоит в том, чтобы способствовать всеми мерами стране, им управляемой, достигнуть своего назначения и совершить свое благое дело на земле; состоит в том, чтобы понять дух народный, который должен быть постоянным путеводителем правительства. От непонимания потребностей духа и от препятствия этим потребностям происходят или внутренние волнения, или медленное изнурение и расстройство сил народных и государственных.

Итак, первый явственный до очевидности вывод из всей истории и свойства русского народа есть тот, что это народ *негосударственный*, не ищущий участия в правлении, не желающий условиями ограничивать правительственную власть, не имеющий, одним словом, в себе никакого политического элемента, следовательно, не содержащий в себе даже зерна революции или устройства конституционного. ...

II

...Но чего же хочет Русский народ для себя? Какая же основа, цель, забота его народной жизни, если нет в нем вовсе политического элемента, столь деятельного у других народов? Чего хотел наш народ, когда добровольно призывал Варяжских князей «княжить и владеть им»? Что хотел он оставить для себя?

Он хотел оставить для себя свою не политическую, свою внутреннюю общественную жизнь, свои обычаи, свой быт, – жизнь мирную духа.

Еще до христианства, готовый к его принятию, предчувствуя его великие истины, народ наш образовал в себе жизнь общины, освященную потом принятием христианства. Отделив от себя правление

государственное, народ русский оставил себе общественную жизнь и поручил государству давать ему (народу) возможность жить этою общественною жизнью. ...

III

...Итак, земля Русская поручила свою защиту государству, в лице государя, да под сенью его поживет она тихое и благоденственное житие. Отделив себя от государства, как защищаемое от защищающего, народ, или земля, не хочет переходить рубежа, им же положенного, и желает, для себя, не правления, но жизни, разумеется, человеческой, разумной: что может быть истиннее, мудрее таких отношений! Как высоко призвание государства, стремящегося обеспечить народу жизнь человеческую, мирное и безмятежное житие, вытекающее из нравственной свободы, преуспевание в христианском совершенствовании и разработку всех талантов, данных от Бога! Как высоко стоит откинувший от себя всякое честолюбие, всякое стремление к власти мира сего, и желающий не политической свободы, а свободы жизни духовной и мирного благосостояния! Такой взгляд есть залог мира и тишины, и таков взгляд России, и только России. Все иные народы стремятся к народовластию. ...

V

...Государственная власть при таких началах, при невмешательстве в нее народа, должна быть неограниченная. Какую же именно форму должно иметь такое неограниченное правительство? Ответ не труден: форму монархическую. Вся другая форма: демократическая, аристократическая, допускает участие народа, одна более, другая менее, и неременное ограничение государственной власти, следовательно, не соответствует ни требованию невмешательства народа в правительственную власть, ни требованию неограниченности правительства. Очевидно, что смешанная конституция, вроде английской, точно так же не соответствует тем требованиям. Если б даже выбраны были, как некогда в Афинах, десять архонтов, и им предоставлена была бы полная власть, то и здесь, составляя совет, они не могли бы представить вполне неограниченной власти, они образовали бы правительственное общество, следовательно, форму *народной* жизни, и вышло бы, что огромное народное общество управляется обществом же, только в малом виде. Но общество подлежит своим

законам жизни, и лишь жизнь может вносить в него свободное единство; общество же правительственное такого единства иметь не может: единство это сейчас изменяется от правительственного значения, становится или невозможным или принудительным. Очевидно, что общество правительством быть не может.

Вне народа, вне общественной жизни может быть только *лицо* (individu). Одно только лицо может быть неограниченным правительством, только лицо освобождает народ от всякого вмешательства в правительство. Поэтому здесь необходим государь, монарх. Только власть монарха есть власть неограниченная. Только при неограниченной власти монархической народ может отделить от себя государство и избавить себя от всякого участия в правительстве, от всякого политического значения, предоставить себе жизнь нравственно-общественную и стремление к духовной свободе. Такое монархическое правительство и поставил себе народ русский. ...

VIII

... Нам ясно теперь, какое значение имеет в России правительство и какое народ. Другими словами, нам ясно, что Россия представляет в себе две стороны: государство и землю. Правительство и народ, или государство и земля, хотя ясно разграничены в России, тем не менее, если не смешиваются, то соприкасаются. Какое же взаимное их отношение? Прежде всего, народ не вмешивается в правительство, в порядок управления; государство не вмешивается в жизнь и в быт народа, не заставляет народ жить насильственно, по сделанным от государства правилам: странно было бы, если б государство требовало от народа, чтоб он вставал в 7 часов, обедал в 2 и тому подобное; не менее странно, если б оно требовало, чтоб народ так причесывал свои волосы или носил бы такую одежду. Итак, первое отношение между правительством и народом есть отношение *взаимного невмешательства*. Но такое отношение (отрицательное) еще не полно; оно должно быть дополнено отношением положительным между государством и землею. Положительная обязанность государства относительно народа есть защита и охранение жизни народа, есть внешнее его обеспечение, доставление ему всех способов и средств, да процветает его благосостояние, да выразит он все свое значение и исполнит свое нравственное призвание на земле. Администрация, судопроизводство, законодательство – все это, понятное в

пределах *чисто государственных*, принадлежит неотъемлемо к области правительства. Не подлежит спору, что правительство существует для народа, а не народ для правительства. Поняв это добросовестно, правительство никогда не посягнет на самостоятельность народной жизни и народного духа. Положительная обязанность народа относительно государства есть исполнение государственных требований, доставление ему сил для приведения в действие государственных намерений, снабжение государства деньгами и людьми, если они нужны. Такое отношение народа к государству есть не только прямое необходимое следствие признания государства: это отношение подчиненное, а не самостоятельное; при таком отношении *народ сам* государству еще *не виден*. Какое же *самостоятельное* отношение не политического народа к государству? Где государство, так сказать, *видит народ самый*? Самостоятельное отношение безвластного народа к полновластному государству есть только одно: *общественное мнение*. В общественном или народном мнении нет политического элемента, нет другой силы, кроме нравственной, следовательно, нет и принудительного свойства, противоположного нравственной силе. В общественном мнении (разумеется, выражающем себя гласно) видит государство, чего желает страна, как понимает она свое значение, какие ее нравственные требования, и чему, следовательно, должно руководиться государство, ибо цель его — способствовать стране исполнить свое призвание. Охранение свободы общественного мнения, как нравственной деятельности страны, есть, таким образом, одна из обязанностей государства. В важных случаях государственной и земской жизни для правительства бывает нужно самому вызывать мнение страны, но только *мнение*, которое (разумеется) правительство свободно принять и не принять. *Общественное мнение* — вот чем самостоятельно может и должен служить народ своему правительству, и вот та живая, нравственная и нисколько не политическая связь, которая может и должна быть между народом и правительством.

Мудрые цари наши это понимали: да будет им вечная за то благодарность! Они знали, что при искреннем и разумном желании счастья и блага стране нужно знать и в известных случаях вызывать ее мнение. И потому цари наши часто созывали Земские Соборы, состоявшие из выборных от всех сословий России, где предлагали на обсуждение тот или другой вопрос, касающийся государства и зем-

ли. Цари наши, хорошо понимая Россию, нимало не затруднялись созывать такие соборы. Правительство знало, что оно чрез то не теряет и не стесняет никаких прав своих, а народ знал, что он через то никаких прав ни приобретает, ни распространяет. Связь между правительством и народом не только от того не колебалась, но еще теснее скреплялась. Это были дружественные, полные доверенности отношения правительства и народа.

На Земские Соборы созывались не одни земские люди, но и служилые или государевы: бояре, окольничие, стольники, дворяне и пр.; но созывались они здесь в своем земском значении, в качестве народа, на совет. На Земском Соборе присутствовало и духовенство, необходимое для общей полноты земли русской. Таким образом на этом соборе собиралась как бы вся Россия, и собранная вся, получала она в этот час основное свое значение, *земли*, от чего и собор назывался *Земским*.

Стоит только обратить внимание на эти достопамятные соборы, на ответы выборных, на них присутствовавших: тогда смысл этих соборов, смысл *только мнения*, очевиден. Все ответы начинаются в таком роде: «Как поступить в этом случае, это зависит от тебя, государь. *Делай*, как тебе угодно, а наша *мысль* такова». Итак, действие – право государево, мнение – право страны. Для возможно полного благоденствия нужно, чтоб и та и другая сторона пользовалась своим правом: чтоб земля не стесняла *действий* государя, чтобы государь не стеснял *мнения* земли. ...

IX

...Да! Пока Русский народ остается русским, до тех пор тишина внутренняя и безопасность правительства обеспечены. Но петровская система и вместе иностранный дух, с нею нераздельный, продолжают действовать, и мы видели, какое действие производят они в той массе русских людей, которую увлекли. Мы видели, как с чувством рабским, которое порождает власть правительственная, входящая в самую жизнь человека, как с этим рабским чувством соединяется чувство бунтовщика, ибо раб не видит рубежа между собою и правительством, который видит человек свободный, живущий внутреннею самостоятельною жизнью; раб видит только одну разницу между собою и правительством: он угнетен, а правительство угнетает; низкая подлость всякую минуту готова перейти в наглую дерзость; рабы се-

годня – бунтовщики завтра; из цепей рабства куются беспощадные ножи бунта. Русский народ, простой народ собственно, держится своих древних начал и противится доселе и рабскому чувству, и иностранному влиянию верхнего класса. Но петровская система продолжается уже полтора столетия; она начинает, наконец, проникать и в народ своею, по-видимому, пустою, но вредною стороною. Уже и в некоторых селах бросают русскую одежду, уже и крестьяне начинают говорить о моде, а вместе с этими, пустыми по-видимому, делами входит чуждый образ жизни, чуждые понятия, и шатаются исподволь русские начала.

Как скоро правительство отнимает постоянно *внутреннюю, общественную* свободу народа, оно заставит, наконец, искать свободы внешней, политической. Чем долее будет продолжаться петровская правительственная система, – хотя по наружности и не столь резкая, как при нем, – система, столь противоположная Русскому народу, вторгающаяся в общественную свободу жизни, стесняющая свободу духа, мысли, мнения и делающая из подданного раба, тем более будут входить в Россию чуждые начала; тем более людей будет отставать от народной русской почвы, тем более будут колебаться основы Русской земли, тем грознее будут революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией. Да, опасность для России одна: *если она перестанет быть Россией*, – к чему ведет ее постоянно теперешняя петровская правительственная система. Дай же Бог, чтоб этого не было. ...

Х

Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отделилось от народа и стало ему чужим. И народ, и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не спрашивается мнения народа, но всякий частный человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству; правительство не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт; просьбы, подписанные многими или несколькими лицами, у нас теперь не допускаются, тогда как в древней России они-то и были уважаемы. Правительство

и народ не понимают друг друга, и отношения их не дружественны. И на этом-то внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая ему, как идолу, божескую честь. Один писатель выразился в «Ведомостях» подобными словами: «Детская больница была освящена посещением государя императора». Принято выражение, что «государь *изволил* приобщиться Святых Тайн», тогда как христианин иначе сказать не может, что он *сподобился* или *удостоился*. – Скажут, это некоторые случаи; нет, таков у нас всеобщий дух отношений к правительству. Это только легкие примеры поклонения земной власти; этих примеров имеется слишком довольно и в словах и в делах; их исчисление составило бы целую книгу. При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман. Правительство не может, при всей своей неограниченности, добиться правды и честности; без свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров. Взятничество и чиновный организационный грабеж – страшны. Это до того вошло, так сказать, в воздух, что у нас не только те воры, кто бесчестные люди: нет, очень часто прекрасные, добрые, даже в своем роде честные люди – тоже воры: исключений немного. Это сделалось уже не личным грехом, а общественным; здесь является безнравственность самого положения общественного, целого внутреннего устройства.

XI

Все зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего правительства, угнетательной относительно свободы мнения, свободы нравственной, ибо на свободу политическую и притязаний в России нет. Гнет всякого мнения, всякого проявления мысли дошел до того, что иные представители власти государственной запрещают изъяслять мнение, даже благоприятное правительству, ибо запрещают всякое мнение. Они не позволяют даже хвалить распоряжения правительства, утверждая, что до одобрения подчиненных начальству дела нет, что подчиненные должны смочь рассуждать и даже находить хорошим то или другое в своем правительстве или начальстве. К чему же ведет такая система? К полному безучастию, к

полному уничтожению всякого человеческого чувства в человеке; от человека не требуют даже того, чтоб он имел хорошие мысли, чтоб он не имел никаких мыслей. Эта система, если б могла успеть, то обратила бы человека в животное, которое повинуетя не рассуждая и не по убеждению! Но если б люди могли быть доведены до такого состояния, то неужели найдется правительство, которое предположит себе такую цель? – Тогда в человеке погиб бы человек; из чего же живет человек на земле, как не из того, чтобы быть человеком, в возможно полном, возможно высшем смысле? Да и к тому же люди, у которых отнято человеческое достоинство, не спасут правительства. В минуты великих испытаний понадобятся люди, в настоящем смысле; а где оно тогда возьмет людей, где возьмет оно сочувствия, от которого отучило, дарований, одушевления духа, наконец?..

Но доведение людей до животного состояния не может быть сознательною целью правительства. Да и дойти до состояния животных люди не могут; но в них может быть уничтожено человеческое достоинство, может отупить ум, огрубеть чувство, – и, следовательно, человек приблизится к скоту. К тому ведет, по крайней мере, система угнетения в человеке самобытности жизни общественной, мысли, слова. Такая система, пагубно действуя на ум, на дарования, на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из государя делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы. «Моя совесть», – скажет человек. «Нет у тебя совести, – возражают ему, – как смеешь ты иметь свою совесть? Твоя совесть – государь, о котором ты и рассуждать не должен». «Мое отечество», – скажет человек. «Это не твое дело, – говорят ему, – что касается России – до тебя, без дозволения, не касается, твое отечество – государь, которого ты и любить свободно не смеешь, а которому ты должен быть рабски предан». «Моя вера», – скажет человек. «Государь есть глава Церкви, – ответят ему (вопреки православному учению, по которому глава Церкви – Христос). – Твоя вера – государь». «Мой Бог», – скажет, наконец, человек. «Бог твой – государь; он есть земной Бог!».

И государь является какою-то неведомою силою, ибо об ней и говорить, и рассуждать нельзя, и которая между тем вытесняет все нравственные силы. Лишенный нравственных сил, человек становится бездушен и, с инстинктивною хитростью, где может, грабит, ворует, плутует.

Эта система не всегда обнаруживается ярко и откровенно; но внутренний смысл ее, но дух ее таков и нисколько не преувеличен.

Велика внутренняя порча России, порча, которую лести старается скрыть от взоров государя; сильно отчуждение правительства и народа друг от друга, которое также скрывают громкие слова рабской лести. Вторжение правительственной власти в общественную жизнь продолжается; народ заражается более и более, и общественное развращение усиливается в разных своих проявлениях, из которых взяточничество и служебное воровство стало почти всеобщим и как бы делом признанным. Тайное неудовольствие всех сословий растет...

XII

...Давая свободу жизни и свободу духа стране, правительство дает свободу общественному мнению. Как же может выразиться общественная мысль? Словом устным и письменным. Следовательно, необходимо снять гнет с устного и письменного слова. Пусть государство возвратит земле ей принадлежащее: мысль и слово, и тогда земля возвратит правительству то, что ему принадлежит: свою доверенность и силу.

Человек создан от Бога существом разумным и говорящим. Деятельность разумной мысли, духовная свобода есть призвание человека. Свобода духа более всего и достойнее всего выражается в свободе слова. Поэтому – свобода слова, вот неотъемлемое право человека.

В настоящее время слово, этот единственный орган земли, находится под тяжким гнетом. Наибольший гнет тяготеет над словом письменным (я разумею и печатное слово). Понятно, что при такой системе цензура должна была дойти до невероятных несообразностей. И точно, многочисленные примеры таких несообразностей известны всем. Надобно, чтоб этот тяжкий гнет, лежащий на слове, был снят.

Разумеется ли под этим уничтожение цензуры? Нет. Цензура должна остаться, чтоб охранять личность человека. Но цензура должна быть как можно более свободна относительно мысли и всякого мнения, как скоро оно не касается личности. Я не вхожу в обозначение пределов этой свободы, но скажу только, что чем шире будут они, тем лучше. Если найдутся злонамеренные люди, которые захотят распространить вредные мысли, то найдутся люди благонамеренные, которые обличат их, уничтожат вред и тем доставят новое торжество и новую силу правде. Истина, действующая свободно, всегда доволь-

но сильна, чтоб защитить себя и разбить в прах всякую ложь. А если истина не в силах сама защитить себя, то ее ничто защитить не может. Но не верить в победоносную силу истины значило бы не верить в истину. Это безбожие своего рода, ибо Бог есть истина.

Со временем должна быть полная свобода слова и устного и письменного, когда будет понято, что свобода слова неразрывно соединена с неограниченной монархией, есть ее верная опора, ручательство за порядок и тишину и необходимая принадлежность нравственного улучшения людей и человеческого достоинства.

Есть в России отдельные внутренние язвы, требующие особых усилий для исцеления. Таковы раскол, крепостное состояние, взяточничество. Я не предлагаю здесь о том своих мыслей, ибо это не было моею целью при сочинении этой записки. Я указываю здесь на самые основы внутреннего состояния России, на то, что составляет главный вопрос и имеет важнейшее общее действие на всю Россию. Скажу только, что истинные отношения, в которые станет государство к земле, что общественное мнение, которому дается ход, оживя весь организм России, подействует целительно и на эти язвы; в особенности же на взяточничество, для которого так страшна гласность общественного мнения. Сверх того, общественное мнение может указать на средства против зол народных и государственных, как и против всяких зол.

Да восстановится древний союз правительства с народом, государства с землею, на прочном основании истинных коренных русских начал.

Правительству – неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу – полная свобода жизни и внешней, и внутренней, которую охраняет правительство. *Правительству – право действия и, следовательно, закона; народу – право мнения и, следовательно, слова.*

Вот русское гражданское устройство! Вот единое истинное гражданское устройство!

Константин Аксаков.

1855 год.

Русь. 1881. № 26, 27.

Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М., 1910. С. 69–73, 75–78, 80–82, 87–92, 95–96.

Москва, 19 апреля

Народ есть та великая сила, та живая связь людей, без которой отдельный человек был бы бесполезным эгоистом, а все человечество – бесплодною отвлеченностью. Разъединяющий эгоистический элемент личности умеряется высшим началом живого союза народного, другими словами: великодушием общинного элемента. В общинном союзе не уничтожаются личности, но отрекаются лишь от своей исключительности, дабы составить согласное целое, дабы явить желанное сочетание всех. Они звучат в общине, не как отдельные голоса, но как хор.

Община, этот высший нравственный образ человечества, является в несовершенном виде на земле. Христианство освятило и просветило общину, дотоле неясно сознаваемую или предчувствуемую народами. И община стала идеалом недостижимым, к которому предстоит вечно стремиться. Уже великая заслуга в том, как скоро поставлен такой идеал и к нему стремятся. Невозможность достигнуть полного осуществления общины на этой земле не должна останавливать. Нельзя быть совершенным христианином, но дело человека вечно стремиться к этому идеалу. Начало общины есть по преимуществу начало славянского племени и в особенности русского народа, давшего ему кроме слова «община» (вполне русского, но несколько книжного) иное, жизненное наименование: *мир*.

В народе необходима самодеятельность. Нравственный подвиг народа совершается всем народом. Странно было бы в этом случае разделение народа на ведущих и ведомых. Точно: иным дается сила вразумления, а другим – сила внимания; но это не люди распределяют, а Провидение. К тому же внимающий не есть белая бумага, которая не знает и не судит о том, что на ней пишут. Внимающий много дает вразумляющему; он нередко вдохновляет его. И говорящий и слушающий делают одно общее дело, один разумно передавая, а другой разумно принимая; их связует одна общая идея, переходящая от одного к другому и уравнивающая их. Та же связь в более частном виде существует между писателем и читателем, как было это высказано печатно в одном русском журнале в начале прошедшего года.

Лишь дары Провидения не передаются, а истина – достояние общее. Но дары, скрытые некоторое время, могут раскрыться. Внимающий, как скоро пробуждается в нем дар слова, становится вразумляющим. Из этого взаимного беспрепятственного обмена мыслей, из переменного даяния и принятия, слагается общий нравственный подвиг народа.

III

№ 5

Москва, 10 мая

Народность есть личность народа. Точно так же, как человек не может быть без личности, так и народ без народности. Если же и может встретиться человек без личности, народ без народности, то это явление жалкое, несчастное, бесполезное и себе и другим. Личность не только не мешает, но она одна и дает возможность понять вполне и свободно другого человека, другие личности. Так точно и народность одна дает возможность народу понять другие народности. Где исчезает она, там исчезает, материально или нравственно, сам народ. Народность это есть живая, цельная сила, имеющая в себе нечто неуловимое, как жизнь. И дух, и творчество художественное, и природа человеческая, и даже природа местная, все принимает участие в этой силе. Народная песня, как бы ни была она доступна всему остальному человечеству, все-таки отзовется чем-то особенным в душе того человека, для которого она своя, народная песня.

Иные скажут: народность ограничена, в ней может быть исключительность. Но исключительность есть уже злоупотребление. Для того чтоб избавиться от народной исключительности, не нужно уничтожать свою народность, а нужно признать всякую народность.

Да, нужно признать всякую народность, из совокупности их слагается общечеловеческий хор. Народ, теряющий свою народность, умолкает и исчезает из этого хора. Поэтому нет ничего грустнее видеть, когда падает и никнет народность, под гнетом тяжелых обстоятельств, под давлением другого народа. Но в то же время какое странное и жалкое зрелище, если люди сами не знают и не хотят знать своей народности, заменяя ее подражанием народностям чуждым, в которых мечтается им только общечеловеческое значение!

Каждый народ пусть сохраняет народный облик (физиономию): только тогда будет иметь он и человеческое выражение. Неужели же

захотят сделать из человечества какое-то явление, где бы не было живых, личных народных черт? Но если отнять у человечества личные и народные краски, то это будет бесцветное явление, до которого можно дойти только через искусственное собрание правил, под которые народ должен подводить себя, стирая при том свою народность. Это будет уже своего рода официальное, форменное, казенное человечество. По счастью, оно невозможно, и идея его может явиться только как крайняя, и при том нелогическая отвлеченность в уме человеческом.

Нет, пусть свободно и ярко цветут все народности в человеческом мире; только они дают действительность и энергию общему труду народов.

Да здравствует каждая народность!

IV

№ 6

Москва, 17 мая

Вперед! Стремитесь, не слабея, не останавливаясь, все далее и далее вперед!

С полным убеждением произносим эти слова, слова стремления и деятельности. Но одного чувства, убеждения мало для человека, ему нужно ясное понимание, отчет мысли.

Что значит *вперед*? Есть ли это только движение далее и далее, не разбирая пути, на котором стоит человек? В таком случае человек был бы как бы ментальным орудием какой-то им владеющей силы, которая мчит его куда-то; человек не был бы свободен, не имел бы суда над собою, не владел бы своим направлением. Если путь ложен и ведет его к заблуждениям, должен ли он стремиться вперед? Не должен ли он стать на иной путь, как скоро ясно ему стало, что он не туда идет?

Итак, человеческое *вперед*! не значит все далее и далее, куда бы то ни было, по одной черте, раз (хотя и ошибочно) избранной. *Вперед к истине!* прибавим мы, и это прибавление освобождает нас от тесного, путевого понимания *вперед*! Здесь уже нет рабского следования пути, раз избранному. Здесь одна цель – истина. Один путь хорош, который ведет не от нее, а к ней. Если путь ложен, то человек не затруднится его бросить и вступить на иной путь.

Очень часто стремление *вперед к истине* может не сходиться с стремлением по одной дороге, ибо дорога может быть ложна.

Не раз слышалось обвинение на славянофилов, что они хотят возвратиться назад, не хотят идти вперед. Но это обвинение несправедливо, и оно разрешается отчасти тем, что сейчас нами сказано. Если понимать *вперед* и *назад* без отношения к истине, тогда и то и другое стремление обращается уже *в силу*, становится *динамическим*, невольным и для разумного существа недостойным. Но такого понимания никто, конечно, не примет. А если нет, то и вопрос ставится совершенно иначе.

Разве славянофилы думают идти назад, желают отступательного движения? Нет, славянофилы желают идти, но не просто вперед, а вперед к истине и, конечно, никогда назад от истины. Их антагонисты, думаем, желают тоже идти не просто вперед, а вперед к истине. И та и другая сторона не ставит себя в зависимости от избранного ею пути. Славянофилы утверждают только то, что самый путь ошибочен, и что к истине должно идти другим путем. Значит ли это возвращение назад? Вопрос и спор может быть о том, чей путь истинен, но не может быть и речи о желании возвратиться назад.

Но славянофилы думают, что истинен то путь, которым Россия *шла* прежде.

Да, они думают, что истинен этот путь, но не забудьте: *путь*. Разве путь есть неподвижное состояние? Разве на пути можно остановиться? Путь непременно идет куда-нибудь вперед, путь есть бесконечное движение; и воротиться на прежний путь не значит отказаться от стремления вперед, а значит идти вперед, лишь по иному направлению.

Итак, славянофилы думают, что должно воротиться не *к состоянию древней России* (это значило бы окаменение, застой), а *к пути древней России* (это значит движение). Где есть движение, где есть путь, там есть вперед! Там слово «назад» не имеет смысла.

Славянофилы желают не возвратиться назад, но вновь идти вперед прежним путем, не потому, что он прежний, а потому, что он истинный.

Итак, опять не может быть и речи о возвращении назад. Этот упрек сам собою снимается с славянофилов. Спор может быть лишь об истине путей, лишь о том, какое *вперед* есть вперед к истине.

Ранние славянофилы. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы. М., 1910. С. 108–112.

ЦЕНЗУРА: ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Н. Энгельгардт

Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903)

6-го апреля 1865 г. последовало высочайшее повеление, гласившее так: «Желая дать отечественной печати возможные облегчения и удобства, мы признали за благо сделать в действующих цензурных постановлениях, при настоящем переходном положении судебной части и впредь до дальнейших указаний опыта, перемены и дополнения».

По мысли законодателя, закон 6-го апреля составлял только первый шаг по пути освобождения печати. ...

По указу 6-го апреля 1865 г. освобождались от предварительной цензуры: а) в обеих столицах: 1) все выходящие донныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание; 2) все оригинальные сочинения, объемом не менее 10-ти печатных листов, и 3) все переводы, объемом не менее 20-ти печатных листов.

V

В дополнение к закону 6-го апреля 1865 г., в том же году, 23-го августа, министром внутренних дел Валуевым была утверждена особая «Конфиденциальная инструкция цензорам столичных цензурных комитетов». В этой «инструкции» говорилось:

«На основании именного высочайшего указа... в 6 день минувшего апреля, освобождаются в обеих столицах, с 1-го сентября сего года, от предварительной цензуры: а) все выходящие донныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание, б) и т. д.

«С освобождением означенных изданий от цензуры, изменяются существенно лежащие ныне на цензорах обязанности. Вместо предварительного рассмотрения предназначенных к печатанию произведений они должны будут рассматривать уже отпечатанные произведения.

«Существо обязанностей цензора заключается в наблюдении, чтобы пресса не выходила из круга деятельности, предоставленного ей по закону в видах государственной, общественной и частной пользы. В отношении к предварительному просмотру цензор действует предупредительною властью, в смысле предупреждения нарушения

законов; в отношении к изъятых от предварительного просмотра произведениям он действует властью преследовательною, в смысле пресечения совершенного уже нарушения закона и преследования виновных в сем нарушении. В первом случае цензор несет более сложные обязанности».

«Инструкция» требовала от цензора не только «прямого разрешения представившейся юридической задачи», но «соображений, основанных на внутренних мотивах совершенного преступления, на современном состоянии умов и политических отношений страны и, наконец, на заботе, чтобы вчиняемое преследование, с одной стороны, не было признано несостоятельным судебными учреждениями, что может повести к поколебанию правительственного авторитета, а с другой стороны, не послужило бы для виновных нередко ими самими избираемым способом для приобретения незаслуженной популярности, или косвенной пропаганды, посредством более общего оглашения преследуемого факта».

«Новые отношения, которые, на основании законоположений 6-го апреля, устанавливаются между правительством и прессою вообще», определены так «инструкцией»: «С 1858 года правительство признало и возможным, и полезным расширить сферу частной прессы, облегчив существовавшие дотоле цензурные правила. Опыт показал, что расширение свободы печатного слова должно быть соразмеряемо со степенью личной ответственности издателей, редакторов и сочинителей и что подобное соответствие не может быть установлено при исключительном господстве предупредительной цензуры, по существу которой ответственными лицами считаются цензоры, в лице же их и само правительство, а издатели, редакторы и сочинители, огражденные цензорским разрешением, остаются вне всякого преследования. Это обстоятельство послужило исходною точкою для последовавшего ныне освобождения некоторых изданий от цензуры, с ответственностью за оные издателей, редакторов и авторов».

«Цензор обязан проводить отличительную черту между указанием на ошибки или злоупотребления, нередко ускользающие от наблюдения подлежащих властей, и между таким способом и видом изложения подобных указаний, который явно заключает в себе намеренное оскорбление правительственных лиц и учреждений».

«Относительно повременных изданий постоянно должно иметь в виду их отличительное свойство непрерывных проводников впе-

чатлений на публику. Посему они могут сообщать свои взгляды и стремиться к своим целям, но выражая их рядом намеков, недоговоров, повторений и других редакторских или издательских (?) приемов. При наблюдении за повременными изданиями цензоры обязаны прежде всего изучить господствующие в них виды и оттенки направления и, усвоив себе таким образом ключ к ближайшему уразумению содержания каждого из них, рассматривать с этой точки зрения отдельные статьи журналов и газет. Все те нарушения законов, которые при таком наблюдении окажутся сознательными со стороны редакции как бы средством для поддержания или уяснения в глазах читателей предвзятого направления повременного издания, должны быть постоянно заявляемы и строго преследуемы, если сказанное направление есть в каком-либо отношении вредное или противоправительственное. Если при этом не всякое нарушение закона может быть формулировано с достаточною, для судебного преследования, ясностью, то оно во всяком случае не должно быть предаваемо забвению, ибо масса подобных нарушений с течением времени составит, наконец, основание для положительного судебного преследования».

«Независимо от этих общих соображений, надлежит при наблюдении за повременною прессою обращать особое внимание, во-первых, *на самый характер каждого издания*. Журналы и газеты, наиболее распространенные, должны вызывать сугубое внимание цензоров, равно как издания энциклопедические, учебные, педагогические и те, которые предназначены для простого народа... во-вторых, *на прошедшее и на личный состав редакции каждого издания*. Литературное и политическое прошедшее сотрудничающих в них лиц очень часто составляет знамя редакции, дающее достаточный материал для определения направления газет и журналов. В-третьих, на обобщение или преувеличение частных случаев административных ошибок или злоупотреблений и на оскорбление правительственных мест и лиц».

Энгельгардт Н. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904. С. 266–271.

9. ЖУРНАЛИСТИКА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Мелочи жизни

Из введения

Идет чумазый, идет! Я не раз говорил это и теперь повторяю: идет, и даже уже пришел! Идет с фальшивою мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...

Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былые в поле...

...Сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастия. А что Чумазый будет держаться за свое торжество упорно – за это ручаются его откровенно-нахальные замашки и самоуверенная бесовскость.

Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в оборот алтына. Таков современный чумазый. Повторяю то, что я уже сказал в предыдущей главе: русский чумазый перенял от своего западного собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия. Либо пан, либо пропал, – говорит он себе, и ежели легкая нажива не удастся ему, то он не особенно ропщет, попадая вместо хором в навозную кучу.

Русский крестьянин, который так терпеливо вынес на своих плечах иго крепостного права, мечтал, что с наступлением момента освобождения он поживет в мире и тишине и во всяком благом поспешении; но он ошибся в своих скромных надеждах: кабала словно приросла к нему. Чумазый преподнес ее ему на новоселье в новой форме, но с содержанием горшим против старой. Старая форма давала раны, новая – дает скорпионы; старая – томила барщиной и произволом (был, впрочем, очень значительный разряд помещичьих имений – оброчных, где крестьянин не знал барщины и жил сравнительно довольно льготно), новая – донимает голодом. Чумазый вторгся в самое сердце деревни и преследует мужика и на деревенской улице, и за околицей. Обставленный кабаком, лавочкой и грошовой кассой

ссуд, он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума и в заключение взывает к властям об укрощении людей, взволнованных его же неправдами. Поле деревенского кулака не нуждается в наемных рабочих: мужик обработает его не за деньги, а за процент или в благодарность за «одолжение». Вон он, дом кулака! вон он высится тесовой крышей над почерневшими хижинами односельцев; издалека видно, куда скрылся паук и откуда он денно и ночью стелет свою паутину.

Хиреет русская деревня, с каждым годом все больше и больше беднеет. О «добрых щах и браге», когда-то воспетых Державиным, нет и в помине. Толокно да тюря; даже гречневая каша в редкость. Население растет, а границы земельного надела остаются те же. Отхожие промыслы, благодаря благосклонному участию Чумазого, не представляют почти никакого подспорья.

Период помещичьего закрепощения канул в вечность, наступил период закрепощения чумазовского... Ужели бессрочно?

Н. Щедрин.

Вестник Европы. 1886. № 11.

Щедрин Н. Полное собрание сочинений: В 20 т. 1937. Т. 16. С. 420, 441–442.

III. Читатель

(Несколько нелишних характеристик)

Для всякого убежденного и желающего убеждать писателя (а именно только такого я имею в виду) вопрос о том, есть ли у него читатель, где он и как к нему относится, есть вопрос далеко не праздный. Читатель представляет собой тот устой, на котором всецело зиждется деятельность писателя; он единственный объект, ради которого горит писательская мысль. Убежденность писателя питается исключительно уверенностью в восприимчивости читателей, и там, где этого условия не существует, литературная деятельность представляет собою не что иное, как беспредельное поле, поросшее волчецом, на обнаженном пространстве которого бесцельно раздается голос, вопиющий в пустыне. Доказывать эту истину нет ни малейшей надобности; она стоит столь же твердо, как и та, которая гласит, что для человеческого питания потребен хлеб, а не камень...

Ежели в стране уже образовалась восприимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться к трепетаниям человеческой мысли, но и свободно выражать свою восприимчивость, –

писатель чувствует себя бодрым и сильным. Но он глубоко несчастлив там, где масса читателей представляет собой бродячее человеческое стадо, мятущееся под игом давлений внешнего свойства. Даже при уверенности, что в этой массе немало найдется сердец, несущихся навстречу писателю, это только усугубляет скорбь последнего. Он вдвое несчастлив: и за себя, и за те преданные сердца, которым горение их ничего не может дать, кроме безвыходного порабощения.

Поэт, в справедливом сознании светозарности совершаемого им продвига мысли, имел полное право воскликнуть, что он глаголом жжет сердца людей; но при данных условиях слова эти были только отвлеченной истиной, близкой к самообольщению. Когда окрест царит глубокая ночь, — та ночь, которой никакой свет не в силах объять, — тогда не может быть места для торжества живого слова. Сердца горят, но огонь их не пронизает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биение их не слышно сквозь толщу желез. До тех пор, пока не установилось прямого общения между читателем и писателем, последний не может считать себя исполнившим свое призвание. Могу-чий — он бессилён; властитель дум — он раб бездумных бормотаний случайных добровольцев, успевших захватить в свои руки ярмо.

Звуча наудачу, речь писателя превращается в назойливое сотрясение воздуха. Слово утрачивает ясность, внутреннее содержание мысли ограничивается и суживается. Только один вопрос стоит вполне определенно: к чему растрачивается пламя души? Кого оно греет? На кого проливает свой свет?

Повторяю: несчастье в этом случае так глубоко, что никогда не остается бесследным. Я не говорю о себе лично, но думается, что всякий убежденный русский писатель испытал на себе влияние подобной изолированности. Всякий на каждом шагу встречался и с ненавистью, и с бесчестными передержками, и с равнодушием, и с насмешкой; редко кому улыбнулось прямое, осязательное сочувствие. Последнее так далеко затерялось в читательской массе, что лишь предположительно может ободрить писателя. Зато минуты подобного ободрения — самые дорогие в жизни.

Я не претендую здесь подробно и вполне определительно разобраться в читательской среде, но постараюсь характеризовать хотя некоторые ее категории. Мне кажется, что это будет не бесполезно для самого читающего люда. До тех пор, пока не выяснится читатель, литература не приобретет решающего влияния на жизнь. А последнее условие именно и составляет главную задачу ее существования.

1. Читатель-ненавистник

Начну с читателя-ненавистника.

Ненавидеть дозволяется. Убежденному писателю необходимо знать о существовании этой привилегии, потому что он встречается с нею с первого же шага на своем трудовом пути. Дозволяется ненавидеть не только убеждения писателя и произведения, в которых он выражает их, но и самую личность его. Распускать о нем невероятные слухи; утверждать, что он не только писатель, но и «деятель», – разумеется, в известном смысле; предумышленно преувеличивать его влияние на массу читателей; намекать на его участие во всех смутах; ходатайствовать «в особенное одолжение» об его обуздании и даже о принятии против него мер – вот задача, которую неумоимо преследует читатель-ненавистник.

Это читатель самый ревностный и неизменный. Он не просто читает, но и вникает; не только вникает, но и истолковывает каждое слово, пестрит поля страниц вопросительными знаками и заметками, в которых заранее произносит над писателем суд, сообщает о вынесенных из чтения впечатлениях друзьям, жене, детям, брызжет по поводу их слюною в департаментах и канцеляриях, наполняет воплями кабинеты и салоны, без умолку твердит об обуздании, убеждает, грозит, доказывает существование вулкана, витийствует на тему о потрясении основ и т. д. Словом сказать, всякий новый труд писателя приводит читателя-ненавистника в суматошливое неистовство.

Разновидность эта в особенности размножилась в позднейшее время. И прежде в ней не было недостатка, но она была не вполне уверена в своих собственных впечатлениях и сверх того встречала отпор. В самом деле, трудно, почти немисливо утверждать, без помощи особливо благоприятствующих условий, что общественные основы потрясены, когда они, для всех видимо, стоят неизменными в тех самых формах и с тем содержанием, какие завещаны историческим преданием. Для того чтобы приблизиться к этому грубому идеалу клеветы, необходимо отождествить его с вопросом об уместности или неуместности общественного развития, а это даже для самых заклятых ненавистников не всегда удобно. Всякий столоначальник против подобной претензии возопиет.

– Помилуйте! – скажет он, – сколько лет я изо дня в день хожу в департамент и никаких потрясений не вижу. Как и всегда, мы встанем с мест при появлении начальника отделения, как и всегда, я исправно

и беспрепятственно выполняю свой дневной бюрократический труд. В каком виде представлялось «дело» в прежнее время, в таком же оно представляется и теперь. Что же касается до развития, то вопрос об уместности его искони решен в утвердительном смысле, и ежели в последнее время оживился несколько более, то причина этого явления заключается в том, что накопились и умножились самые запросы жизни. Это не потрясение, не разрыв с прошлым, а развитие, именно только развитие прошлого. Если бы его не было, если бы оно не существовало всегда, то и наша бюрократическая деятельность заглохла бы; незачем было бы в департамент ходить, нечего было бы направлять. Так и директор нашего департамента говорит, и даже радуется.

Отпор такого рода оставлял ненавистника безответным. Он не настаивал, а только как бы мимоходом бросал навстречу:

– Вот увидите!

И до времени умолкал.

Так было еще недавно, на наших глазах. Но даже и в самые благоприятные минуты, которые удалось прожить русскому обществу, ненавистничество никогда не считалось чудовищным и позорным. Чужачество и старозаветность – вот единственные эпитеты, которые более или менее добродушно присваивались ему. Никому не приходило на мысль, что ненавистник заключает в себе неистощимый источник всевозможных раздоров, смут и переполохов, что речи его вливают яд в сердца, посягают на общественную совесть и вообще наносят невоснаградимый вред тем самым основам, на защиту которых они произносятся. Совсем напротив. Предполагалось, что эти взбесившиеся люди – чудаки, но что, во всяком случае, исходный пункт их бешенства имеет характер благонамеренный. Выслушивать их брзжание не особенно приятно, но ведь выслушивание и не обязательно. Пускай попустому сотрясают воздух – кого же может потревожить это сотрясение? Кто расположен следовать их советам? В строгом смысле, их нельзя даже осуждать, потому что их действия и речи свидетельствуют о глубине усердия и ревности. В крайнем случае на них можно даже надеяться: они не выдадут.

Благодаря таким благодушным суждениям ненавистники имели возможность жить безмятежно и выжидать. По временам они лицемерили: говорили, что они не против жизненного преуспевания, а исключительно только против потрясения основ, и когда их, так сказать, прижимали к стене и требовали фактических указаний, они хитро подмигивали, говоря:

– Ну, согласитесь, однако ж... немножечко-таки есть.

Это была стереотипная фраза, которая прекращала всякий спор. Ежели она ничего не доказывала, то не даровала места и возражениям. Она всецело, всей своей глупостью и бессодержательностью, залегала в сердце слушателя-простеца, который, улыбаясь, бессознательно повторял:

– Немножко-таки есть.

Я думаю, что покуда длилось такое относительно мягкое общественное настроение, ненавистники очень страдали. Но все-таки наверное можно сказать, что они не отчаивались и собирали материалы для будущего похода. Правда, их огорчало, что многое из этих материалов со временем выдохнется и потеряет ценность, но жизнь каждый день приносит новость за новостью, и запас все-таки будет достаточный. Но всего важнее – выживание не только не охлаждает ненависти, а напротив, подогревает ее, делая более живою. Явиться в данную минуту во всеоружии и с совершенно свежими силами – это тоже представляет существенную выгоду.

Минуту эту приводят за собой единичные события, источник которых не имеет с литературой ничего общего, но приурочивается к ней с самою позорною непринужденностью. С наступлением ожидаемого момента ненавистник-читатель пробуждается. Пробуждение это ужасно не только по намерениям, но и по своей безысходной бессмыслице, по тому изумительному доверию, с которым эта бессмыслица принимается. Слышатся вопросы: дождались? убедились? Приводятся цитаты, делаются соответствующие толкования; атмосфера насыщается сквернословием и клеветою; злоба принимает такие деятельные размеры, что все живое прячется и исчезает. И тот же самый столоначальник, который еще недавно так уверенно и резонно возражал ненавистнику, смотрит на него полуобезумевшими глазами и... соглашается. Искренно ли он убедился в том, что в проклятиях ненавистника заключается истина, и какая именно, абсолютная или истина данной минуты, – разгадать трудно, но во всяком случае он настолько ошеломлен, что вызвать его из этого ошеломления стоит и времени, и усилий.

Успеху ненавистника главным образом способствует то, что он никогда настоящим образом не умолкал, но, как я уже сказал выше, даже в самые льготные эпохи беспрепятственно вел свою пропаганду под более скромною формой чудачества и брюзжания. Его можно

было упрекать в назойливости, но никому не приходило в голову обвинять в развращении общественной мысли. Думали, что он несколько преувеличивает значение благонамеренности, но вот теперь на поверку оказывается, что он не только не преувеличивал, а даже был мягок и снисходителен. Он теперь все тот же лающий пес, каким всегда был, но только фортуна улыбнулась ему, и благодаря этому злоба его вышла из берегов, и он окрысился. В сущности, он оправдал свое назначение. Всегда была надежда, что в данную минуту он не выдаст; теперь эта минута наступила, — он и не выдает. Он ходит по стогнам города и гремит проклятиями; угрозы и казни не сходят у него с языка; собственный его организм весь потрясен от переполнения злобой и ненавистью, но он скорее согласится пасть под тяжестью своей разьедающей работы, нежели прекратить ее. Но нет, он выстоит, не сломится. Злоба не действует на его организм разрушающим образом и, напротив, поддерживает его. Всмотритесь, как он резов и боек, как быстро несут его ноги туда, где чувствуется возможность пролить отраву. Сейчас он едва не задохся, но пришла минута — и он опять во всеоружии. Странно подумать, какую массу зла он может создать при своей судорожной деятельности.

Он продолжает усердно читать, но теперь уж не собирает своего меда в соты, а прямо несет его на торжище. Вот что напечатано и пропущено и вот как следует это напечатанное толковать; вот какие мысли благодаря такому-то (имярек) делаются общим достоянием — и вот как следует их понимать. Так лает этот пес, самочинно ставший на страже, простецы с разинутыми ртами внимают ему. Все в этом лае сумбурно, невнятно и распутно, но простец обладает даром отгадывания. Он сердцем чувствует, что цитируемый писатель — не его полягода, и вместе с ненавистником закипает бессознательною злобою.

Встречаются такие ненавистники, которых даже прочие собраты по ремеслу инстинктивно чуждаются из опасения не поспеть за ними и быть сопричисленными к разряду неблагонадежных. Особи этого рода действуют в одиночку, капризно и неожиданно; при появлении их все смолкает. Напротив, большинство ненавистников действует дружно, сообща. Они устраивают сборища, совещания, соглашаются насчет образа действия и вообще ведут противообщественную атаку довольно правильно. По наружности их можно принять за обыкновенных, не особенно умных людей, которые, по недомыслию, чего-то сильно испугались, но которым не чужд обычный процесс челове-

ческого существования. Они дышат, пьют, едят, живут в семьях, имеют детей, посещают публичные места, общество и проч. В сущности, однако ж, эти псевдочеловеки даже опаснее ненавистников-одиночек. Последние прямо внушают к себе отвращение и страх, а первые могут подкупать личиною ревности к общественным интересам. Ненавистник-одиночка, не скрываясь, говорит: я твой враг, и ты ничего, кроме ежовых рукавиц, от меня не жди! Ненавистник обыкновенный, напротив, может даже прикинуться другом. Нередко убежденного писателя обступает целая толпа доброжелателей, которые выпытывают его мысль и, успев в своем предательском предприятии, отдают эту мысль, – разумеется, снабженную своеобразными комментариями, – в жертву поруганию.

Минуты подобного нравственного разложения, минуты, когда в обществе растет запрос на распрю, клевету и предательство, могут быть названы самыми скорбными в жизни убежденного писателя. Не столько ради личного страха, сколько ввиду общей паники, он умолкает, и вместе с ним умолкает и вся убежденная литература. Среди этого молчания раздается односторонний лай, от которого тоскливо сжимается сердце; из дома в дом переносятся слухи самого чудовищного свойства и принимаются на веру без малейшего анализа. Неясное гудение улицы, смущенные лица друзей, бесцельная сутолока дня, шорохи ночи – все наводит уныние, все сковывает душу бессилием. Деваться некуда от тоски и бездействия.

Ненавистничество не довольствуется, впрочем, улицей, но проникает и в писательскую среду. Ненавистник сам становится в ряды писателей и мало-помалу овладевает литературой всецело. Положение обостряется; припоминается прошлое, истолковывается настоящее, столбцы наполняются инсинуациями и обличениями. Самые скромные идеалы, стремления самые законные, даже описки, опечатки – все служит поводом для угроз. Отпора не допускается на точном основании пословицы: что написано пером, того не вырубишь топором. С обеих сторон вырублено топором: и со стороны обвиняемой, которая и не пытается защищать себя, и со стороны обвинителей, которые не имеют ни малейшей надобности доказывать. Топор так топор.

Деятели, которые бодро выносят на своих плечах бремя подобных общественных настроений, оказывают громадную услугу делу

преуспевания. Благодаря их усилиям хоть частица последнего ускользает от разграбления. Она свято сохранится под спудом, и когда наступит время, явится возможность от ее уцелевших искр возжечь новый светоч. Да и самое слово «литература» никогда не погибнет, как бы ни изнемогала она под игом ненавистнического срама. Надо изгнать его из употребления, заменить словом «срам», чтоб добиться каких-нибудь существенных результатов в смысле подавления человеческой мысли. Только тогда наступит действительное общественное разложение.

Но куда большинство «убежденных» все-таки изнемогает и приносится в жертву праздным лаятелям. К счастью, в самом лагере литературных лаятелей уже замечается рознь. Исходя из одних и тех же основных пунктов, члены этого лагеря стараются осыпать друг друга сквернословием, чтобы щегольнуть перед подписчиком. Кроме основных пунктов, существует множество не стоящих ломаного гроша подробностей, которые дают обильную пищу для разногласий и обличений. Газета «Помои» ежедневно препирается с газетой «Приют уединения», и обе не жалеют ни усилий, ни слов, чтобы укорить друг друга в измене. И та и другая хотят служить делу ненавистничества на свой манер и вовсе не имеют намерения сознаться, что обе равно паскудны.

Впрочем, увлекшись вопросом о ненавистнической литературе, я невольно удалился от характеристики читателя-ненавистника. К удовольствию моему, мне остается сказать о нем лишь несколько слов.

Откуда явился ненавистник-читатель и какие условия породили его? Вышел ли он с сердцем, исполненным праха, из утробы матери или же его создала таким жизнь?

Nascuntur или *fiunt* (рождаются или делаются (лат.). – *Примеч. сост.*) сеятели общественных раздоров? – вот вопрос, который не лишне в заключение разъяснить.

Я полагаю, что не *nascuntur*, а *fiunt*. Природа, даже в мире физическом, настолько скупа на создание уродливостей, что убожки и калеки от рождения встречаются как исключение. Нравственный же мир совершенно недоступен для ее творчества. Нужен целый ряд заражающих примеров, целая растлевающая система воспитания, наконец, продолжительный жизненный процесс, в котором главное содержание составляет праздность, чтоб произвести нравственное чу-

довище. Но всего более появлению ненавистников способствуют так называемые переходные эпохи, когда ощущается необходимость новых жизненных устоев, а общество настолько не подготовлено, что не может отыскать их. В такие эпохи выбрасывается на улицу громадное множество материально и нравственно оголтелых личностей и находит себе питание в совершающемся брожении. Происходит адский процесс взаимного оплодотворения. Оголтелые люди дают пищу и развитие брожению, брожение, с своей стороны, укрывает и дает питание оголтелым людям.

В рядах ненавистников вы найдете всех, которых внезапно наступившее брожение застигло врасплох. Иных оно лишило лакомого куска, других изобличило в несостоятельности, третьим затворило двери будущего. В особенности встречается великое изобилие «замаранных», которые отдаются ненавистничеству в надежде, что оно поможет им «очиститься». Я знал даже достаточно жертв старых порядков, выкинутых за борт общественного корабля вследствие заведомой их зазорности, которые вновь появлялись на арену деятельности и не без успеха выполняли задачу ненавистничества. Некоторые из них, озлобленные, голодные и бесприютные, находили себе не только кусок хлеба и приют, но и настоящую сытость, и приличное общественное положение...

Так как ненавистничество есть по преимуществу плод самого низменного эгоизма и взбудораженного темперамента, то между борниками этого ремесла очень редко можно встретить личность, способную доказать свои положения. Громадное большинство бродит, как опьяненное, изрыгая бессмысленную хулу. Вся задача тут в том состоит, чтобы попасть в тон минуте и извлечь из нее все личные выгоды, которые она может дать. Чтобы убедиться в этом, стоит только обратиться к торжествующей прессе нашего времени. Что она представляет собой, как не случайный сброд задач и задачек, не связанных между собой руководящею мыслью и не допускающих никакой проверки? От первой строки до последней все здесь произвольно, ничем не обусловлено и исполнено противоречий. Сегодняшнее утверждение сменяется завтрашним опровержением без перехода и без малейшего опасения быть изобличенным. Только ненависть к честным и высоким идеалам жизни стоит неизменно и незыблемо, освещая своим распространяющим чад факелом путь распри, умственной смуты и лжи.

2. Солидный читатель

Читатель этой категории следует непосредственно за читателем-ненавистником. Они связаны узами общежития, хлебосольтва и называют друг друга кумовьями. В нравственном смысле он безразличен – и потому не может идти в сравнение с читателем-ненавистником; но в практическом отношении он почти столь же вреден, как и последний. Это оплот, на который по преимуществу опирается ненавистничество; это всегда готовое и послушное воинство, в котором последнее почерпает свою силу, и притом воинство, прислушивающееся к малейшим общественным шорохам и способное выделить из себя перебежчика.

Спешу, впрочем, оговориться. Солидный читатель настолько подчинен веяниям минуты, что не всегда является приспешником ненавистника, но, от времени до времени, ежели не прямо становится в ряды его противников, то, во всяком случае, игнорирует его. Подобно ручью, он отражает в себе окрестный пейзаж, с тою лишь разницею, что у ручья пейзаж всегда один и тот же, а у него он представляет собою беспрерывно изменяющуюся панораму.

К чтению солидный читатель не особенно пристрастен и читает не столько вследствие внутренней потребности, сколько вследствие утвердившейся привычки. Притом – нельзя же и не знать, что на свете делается: без этого никакое деятельное участие в общественной жизни немислимо. Поедешь в гости, а там вдруг вопрос: «слышали, что такой-то налог провалился?» или: «слышали, какую штуку немцы Шнебелле (французский чиновник, провокационно арестованный в Германии в 1887 году. – *Примеч. сост.*) удрали?.. умора!». Ради одного того, чтоб не разевать рта при подобных вопросах, надо хоть наскоро пробежать насущные новости. Так он и поступает: с пятого на десятое проглядывает за утренним чаем свою газету, останавливаясь преимущественно на телеграммах и распоряжениях. В каких-нибудь десять минут приобретает необходимые, чтоб не ударить лицом в грязь, познания – и прав на целый день. Не только выслушивать вопросы о Шнебелле в состоянии, но и сам предлагать таковые способен.

И даже считает разговоры о новостях дня небесполезными; уличит свободную минутку и покалякает. И время в гостях скорее пройдет, покуда хозяин не скамандует карты подать, да и поучение какое-нибудь из взаимного обмена новостей можно извлечь, не обременяя себя головоломными философствованиями. Потому что и без фило-

софствования ясно, что Шнебелле сплошал, а немцы – молодцы! И еще яснее: вот так штука! Налог-то не прошел!

Тем не менее в эпохи, когда в обществе чувствуется оживление, солидный читатель ощущает потребность вникать. Не ограничивается одними мелкими известиями, но прочитывает передовые статьи и корреспонденции, в особенности последние. Но так как оживление бывает в том или в другом смысле, то и он вникает всяко: и в том и в другом смысле. Тем не менее, приступая к процессу вникания без подготовки, он некоторое время бывает слегка ошеломлен. Все ему кажется новым: и необычность приемов, и содержание читаемого. В льготное время провинциальные корреспонденции приводят его почти в восторженное состояние. Прочитавши в газете письмо из города На-трех-китах-стоящего, что тамошний исправник небрежет исполнением возложенных на него законом обязанностей, он восклицает:

– Вот так ошпарили! До новых веников не забудет! Ай да молодцы!

И непременно расскажет о прочитанном вечером, между двумя карточными сдачами, в доказательство, что и он не чужд гласности.

Но когда в воздухе насчет гласности чувствуется похолоднее, он, прочитавши подобное же обличение, случайно прорвавшееся в газету, уже относится к нему довольно угрюмо:

– Ну, брат, распелся! – обращается он мысленно к неосторожному корреспонденту, – коли так будешь продолжать, то тут тебе и капут!

И на другой или на третий день, убедившись, что слова его были вещими («капут» совершился), не преминет похвалиться перед прочими солидными читателями:

– Представьте себе! Я ведь точно чуял. Еще вчера, читаю газету и говорю: ну, этому молодцу не сдобровать. Так и случилось.

Повторяю: солидный читатель относится к читаемому, не руководясь собственным почином, а соображаясь с настроением минуты. Но не могу не сказать, что, хотя превращения происходят в нем почти без участия воли, но в льготные минуты он все-таки чувствует себя веселее. Потому что даже самая окаменелая солидность инстинктивно чуждается злопыхательства, как нарушающего душевный мир.

– Диковинное это дело, – весело говорит он, – какая нынче свобода дана! читаешь и глазам не веришь! Прежде бы этого самого господина корреспондента за такие его поступки за ушко да на солнышко, а нынче – ничего!.. Начальство только посмеивается. Да ведь оно и вправду: пора господам исправникам честь знать.

Читателя-ненавистника он боится... Последний давит его своею угрюмостью, и необходимость справляться с его мнениями и следовать его указаниям представляет не очень приятную перспективу. Того гляди, кому-нибудь на ушко шепнет или при всех в глаза ляпнет:

– Ну, что, господин Попрыгунчиков, допрыгался!

– «Ах, хорошо, что исправникам от свистунов на орехи достанется!», «Ах, хорошо, что и до губернаторов добрались!». Вот тебе и допрыгался! Расхлебывай теперь!

Или:

– А все вы, господа Попрыгунчиковы! все-то вы похваливаете, все-то подвигиваете! Вилляли-вилляли хвостами, да и довилиались! А знаете ли, что за это вас, как укрывателей, судить следует? Вместо того чтобы стоять на страже и кому следует доложить – они натко что выдумали! Поддакивать свистунам! Срам, сударь!

Это он-то довилился! Он, который всегда, всем сердцем... куда прочие, туда и он! Но делать нечего, приходится выслушивать. Такой уж настал черед... «ихний»! Вчера была оттепель, а сегодня – мороз. И лошадей на зимние подковы в гололедицу подковывают, не то что людей! Но, главное, оправданий никаких не допускается. Он обязан был стоять на страже, обязан предвидеть – и все тут. А впрочем, ведь оно и точно, если по правде сказать: был за ним грешок, был!

Он мысленно обращается к прошлому и припоминает. Все тогда так говорили, именно все. Даже директор департамента. Все поднимали на смех ненавистника, и это считалось не подвигиванием, а признанием истинных интересов минуты. Кто же мог знать, что на место «истинных» интересов минуты выступят на сцену еще более истинные? Кто мог предвидеть, что этот самый директор департамента, который так самонадеянно нес голову навстречу громким делам, внезапно понурит ее и весь наполнится бормотанием? Разве солидные люди для того созданы, чтобы предвидеть? Нет; их назначение в том состоит, чтобы следовать указаниям и не отступать от общего настроения. Куда прочие – туда и он!

За всем тем он понимает, что час ликвидации настал. В былое время он без церемоний сказал бы ненавистнику: пустое, кум, мелешь! А теперь обязывается выслушивать его, стараясь не проронить ни одного слова и даже опасаясь рассердить его двусмысленным выражением в лице. Факты налицо, и какие факты!

Анализировать эти факты в связи с другими жизненными явлениями он вообще неспособен, но, кроме того, ненавистник, услышав

о такой претензии, пожалуй, так цыркнет, что ног не унесешь. Нет, лучше уж молча идти за течением, благо ненавистник, благодаря кумовству, относится к нему благодушно и скорее в шутливом тоне, нежели серьезно, напоминает о недавних проказах.

Поэтому даже в тесном семейном кругу, за домашним обедом, ежели жене или кому-нибудь из детей случится обмолвиться лишним словом, солидный читатель спешит прекратить дальнейшее развитие речи.

– Ах, матушка, пора эти разговоры оставить! – говорит он. – Изба моя с краю – ничего не знаю! Вот правило, которым мы должны руководствоваться, а не то чтобы что...

Однако с течением времени и это скромное правило перестает уж казаться достаточным. Солидный человек все больше и больше сближается с ненавистником, благоговейно выслушивает его и поддакивает. По-видимому, он находит это и небезвыгодным для себя. Наконец, он и за собственный счет начинает раздувать в своем сердце пламя ненавистничества.

– А что вы думаете! – говорит он. – Все зло именно в этой пакостной литературе кроется! Я бы вот такого-то... Не говоря худого слова, ой-ой, как бы я с ним поступил! Надо зло с корнем вырвать, а мы мямлим! Пожар уж силу забрал, а мы только пожарные трубы из сарая выкатываем! – Ну да, ну да! – поощряет его собеседник-ненавистник. – Вот именно это самое и есть! Наконец-то ты догадался! Только, брат, надо пожарные трубы всегда наготове держать, а ты, к сожалению, свою только теперь выкатил! Ну, да на этот раз бог простит, а на будущее время будь уж предусмотрительнее. Не глумись над исправниками вместе с свистунами, а помяни, что в своем роде это тоже предрержащая власть!

Выслушав эту нотацию от одного кума, солидный человек направляет свои стопы к другому куму и от него выслушивает такую же нотацию.

Наслушавшись вдоволь, он выходит на улицу и там встречается с толпой простецов, которые, распахнув рот, бегут куда глаза глядят. Везде раздается паническое бормотание, слышатся бессмысленные речи. Семена ненавистничества глубже и глубже пускают корни и, наконец, приносят плод. Солидный читатель перестает быть просто солидным и потихоньку да полегоньку переходит в лагерь ненавистников.

Я, впрочем, не говорю, что он останется в этом лагере навсегда; но во всяком случае не покинет его до тех пор, пока новые и вполне

решительные факты не вызовут его из состояния остервенения и не бросят в противоположную сторону.

В столицах и вообще в густо населенных центрах солидные читатели представляют особь довольно многочисленную и тем более выдающуюся, что они вербуются преимущественно в чиновничьих рядах. Не особенно это крупные чины, а все-таки свою роль сыграть могут. Да и лестница чинов достаточно подвижна; сегодня какой-нибудь мелкотравчатый внизу копошится, а завтра он уж, смотришь, наверх влез. При помощи бесчисленного множества нравственных подспорий, всегда готовых к услугам алчущих, подобные превращения нередки. Недаром спрос на благовонные товары усиливается. Это означает, что народилась целая уйма солидных людей, которые уже не довольствуются скромным казанским мылом, но, ввиду обуявшей их жажды почестей и оживления надежд, начинают ощущать потребность в более тонких мылах, с запахом вроде *Violette de Parm* или *Foin coupe* («Пармской фиалки» или «Скошенного сена» (франц.). – *Примеч. сост.*).

Эта особенность солидного читателя делает заметным его влияние на общее настроение читательской среды. Подобно своему куму-ненавистнику он имеет возможность высказываться. И ежели его мнения не так решительны и образны, как мнения ненавистника, то во всяком случае безобидны и благонамеренны. А сверх того они и тем еще удобны, что высказываются во всех направлениях.

Вот почему убежденный писатель, действующий почти исключительно в городских центрах, так часто встречается с резкими превращениями в читательской среде. Почин в этом случае принадлежит ненавистникам, за которыми рабски следует по пятам воинство солидных читателей. Под их давлением впадает в беспамятство читатель-простец и с болью в сердце ступевывается читатель-друг. Складывается совсем особое общественное мнение, до неузнаваемости потрясенное в самых основаниях. Или, говоря более вразумительно, происходит волшебство, которому долгое время отказываются верить глаза.

Такое положение вещей может продлиться неопределенное время, потому что общественное течение, однажды проложивши себе русло, неохотно его меняет. И опять-таки в этом коснении очень существенную роль играет солидный читатель. Забравшись в мурью (какой бы то ни было окраски), он любит понежиться и потягивается в ней до тех пор, пока блохи и другая нечисть не заставят выскочить. Тогда он с несвойственной ему стремительностью выбегает наверх и высматривает, куда укрыться.

Повторяю: роль солидного читателя приобретает преувеличенное значение благодаря тому, что у нас общественная жизнь со всеми веяниями складывается преимущественно в столицах и больших городах, где солидные люди, несмотря на свою сравнительную немногочисленность, стоят на первом плане. Вместе с ненавистниками они одни имеют возможность возвышать голос, не рискуя вызвать подозрения и улики в измене, и тяготеть над прочими общественными слоями, осужденными на безмолвие и пассивность. А провинциальные захолустья даже совсем не принимаются в расчет. Предполагается, что там царит фаталистическая тьма, которую может разогнать только свет, исходящий из ненавистнических и солидных городских сфер. Этот свет она должна признать для себя обязательным.

Сверх того, успехам солидного человека, его тяготению на общественное настроение немало способствует и низменность его нравственного умственного уровня. В нравственном смысле он настолько безразличен, что никаких руководящих принципов не признает; в умственном смысле он не развит и в высшей степени невежествен. Но, к удивлению, это именно и дает ему право на внимание. Он сыплет афоризмами самого первоначального свойства, цитирует пословицы, в которых преимущественно замыкается мудрость веков, и толпа простецов с доверием внимает ему. Ибо, собственно говоря, только такие вполне бессодержательные речи и доступны ей. А так как простецы составляют главное ядро читательской и вообще действующей массы, то запавшие в ее слух азбучные поучения не пропадают бесследно, но с быстротою молнии разносятся во все концы. И таким образом устанавливается известное общественное настроение, которое в свою очередь дает силу ненавистникам и солидным людям и поощряет их на дальнейшие подвиги.

Только сильный наплыв фактов, делающих невозможным упорное следование по пути, намеченному пословицами и азбучными истинами, может положить предел этому печальному недомыслию. Но факты такого рода накапливаются медленно, и еще медленнее внедряется доверие к ним. В большинстве случаев бывает так, что факт уже вполне созрел и приобрел все права на бесспорность, а общественное мнение все еще не решается признать его. Конечно, всякому случалось – и нередко – слышать такие речи:

– Э, батюшка! и мы проживем, и дети наши проживут – для всех будет довольно и того, что есть! На насиженном-то месте живется и

теплее, и уютнее – чего еще искать! Старик Крылов был прав: помните, как голубь полетел странствовать, а воротился с перешибленным крылом? – Так-то вот.

В этих немногих словах высказывается весь кодекс «солидной» житейской мудрости; но так как он единственный, который не требует ни размышлений, ни исканий, то на него существует спрос. И ежели вы возразите, что так называемое «покойное проживание» представляет собой только кажущееся спокойствие, что в нем-то, пожалуй, и скрывается настоящая угроза будущему и что, наконец, басня о голубе есть только басня и не все голуби возвращаются из поисков с перешибленными крыльями, то солидный человек и на это возражение в карман за словом не полезет.

– Э, – скажет он, – пока что, а мы поживем!

И, высказавшись, умолкнет, вполне уверенный, что истина на его стороне.

Да, мало, чересчур мало нужно, чтобы поселить в солидном человеке уверенность в его непогрешимости и водворить в его душе безмятежие и ясность. Два-три случайно попавших на язык слова – и он, счастливый и довольный, гордо несет их напоказ.

Само собой разумеется, что убежденному писателю с этой стороны не может представиться никаких надежд. Солидный читатель никогда не выкажет ему сочувствия, не подаст руку помощи. В трудную годину он отвернется от писателя и будет запевалой в хоре простецов, кричащих: ату! В годину более льготную отношения эти, быть может, утратят свою суровость, но не сделаются от этого более сознательными.

И в том и в другом случае впереди стоит полное одиночество и назойливо звучащий вопрос: где же тот читатель-друг, от которого можно было бы ожидать не одного платонического и притом секретного сочувствия, но и обороны?

3. Читатель-простец

Читатель-простец составляет ядро читательской массы; это – главный ее контингент. Он в бесчисленном количестве кишит на улицах, в театрах, кофейнях и прочих публичных местах, изображая собой ту публику, к услугам которой направлена вся производительность страны и в то же время ради которой существуют городовые и жандармы.

Он – покупатель и потребитель. Все, что таят в себе недра торговых помещений, начиная от блестящего магазина с зеркальными ок-

нами и кончая вонючей мелочной лавочкой, ютящейся в подвальном этаже, — все это он износит, истребит, выпьет и съест. Понятно, что при таком обширном круге деятельности, ежели дать ему волю, то он будет метаться из стороны в сторону, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому движение его строго регулируется городовыми, которые наблюдают, чтоб он не попал под вагон и вообще шел в то место, куда следует идти. В последнее время за ним начали зорко следить и газетчики.

Для газетчика простец составляет очень серьезный предмет забот. Он — подписчик и усердный чтец; следовательно, его необходимо уловить, а это дело нелегкое, потому что простец относится к читаемому равнодушно и читает все, что попадет под руку, наблюдая лишь за тем, как бы не попасть в ответ. Газетчик знает это и мотает себе на ус: «надобно устроить так, чтоб простец читал именно мою газету». Он напрягает усилия, чтобы пробудить простеца из равнодушия, взнудать его и вообще прикрепить к известному стойлу, а для этого нужно, чтобы прежде всего газетная пища легко переваривалась, чтобы направление газеты не возвышалось над обычным низким уровнем и чтобы по возможности чаще в ней появлялись густо охранительные новости.

До наступления эпохи возрождения читатель вербовался преимущественно в среде «солидных», журналов было мало, газет почти совсем не существовало, поэтому и солидной среды было достаточно, чтобы выделить из себя сносный контингент подписчиков. К тому же и издательские требования в то время были скромнее. Журнал или газета, которые считали пять тысяч подписчиков, не только удовлетворялись этим, но и ликовали. Что касается до простеца, то он никакого влияния на журнальное и газетное дело не имел; он называл себя темным человеком и вполне доволен был этим званием. Игнорируя чтение, он почерпал необходимые новости на улице. И это было для него тем сподручнее, что самые новости, которые его интересовали, имели совершенно первоначальный характер, вроде слухов о войне, о рекрутском наборе или о том, что в такой-то день высокопреосвященный соборне служил литургию, а затем во всех церквях происходил целодневный звон. Впрочем, надо сказать правду, что и газеты тогдашние немного опережали улицу в достоинстве предлагаемых новостей, так что, в сущности, не было особенного резона платить деньги за то, что в первой же мелочной лавке можно было добыть даром.

Но с наступлением эпохи возрождения народилось, так сказать *сословия* читателей, и народилось именно благодаря простецам. Последние уже перестали довольствоваться кличкою темных людей и наравне с прочими бросились в деятельный жизненный омут. Прошедшая перемена в общественном настроении затрагивала их даже существеннее, нежели кого-либо, потому что, собственно говоря, она их одних настоящим образом вызвала из щелей на вольный свет. Прочие же охотно удовлетворились бы и прежним «вольным светом» и даже смотрели на новый «свет» двояко: иные со страхом, другие с робкой надеждой, а большинство оставалось при колебаниях. Что касается до простеца, то для него никакого повода колебаться не существовало. Один выход из звания «темного человека» представлял уже выигрыш, так как звание это не только перестало быть украшением, но и приобрело значение довольно обидное.

Прежде простец говорил: «мы люди темные», – в надежде укрыться под этим знаменем от вменяемости; теперь он стал избегать такого признания, потому что понял, что оно ни от чего его не освобождает, но, напротив, дает право распорядиться с ним по произволению.

– Ты темный человек, – говорили простецу в дореформенное время, – ступай, бог тебя простит!

А в пореформенное время начали говорить уж так:

– Коли ты сам признаешь, что ты темный человек, – стало быть молчи! А будешь растабарывать – расправа с тобой короткая.

Разница, как всякий согласится, не маленькая.

Ошибочно, впрочем, было бы думать, что современный простец принадлежит исключительно к числу посетителей мелочных лавочек и пивных; нет, в численном смысле он занимает довольно заметное место и в культурной среде. Это не выходец из недр черни, а только человек, не видящий перед собой особенных перспектив. И ненавистники, и солидные ожидают впереди почестей, мест, орденов, а простец ожидает одного: как бы за день его не искалечили.

Ожидание это держит его в страхе и повиновении. Даже почувствовав под ногами более твердую почву, он остается верен воспоминаниям об исконной муштровке и, судя по всем видимостям, вовсе не намерен забыть об них. Он редко обращает свою мысль к голосу собственного рассудка, собственной совести – и, напротив, чутко и беспокойно присматривается и прислушивается к афоризмам, исходящим из солидных сфер. И хотя бы последние представляли собой

бессвязное и неосмысленное бормотание, он принимает их к сведению. Вообще, это – человек, не знающий самостоятельной жизни, так что руководить и распоряжаться его действиями не представляет никакого труда. Не мудрствуя лукаво, он следит за движениями указующего перста, совершенно равнодушный к тому, что таится в той дали, куда этот перст направлен. Ввиду этой легкости и сама руководящая (солидная) сторона не считает для себя обязательным обдумывать свои указания, а действует наудачу, как в данную минуту вздумается. Словом сказать, и руководители, и руководимые являются достойными друг друга, и вот из этого-то взаимного воздействия, исполненного недомыслий и недомолвок, и создается то общественное мнение, которое подчиняет себе наиболее убежденных людей.

Я уже сказал выше, что читательское сословие народилось в эпоху всероссийского возрождения, благодаря громадному приливу простецов. С тех пор простец множится в изумительной прогрессии, но, размножаясь и наполняя ряды подписчиков, он нимало не изменяет своему безразличному отношению к читаемому. Чтобы убедиться в этом, стоит заглянуть в любую кофейню.

Вот он сидит в углу, обложенный летучими листками. Глаза его пристально следят за строками, но в лице ни один мускул не шевельнется. Изредка он сунет в рот палец – это одно до известной степени свидетельствует о душевном движении. И ежели вам удастся в эту минуту заглянуть в развернутый лист, то вы убедитесь, что движение это произошло исключительно по поводу встреченного в газете знакомого имени. Такой-то чересчур уж быстро подвинулся по лестнице почестей; такой-то, напротив, проворовался и заседает в окружном суде на скамье подсудимых. Конечно, это не может не вызывать на размышления, хотя последние никогда не выходят из разряда самых обыкновенных общих мест.

– Давно ли Павлушкой звали, – думает простец, – а теперь, поди, Павлом Семенычем величают, а вдобавок не забывают прикинуть и «вашество»!

Или:

– Вот, подитка! на четырех женах женат! и куда ему такая прорва баб понадобилась! Мне и одной Арины Ивановны предостаточно...

Ничто другое его не тревожит, хотя он читает сплошь все напечатанное. Газета говорит о новом налоге, – он не знает, какое действие этот налог произведет, на ком он преимущественно отразится и даже

не затронет ли его самого. Газета говорит о новых системах воспитания, — он и тут не знает, в чем заключается ее сущность и не составит ли она несчастье его детей.

Он живет изо дня в день, ничего не провидит, и только практика может вызвать его из оцепенения. Когда наступит время для практических применений, когда к нему принесут окладной лист или сын его с заплаканными глазами прибежит из школы — только тогда он вспомнит, что нечто читал, да не догадался подумать. Но и тут его успокоит соображение: зачем думать? все равно плетью обуха не перешибешь! — «Ступай, Петя, в школу — терпи!», «Готовь, жена, деньги! Новый налог бог послал!».

Затем, помимо личных имен, еще только так называемые «факты» заставляют его сделать движение бровями, но и то потому, что этими «фактами» ему прожужжали уши ненавистники и солидные. Их нельзя игнорировать, потому что слухами о них полна улица, и на каждом шагу раздается:

— Каково? дождались?

Поэтому необходимо запомнить хоть материальное содержание «факта», чтоб дать хоть такого рода ответ:

— Да, это в некотором роде... — иначе как раз прослывешь тайным сочувствователем.

Убежденного писателя он положительно избегает. Во-первых, идеалы, более или менее широкие, совершенно чужды его пониманию, а, во-вторых, он боится ответственности, которая представляет неминуемый результат знакомства с такого рода литературою. И тут ему прожужжали уши, что «факт» и убежденная литература находятся в неразрывной связи, что первый, сам по себе, даже ничтожен и не мог бы появиться на свет, если б не существовал толчок извне, который оживляет преступные надежды.

— Читали ли, что в такой-то газете напечатано? каковы идеи?

— Нет уж, вашество, я нынче не читаю. Подальше от греха. Сам-то я, конечно, не заражусь, но завалается как-нибудь книжка, да, пожалуй, и попадет в руки кому-нибудь из домочадцев... ну их совсем!

Тем не менее нельзя отрицать, что и на среду простецов либеральные веяния остаются не без влияния. В такие минуты улица вообще делается веселее и даже как-то смышленнее, и простец инстинктивно следует за общим течением. Он видит, что ненавистник понурил голову, что лицо солидного человека расцветилось улыбкой, что га-

зеты, вчера еще решительно указывавшие на «факты», начинают путаться, затем мало-помалу впадают в благодушный тон, – и сам понемногу выходит из состояния ошеломления. Но такое счастливое настроение не задерживается в нем. Равнодушный и чуждый сознательности, он во все эпохи остается одинаково верен своему призванию – служить готовым орудием в более сильных руках.

В этом, последнем смысле среда простецов очень опасна. Хотя сам по себе простец не склонен к самостоятельной ненависти, но и чувство человечности в его сердце не залегло; хотя в нем нет настолько изобретательности, чтобы отравить жизнь того или другого субъекта преднамеренным подвохом, но нет и настолько честности, чтобы подать руку помощи. Все его существование, все помыслы и действия насквозь проникнуты колебаниями, которые придают общению с ним характер полной бесполезности. Не убеждения действуют на него, а внешнее давление. В ловких руках он делается свиреп и неумолим. Без сознанного повода, без цели, без разума он накидывается на намеченную жертву, впивается в нее когтями и грызет. В такую минуту легко даже впасть в ошибку и подумать, что он ненавидит эту жертву, а не грызет ее, выполняя только обряд...

...В среде простецов необходимо отличить одну особь: простеца-живчика, который, в противоположность сонливости простеца-байбака, поражает юркостью своих движений и чрезмерной подвижностью мысли и чувств.

Живчик по преимуществу – любитель посмеяться. Каламбуры, анекдоты, пародии – вот пища, которою он не может достаточно насытиться. Поэтому он почти исключительно ютится около так называемой мелкой прессы, которая бойко торгует анекдотами. В большой прессе, – в сущности, впрочем, столь же мелкой, но издающейся простынями, – он заглядывает только в литературный фельетон, да в отдел журнального обозрения. В первом его прельщает шутовство, бойкость пера, скандалы; во втором – передержки, подтасовки, полемика, или, как он ее называет, взаимное «щелканье» газет и журналов.

– Читали? читали фельетон в «Помоях»? – радуется он, перебегаая от одного знакомого к другому, – ведь этот «Прохожий наблюдатель» – это ведь вот кто. Ведь он жил три года учителем в семействе С-ских, о котором пишется в фельетоне; кормили его, поили, ласкали – и посмотрите, как он их теперь щелкает! Дочь-невесту, которая два месяца с офицером гражданским браком жила и потом опять домой воротилась, – и ту изобразил! так живьем всю процедуру и описал!

– А! так вот оно что! так это она? То-то, я давеча читаю, как будто похоже... – догадывается собеседник, тоже из породы живчиков.

– Еще бы! Марья-то Ивановна, говорят, чуть с ума не сошла; отец и мать глаз никуда показать не смеют... А как они друг друга шелкают, эти газетчики! «Жидаы! хамы! безмозглые пролазы!» – так и сыплется! Одна травля «жидов» чего стоит – отдай все да и мало! Так и ждешь: ну, быть тут кулачной расправе!

– Да и бывает!

И действительно, казусы кулачной расправы нынче нередки. «Критика» даже в такой решительной форме, как «жидаы, пролазы» и т. д., оказывается уже недостаточно в качестве последнего слова. На сцену появляется палка, кулак, но надо сказать правду, что покуда больше всего достается диффаматорам. Скверное это ремесло и по существу, и по последствиям, но, несмотря ни на что, ряды диффаматоров не только не редеют, но день ото дня становятся плотнее и плотнее. Стало быть, таково уже знамение времени. Дурные инстинкты взяли такую силу, что диффаматор почти фаталистически глубже и глубже погрязает в пучине. Посвящая всего себя исключительно диффамации и клевете, он далеко не уверен, что занятие это пройдет ему даром, и все-таки идет навстречу побоям. Идет трепетною стопою, оглядываясь по сторонам, но идет.

Как бы то ни было, но удовольствию живчика нет пределов. Диффамационный период уже считает за собой не один десяток лет (отчего бы и по этому случаю не отпраздновать юбилея?), а живчик в подробности помнит всякий малейший казус, ознаменовавший его существование. Тогда-то изобличили Марью Петровну, тогда-то – Ивана Семеныча, тогда-то к диффаматору ворвались в квартиру, и он ввиду домашних пенатов подвергнут был исправительному наказанию; тогда-то диффаматора огорошили на улице палкой.

Живчик не только вычитывает, но и разузнает. Он чувствует диффамацию даже тогда, когда настоящие личности скрыты под вымышленными фамилиями, и до тех пор не успокоится, покуда досконально не дознает, что Анна Ивановна Резвая есть не кто иная, как Серафима Павловна Какурина, которой муж имеет магазин благовонных товаров в Гостином Дворе; что она действительно была такого-то числа в гостинице «Москва», в отдельном номере, и муж накрыл ее.

Диффамация, гнусная сама по себе, обостряется благодаря принимаемому в ней читателем-живчиком деятельному участию. Он рассеивает ее, делает общим достоянием. Разумеется, он не сознает этого

и предается своему распутному ремеслу единственно потому, что оно глубоко залегло в самую его природу.

Легкомыслие и паскудная подвижность застилают перед ним жизнь с ее горестями и радостями, оставляя обнаженными только уродливости и скандалы. К ним исключительно и устремляются все его помыслы, и только окрик власть имеющего лица: «что разбегаешься? добегаешься когда-нибудь!» – может заставить его до поры до времени утомиться.

Понятно, что ни от той, ни от другой разновидности читателя-простеца убежденному писателю ждать нечего. Обе они игнорируют его, а в известных случаях не прочь и погрызть. Что нужды, что они грызут бессознательно, не по собственному почину – факт грызения нимало не смягчается от этого и стоит так же твердо, как бы он исходил непосредственно из среды самих ненавистников. Благодаря ему органы честной мысли или совсем исчезают с литературной арены, или впадают в бесплодное уныние, а на месте их ликуют «Помои» и «Уединенные Места».

4. Читатель-друг

Я уже сказал выше, что читатель-друг несомненно существует. Доказательство этому представляет уже то, что органы убежденной литературы не окончательно захудали. Но читатель этот заробел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно. Бывают, однако, минуты, когда он внезапно открывается, и непосредственное общение с ним делается возможным. Такие минуты – самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем.

К этому мне ничего не остается прибавить. Разве одно: подобно убежденному писателю, и читатель-друг подвергается ампутациям со стороны ненавистников, ежели не успевает сохранить свое инкогнито.

Виноват: еще одно слово. В последнее время я довольно часто получаю заявления, в которых выражается упрек за то, что я сомневаюсь в наличии читателя-друга и в его сочувственном отношении к убежденной литературе. По этому поводу считаю долгом оговориться: ни в наличии читателя-друга, ни в его сочувствии я не сомневаюсь, а утверждаю только, что не существует непосредственного общения между читателем и писателем. Покуда мнения читателя-друга не будут приниматься в расчет на весах общественного со-

знания с той же обязательностью, как и мнение прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым.

Русские ведомости. 1887. № 122, 130, 133.

Щедрин Н. Полное собрание сочинений: В 20 т. 1937. Т. 16. С. 535–556.

V. В сфере сеяния

1. Газетчик

Чем развитее общество, тем резче обозначаются в нем разнообразные умственные и политические течения, которые увлекают в свой круговорот массы людей. Так, например, во Франции существуют республиканцы различных оттенков и подразделений, монархисты вообще и в частности бонапартисты, легитимисты и орлеанисты; наконец, социалисты вообще и в частности социал-демократы, коллективисты и т. д. Приблизительно то же самое встречается и в других странах Западной Европы. Течения эти полагают начало политическим партиям; они же лежат и в основе журналистики. Правильна или неправильна идея, полезно или вредно направление, которому служит данный журнал (по нашему «газета»), это – вопрос особый; но несомненно, что и идея и направление существуют, что они высказываются в каждой строке журнала, не смешиваясь ни с какими другими идеями и направлениями. Издатель знает, что он издает; подписчик знает, на что он подписывается.

Торжество той или другой идеи производит известные изменения в политических сферах и в то же время представляет собой торжество журналистики соответствующего оттенка. Журналистика не стоит в стороне от жизни страны, считая подписчиков и рассчитывая только на то, чтоб журнальные воротилы были сыты, а принимает действительное участие в жизни. Стоит вспомнить июльскую монархию и ее представителя Луи-Филиппа, чтобы убедиться в этом.

Но бывает и так, что журнальную деятельностью руководят не общественные и политические интересы, а побуждения совсем иного (низменно-морального) свойства. Или, говоря другими словами, бывает и так, что газеты, лишенные публицистической подкладки, подразделяются по своему характеру на ликующие и трепещущие. Содержание для первых представляет веселая диффамация и всех сортов балагурство (иногда, впрочем, заменяемые благонамеренным

бешенством); содержанием для последних служит агонизирующая тоска в виду завтрашнего дня и ежедневная разработка шкурного вопроса.

Каким образом балагурство для балагурства, бешенство для бешенства, тоска для тоски могут удовлетворять читающие массы, — это секрет той степени развития, на которой может находиться в каждую данную минуту каждое данное общество. Ежели умственные и политические интересы не возбуждают внимания общества, то и журналистика неизбежно принимает соответствующий низменный характер. Единственная расценка, которая при этом допускается, — это подразделение газетных деятелей, как я сказал выше, на две группы: ликующих и трепещущих. О первых говорится: «нахалы, но — молодцы!». О последних: «ах, бедные!».

Сделавши эту оговорку, приступаю к рассказу.

* * *

Первое место — газетчику ликующему, так как это разновидность наиболее распространенная и притом благоденствующая.

Откуда он появляется на арену публичной деятельности? грек ли он таганрогский, расторговавшийся на халве и губках, еврей ли бердичевский, бывший ли сыщик или просто питомец воспитательного дома?

Каким образом приобрел он вкус к письменам?

Как очутился он во главе большой и распространенной газеты, претендующей на руководящее значение?

На все эти вопросы он может ответить только невнятным бормотанием.

Он даже избегает такого рода собеседований, как будто чувствует за собой вину. Он боится, что если обнаружится тайна осиявшего его ореола, то его станут дразнить. Он сам в основу своей литературно-публицистической деятельности всегда полагал дразнение и потому не без основания опасается, что та же система будет применена и к нему. Мелкодушный и легкомысленный, он только от мелкодушных и легкомысленных ждет возмездия и обуздания.

Фактов, которые в выгодном для него смысле подтверждали бы его права на руководство общественным мнением, не существует. Те факты, которые известны, свидетельствуют лишь о том, что он до своего теперешнего возвеличения пописывал фельетонцы, разрабатывал вопросы и вообще занимался мелкошным журнальным делом.

В фельетонах он утверждал, что катанье на тройках есть признак наступления зимы; что есть блины с икрой – все равно что в море купаться; что открытие «Аркадии» и «Ливадии» знаменует наступление весны. Вопросы он разрабатывал крохотные, но дразнящие, оставляя, однако ж, в запасе лазейку, которая давала бы возможность отпереться. Вообще принял себе за правило писать бойко и хлестко; ненавидел принципы и убеждения и о писателях этой категории отзывался, что они напускают на публику уныние и скучищу.

Ввиду тумана, окутывающего его прошлое, его обыкновенно называют Иваном Непомнящим (имя собирательное). Этим же именем буду называть его здесь и я.

Газета Ивана Непомнящего возникла точно так же нечаянно, как и он сам. Он не верил глазам, когда ему принесли из типографии первый, пробный номер. Удивление его тем более было законно, что в этом номере он не узнавал самого себя. Ему посоветовали для начала прикинуться серьезным, и он смекнул, что это совет недурной. Большинство знавших его прежнюю бесшабашную деятельность ожидало, что он сейчас же начнет кувыркаться, и было приятно изумлено, услышав, что этот кувыркающийся человек может, между прочим, изрекать и солидные словеса. «Кувыркание от нас не уйдет, – говорили читатели, – но нужно и разнообразить газету». Притом же существуют факты, которые газета не имеет права игнорировать и по поводу которых сразу начать кувыркаться даже неудобно. Нужно до известной степени подготовить публику, приручить читателя, образовать его вкусы в известном направлении, а потом уж и начать звонить вовсю. Когда эта задача будет выполнена, никто не удивится, если и самые серьезные жизненные явления предстанут пропитанными кувырканием.

Итак, на первых порах Непомнящий ведет свое предприятие довольно скромно. Прошедшее его имело слегка либеральный характер. Один Непомнящий (имя собирательное) дразнился в фельетонах, другой – в статьях публицистического характера, третий – тиснул какую-то брошюру, и сам не помнит – о чем. Словом сказать, и тот, и другой, и третий – наследили-таки следов, покуда балагурили за чужой счет, теперь, сделавшись обладателями сокровища, они понимают, что надо эти следы замести хвостом. И вот один Непомнящий объявляет, что, в сущности, он никогда не дразнился, а просто балагурил; другой, что если он язвил в одну сторону, то может, по требо-

ванию, язвить и в другую; третий – что он и сам не знает, что делал, но вперед «не будет». И тут же представляют образцы будущего хорошего поведения. Вероломство и подвохи украшают столбцы попережку с лестью и курением фимиамов. Один Непомнящий науськивает весело и бойко; другой – производит то же самое с шипением и пеною у рта; третий – не знает, как ему поспеть за двумя первыми.

Спросите Непомнящего, что он хочет, какие цели преследует его газета? – и ежели в нем еще сохранилась хоть капля искренности, то вы услышите ответ: хочу подписчика! Да и чего другого ему хотеть? Он до тонкости постиг суть своего времени и очень хорошо знает, что древняя поговорка: «scripta manent» (Письмена остаются (лат.). – *Примеч. сост.*) – до его ремесла не относится. Ему достоверно известно, что его «простыня» годна только сегодня, а завтра она исчезнет – куда? О, господи, спаси и помилуй! О каких же тут целях может идти речь, кроме уловления подписчика? «Scripta» исчезают бесследно, не оставляя в памяти ничего, кроме мути; но подписчик остается (вон он, слоняется по улице! – где у тебя портмоне... дур-рак!), и запах его имеет одуряющие свойства. Надо изловить его; а чтоб достигнуть этого, необходимо давать ему именно ту умственную пищу, которая ему по вкусу. Поэтому Непомнящий напрягает все усилия преимущественно в начале года и к концу его. В середине он может даже игнорировать собственную газету, потому что это время глухое и никаких существенных перемен в материальном смысле не представляет. Но с октября Непомнящий стоит уж на страже и начинает подсчитывать. И не только он сам, но и ближайшие сотрудники его как будто чувствуют, что наступает час генеральной битвы, и удваивают усилия. Никогда не бывает таких забубенных, ликующих фельетонцев, никогда «вопросам» не уделяется так много места, никогда столбцы не уснащаются такою массою подсиживаний. Читатель в изумлении ждет, что будет дальше, – и подписывается.

Подписчик драгоценен еще и в том смысле, что он приводит за собою объявителя. Никакая кухарка, ни один дворник не пойдут объявлять о себе в газету, которая считает подписчиков единичными тысячами. И вот из скромных дворнических лепт образуется ассигнационная гряда. Найдут ли алчущие кухарки искомое место – это еще вопрос; но газетчик свое дело сделал; он спустил кухаркину лепту в общую пропасть, и затем ему и в голову не придет, что эта лепта составляет один из элементов его благосостояния.

Одним словом, под фирмой газеты Непомнящий приобрел себе сокровище. Понятно, что он бережет ее как зеницу ока, от всяких случайностей. Ввиду упрочения ее будущего, не должно быть речи ни об идеях, ни о целях, ни об убеждениях, ни о чем, кроме наивернейших способов удержать за собой сокровище. Он употребляет все усилия, чтобы проникнуть в мысль и вкусы влиятельной среды, справляется у приспешников, угадывает смысл улыбок и телодвижений, напоминает о своей неизменной готовности, а иногда даже удостоивается собеседований. Язвит он исключительно безоружных, тех, которые на его науськивание не могут дать прямого отпора. Такой образ действия и до сих пор у нас известен под именем полемики. Изречет ликующий доброволец какую-нибудь бесспорную «истину», вроде, например, обвинения в неблагонадежности, и торжествует, зная заранее, что ответ на такое обвинение немыслим. Почему немыслим? — А потому, милостивые государи, что, во-первых, в обвинении подобного рода, говоря языком юристов, нет состава вины, а во-вторых, и потому, что самый спор об известных предметах может завести в такую трущобу, из которой и не вылезешь.

Благодаря прочно организованной системе приспешничества газета Непомнящего получает возможность ежедневно снабжать читателя целой массой новостей и слухов. Читатель жадно ловит эти слухи, прежде всего потому, что он сам иной здоровой пищи не знает, а наконец, и потому, что всякая новость передается в газете бойко, весело, облитая соответствующим пикантным соусом. Завтра девять десятых этих слухов окажутся лишенными основания, но зато они заменятся таким же количеством других слухов, которые окажутся ложными послезавтра. По части слухов, кроме системы приспешничества, много способствует и дар выдумки. Существует целая армия сотрудников, репортеров, странствующих витязей, которых назначение заключается единственно в том, чтобы оживлять столбцы и занимать читателя целым ворохом небывальщины. Запасшись этим ворохом, читатель на целый день обеспечен. Он ходит по улице, навещает знакомых и целый день лжет на основании данных, почерпнутых им из газеты Непомнящего 1-го. Знакомые его, получающие газету Непомнящего 2-го, в свою очередь лгут. Происходит обмен сумбурных мыслей, которые, впрочем, имеют за собой то преимущество, что не дают жизни окончательно замереть. Ибо этот-то именно сумбур и называется жизнью.

Обилие сплетен приводит за собой обилие подписчика; обилие подписчика приносит обилие денег. Сначала Непомнящий как бы робеет перед сыплющеюся на него манною, относится к ней слегка иронически и даже ведет приблизительно тот же образ жизни, к которому привык с молодых ногтей. Но по мере того как растет толпа объявителей-дворников и объявительниц-кухарок, сердце его все шире и шире раскрывается для сибаритства. Непомнящий забывает прошлое, привередничает, бросает деньги направо и налево. Прежде всего он устраивает себе обширный кабинет с изобилием письменных столов, с тяжелою мебелью, тяжелыми портьерами и гардинами, стараясь придать помещению такой вид, чтобы случайный посетитель знал, что именно в этой храмине производится та таинственная стряпня, по поводу которой сложилась поговорка, что печать есть шестая великая держава. Около часу дня в кабинет начинает приливать набранное в типографии для завтрашнего номера лганье.

Под масть кабинету устраивается и остальное помещение. Обширная столовая со шкафами, уставленными серебром (непременно в русском стиле), приемная, два салона. Только комнаты, отведенные для сотрудников, для семьи (ежели таковая есть), несколько напоминают трактир средней руки. Первые плохо вентилируются, редко выметаются, всегда наполнены табачным дымом и тою неопрятностью, которая сопровождает непрерывное питье чая и неумеренное потребление бутербродов (угощение от редакции). Последние представляют собой склад всякого рода покупок, которые ворохами приливают с утра до вечера и разбрасываются по столам, стульям, постелям — где попало.

Непомнящий назначает жур-фиксы и устраивает обеды. И на тех и на других фигурируют преимущественно сотрудники и ведется откровенная беседа о том, что хотя подписчик и наклеывается, но следует и еще «поддать жару», чтобы он продолжал приливать. Сверх того, в штате Непомнящего непременно состоят три лица: льстец, рассказчик сцен и разорившийся жуир. Первый называет хозяина «амфитрионом», провозглашает за него тосты и передает патрону подслушанные разговоры; второй оживляет застольную беседу; последний распоряжается кулинарною частию, сервировкой и обучает хозяина приличным манерам. Изредка в эту богато убранную клоаку заходят актеры, актрисы и канцелярские лазутчики, доставляющие материал для новостей дня. Особенным торжеством для себя считает Непом-

нящий, когда его посетит заезжая знаменитость. «Иностранцы, – говорит он, – начинают уже понимать, что в России печать – сила».

Повар Непомнящего отличный; обед тонкий, – такой, о котором и во сне не снилось объявляющимся в его газете кухаркам. Лакеи во фраках и белых галстуках бесшумно обходят гостей, под зорким наблюдением старого жуира, который лишь на минутку садится за стол и почти все время дежурит около входной двери, щелкая языком, когда мимо него проносят лакомые блюда, и тревожно произнося: «psst» – когда в сервировке замечается промах. Лысец тоже следит за сервировкой, но не по обязанности, а из усердия. Только рассказчик сцен делает вид, что он здесь – дома, и наполняет залу звукоподражаниями. Гости сидят скромно и потихоньку переговариваются между собою.

Но Непомнящему уже все надоело. Он едва притрагивается к великолепному шо-фруа, почти с презрением отламывает клешню рака а la bordelaise, – пососет и бросит. В воображении его проносится какое-то диковинное блюдо, в котором рядом фигурируют и шоколад, и мармелад, и икра с маслом, и стерлядь, и говяжий сычуг. Все это он едал отдельно, а теперь хотелось бы разом свалить все ингредиенты в кастрюлю, полить уксусом, яичным желтком и дать упреть. Но увы! – это только мечта! Не раз он сообщал эту мечту своему повару, но последний только улыбался, слушая его. Известно, богатому человеку и бред наяву к лицу.

Иногда, проглатывая куски сочного ростбифа, он уносится мыслью в далекое прошлое; припоминается Сундучный ряд в Москве – какая там продавалась с лотков ветчина! какие были квасы! А потом Московский трактир, куда он изредка захаживал полакомиться селянкой! Чего в этой селянке не было: и капуста, и обрывки телятины, дичины, ветчины, и маслины – почти то самое волшебное блюдо, о котором он мечтает теперь в апогее своего величия!

– А помнишь, Маня, – обращается он через стол к жене, – как мы с тобой в Москве в Сундучный ряд бегали? Купим, бывало, сайку да по ломтю ветчины (вот какие тогда ломти резали! – показывает он рукой) – и сыты на весь день!

Маню точно кто сзади в шею укусил. Лицо ее пламенеет, и она быстро ныряет им в тарелку, храня глубокое молчание. Но на него нашел добрый стих, и он продолжает благодушествовать.

– А что, господа! – обращается он к гостям, – ведь это лучшенькое из всего, что мы испытали в жизни, и я всегда с благодарностью

вспоминаю об этом времени. Что такое я теперь? – «Я знаю, что я ничего не знаю» – вот все, что я могу сказать о себе. Все мне прискучило, все мной испытано – и на дне всего оказалось – ничто! Nichts! А в то золотое время земля под ногами горела, кровь кипела в жилах... Придешь в Московский трактир: Гаврило! селянки! – Ах, что это за селянка была! Маня, помнишь?

Маню опять нечто кусает в затылок, и она вновь молча ныряет лицом в тарелку.

– Вот она этих воспоминаний не любит, – кобенится Непомнящий, – а я ничего дороже их не знаю. Поверьте, что когда-нибудь я устрою себе праздник по своему вкусу. Брошу все, уеду в Москву и спрячусь куда-нибудь на Плющиху... непременно на Плющиху!

– Плющиха – улица первый сорт! – откликается рассказчик сцен, – тут и Смоленский рынок близко – весь воздух протухлой рыбой провонял. Позвольте, я по эфтому самому случаю сцену из народного быта расскажу!

И рассказывает. Гости грохочут; даже лакеи позволяют себе слегка ухмыльнуться. Сервировка обеда несколько замедляется, к великому огорчению жуира, который исповедует то мнение, что за обед садятся затем, чтобы есть, а не затем, чтобы разговаривать.

К счастью, в это время лакей подает на серебряном подносе записку. Это рапортичка из конторы газеты; в ней значится: «Сего 11-го декабря прибыло на газету годовых подписчиков: городских 63, с почты – 467, итого 530. Затем, полугодовых, месячных» и т. д.

Непомнящий громко прочитывает записку; гости рукоплещут; жуир неистово произносит: «psst!»; льстец и рассказчик сцен откупоривают бутылки с шампанским и разливают вино по стаканам.

– Господа! – провозглашает Непомнящий, уже совсем забыв о недавней московской идиллии, – ежели так продолжится до 1-го января, то победа будет обеспечена. Не забудем, что после 1-го января перед нами еще целый год, в продолжение которого *подписка продолжается*; наконец, весьма важный ресурс представляет розничная продажа... Повторяю: это – победа! Но она досталась нам не легко. Припомним недавние годы, когда даже декабрьская подписка не достигала и трети теперешнего количества пренумерантов, – сколько потрачено усилий, тревог, волнений, чтобы выйти из состояния посредственности и довести дело до того блестящего положения, в котором оно в настоящее время находится! Положением этим я обязан

не столько своим личным скромным силам, – «я знаю, что я ничего не знаю», только и всего, – сколько труда моих дорогих сотрудников (льстец закатывает глаза и мотает головой; сотрудники протестуют; раздаются возгласы: «нет, вы даёте тон газете! вам она обязана своим успехом! вам!»)... – Благодарю вас, господа! Вы чересчур добры, но я совершенно искренно говорю: вы на ваших плечах вынесли мою газету; без вашего содействия она не достигла бы и малой доли теперешнего процветания! Что касается лично до меня, то единственная моя заслуга состоит в том, что я не унывал. Я сказал себе раз навсегда, что газету следует вести бойко, весело («так! так!»), что нужно давать читателю ежедневный материал для светского разговора («совершенно справедливо! совершенно справедливо!»), – и неуклонно следовал этому принципу. Сверх того, я сказал себе: никогда не прать против рожна («никогда! никогда!»), потому, во-первых, что самое слово: «рожон», в сущности, не имеет смысла, и, во-вторых, потому, что мы живём в такое время, когда не прать нужно, а содействовать. Вы поняли мою мысль, вы даже косвенно не «прали» и этим обеспечили будущее моей газеты. Исполать вам, господа! Поднимаю бокал и пью за здоровье моих дорогих друзей и сотрудников... ура!

– Нет! нет! за ваше здоровье! за ваше! об нас после... сначала вы!

– За здоровье радушного хозяина! – провозглашает льстец. Все встают из-за стола и гурьбою направляются к радушному амфитриону. Раздаются поцелуи.

Устраивая обеды и вечера, Непомнящий, как я уже сказал выше, прикидывается пресыщенным. Он чаще и чаще повторяет, что все на свете сем превратно, все на свете коловратно; что философия, науки, искусство – все исчерпывается словом: nichts! Посмотрит на пук ассигнаций, принесенный из конторы, и скажет: nichts! прочитает корректуру газеты и опять скажет: nichts! Если бы был под рукою Мефистофель, он приказал бы ему потопить корабль с грузом шоколада...

– Сходите в мелочную лавку и принесите колбасы! – восклицает он.

Он рассматривает принесенную колбасу в микроскоп и видит шевелящихся трихин. Какая прекрасная мысль для фельетона! Бедняк заходит в лавочку, покупает, для поддержания жизни, на гривенник колбасы – и обретает смерть! С другой стороны, пресыщенный богач, под внушением внезапной прихоти... опять колбаса – и опять смерть! Какое горькое сопоставление! Однако, есть ли принесенную из лавки колбасу или не есть? Собственно говоря, жизнь так надоела,

что всего естественнее было бы съесть колбасу и умереть. Но, с другой стороны, он – не просто Непомнящий, но прежде всего гражданин страны и патриот своего отечества. У него на руках целая масса сотрудников, корректоров, факторов, наборщиков. Наконец, публика, которую тоже нельзя оставить без руководства. Нет, лучше не есть!

Не зная, как освободиться от массы денег и от гнета бездельничества, он начинает коллекционировать. Ходит по Апраксину двору, отыскивает подлинных Рубensoв и Теньерoв и мимоходом находит чашу, из которой пил Олег, прибывая щит к вратам Константинополя. Запасшись десятком-другим апраксинских Рубensoв, украсив свой кабинет дорогими эльзевирами, он вновь начинает томиться бездельничеством. Лежит по целым часам на диване, посвистывает и, наконец, нападает на мысль устроить еще два кабинета: китайский и японский. Он посещает базары и аукционы, знакомится с путешественниками, дает им поручения и в уме проектирует четыре зала: один под Рубensoв и Теньерoв, другой – под старинные братины, кубки и прочую утварь; третий зал будет китайский, четвертый – японский. Квартиру придется переменить.

А газета между тем идет все ходчее и ходчее. Подписчик так и валит; от кухарок, дворников, кучеров отбою нет. У Непомнящего голова с каждым днем делается менее и менее способною выдумать что-нибудь путное для помещения денег.

Некоторое время его соблазняет мысль: не съездить ли в Италию, где продается замок Лампопо с принадлежащим к нему княжеским титулом? Сверх того, у него на правой лядвее вскочил прыщ, так уж и его кстати омыть в волнах Средиземного моря. Находятся, однако ж, настолько честные люди, которые доказывают, что затея его требует, по малой мере, в двадцать раз большего капитала, нежели тот, которым он обладает. С горечью покидает он свою мечту и жалуется, что ничто ему не удастся. Nichts! Он ропщет на себя за то, что до сих пор так безрасчетно расходовал дворницкие лепты, и жестоко отказывает сотрудникам в выдаче денег в счет будущих заработков.

На другой день, однако ж, Непомнящий, по обыкновению, забыл о вчерашнем. И мечты, и намерения сменяются в нем быстро, без всякой резонной причины. Вчера он мечтал о покупке замка в Италии, сегодня порешил сделаться крупным землевладельцем в своем отечестве. Ему нужно много-много земли, много-много леса и про-

пасть воды. Для обработки земли он выпишет из Франции нормандских жеребцов и купит все сельскохозяйственные машины, какие существуют на свете. В лес он напустит всевозможных птиц и зверей и будет устраивать охоты. В водах будет производить опыты рыбоводства: скрестит леща с налимом, стерлядь с судаком. Но главным образом ему необходима старинная барская усадьба, такая, в которой каждое уединенное место свидетельствовало бы о временном пребывании в нем Добрыни или Осляби, или Яна Усовича. Эти места он слегка реставрирует, но непременно в том же духе и стиле, в каком они были при их приснопамятных посетителях. И, говорят, такая усадьба уже наклеывается, и именно «наверху крутой горы», где, по свидетельству «Аскольдовой могилы», «знаменитый жил боярин, по прозванию Карачун».

Газету свою он начинает ненавидеть.

– Помилуйте! каждый день, каждый день, словно червь неусыпающий, появляется на столе эта ненавистная простыня! Ах, когда же, когда?!

Но внутренний голос отвечает: никогда! Он даже переменить одну бесцельную глупость на другую не может, потому что одна требует массу денег, другая – дает их.

На сотрудников он смотрит, как на илотов; сотрудники в свою очередь направо и налево сыплют анекдотами из жизни своих бесшабашных патронов.

– Вчера, – рассказывает один, – наш бесшабашный о Шекспире со мной разговаривал. Вот, говорит, человек, которого я понимаю! Вот кабы что-нибудь в этом роде писнуть!

– И со мной разговор был, – подхватывает другой, – слышал я, говорит, что у одного из гарсонов ресторана Маньи, в Париже, локон волос Жорж-Занда сохранился, так я хочу для своих коллекций приобрести. Только дорого, каналья, заломил – пять тысяч франков!

Тем не менее газетная машина, однажды пущенная в ход, работает все бойчее и бойчее. Без идеи, без убеждения, без ясного понятия о добре и зле Непомнящий стоит на страже руководства, не веря ни во что, кроме тех пятнадцати рублей, которые приносит подписчик, и тех грошей, которые один за другим вытаскивает из кошелька кухарка. Он даже щеголяет отсутствием убеждений, называя последние абракадаброю и во всеуслышание объявляя, что ни завтра, ни послезавтра он не намерен стеснять себя никакими узами.

Чем же отвечает на эту бесшабашность общее течение жизни? Отворачивается ли оно от нее или идет ей навстречу? На этот вопрос я не могу дать вполне определенного ответа. Думаю, однако ж, что современная жизнь настолько заражена тлением всякого рода крох, что одно лишнее зловоние не составляет счета. Мелочи до такой степени переполнили ее и перепутались между собою, что критическое отношение к ним сделалось трудным. Приходится принимать их — только и всего.

Но спрашивается: ужели это действительность, а не безобразное сновидение?

* * *

Рядом с Непомнящим прозябает газетчик Ахбедный. Но, говоря об нем, я буду краток.

Ежели Непомнящий не может ответить на вопрос, откуда и зачем он появился на арену газетной деятельности, то он очень хорошо знает, в силу чего существование и процветание его вполне обеспечены. В отношении к Ахбедному та же задача представляется как раз наоборот: он знает, откуда и зачем он пришел, и не может ответить на вопрос, насколько обеспечено его существование в будущем.

Это двоегласие служит источником бесконечных трепетов.

Для него вполне ясно серьезное значение такого могущественного органа гласности, как газета, и он считал своим торжеством тот день, когда благодаря случайно сложившимся обстоятельствам стал в ряды убежденных руководителей общественного мнения. Но, выступая на арену деятельности, он не сообразил двух вещей: во-первых, что деятельность эта не имеет впереди ничего благоприятствующего, кроме таинственных веяний, которые могут быть и не быть и рассчитывать на которые во всяком случае рискованно; и, во-вторых, что общественное мнение, которое он имел в виду, построено на песке.

И действительно, счастливая случайность, которая встретила первые шаги Ахбедного, вдруг оборвалась. То, что вчера считалось белым, сегодня сделалось черным, и наоборот. Он думал пробить себе стезю особо от Непомнящего и с горечью увидел, что те же самые вопросы и мелкие дразги, которые с таким успехом разрабатывал Непомнящий, сделались и его уделом.

Правда, он сохранил за собою нравственную опрятность. Он не лжет, не обдаёт бешеною слюною; но оставьте в стороне зверообразные формы, составляющие принадлежность ликующей публицистики, — и вы очутитесь перед тем же отсутствием общей руководящей

идеи, перед тою же бессвязностью, с тем лишь различием, что здесь уверенность заменяется бессилием, а ясность речей – недоговоренностью...

Казалось бы, что деятельность Ахбедного представляется во всем противоположною деятельности Непомнящего. Бремя ответственности, которое Непомнящим переносится до такой степени легко, что он даже забыл о нем, составляет для Ахбедного ежедневную злобу дня; трепеты, которые Непомнящий испытал только в начале своей деятельности, становятся для Ахбедного с каждым днем более и более обязательными.

Тем не менее, взглядыываясь в свой ежедневный труд, он убеждается, что труд этот роковым образом осужден лишь на разработку случайно выступающих мелочей. И что всего обиднее: по поводу одних и тех же пустяков Непомнящий заливается ликующим смехом, а он, Ахбедный, обязывается унывать. «Не правда ли, что это уж несправедливость?» – жалуется он чуть не вслух. Судите его, ежели он виноват, – он слова не скажет: виноват, так виноват. Но ежели он виноват наравне с прочими, то и его судите тою же мерою, как и прочих. Господи, помилуй! он ли не ведет неустанную борьбу с самим собой! он ли не побеждает себя! И что ж! вместо поощрения ему говорят: это вы маску, государь мой, надели; но притворство ваше не облегчает вины, а, напротив, усугубляет ее... да-с!

Таким образом, чем больше он старается, тем больше усугубляется его вина. Наконец, за плечами у него вырастает целый короб, до того переполненный прегрешениями, что, того гляди, и помещать новые прегрешения будет некуда. А у него в портфеле редакции целый ворох таких прегрешений. Вот, например, корреспонденция о некоем П. Корреспондент – человек надежный, ему верить можно. Он пишет, что П., член уездного по крестьянским делам присутствия, берет взятки, и приводит примеры взяточничества. Но кто таков этот П.? Не приходится ли он дядей, племянником или внучатым братом какому-нибудь влиятельному лицу? Не представляет ли он собой новую вину, которая лезет в коробку, и без того оттягивающую его плечи? Печатать статью или не печатать?..

Каждый новый шаг грозит, что коробка оборвется и осыплет его преступлениями. Хотя в столичных захолустьях существует множество ворожей, которые на гуще и на бобах всякую штуку развести могут, но такой ворожеи, которая наперед угадала бы: пройдет или не пройдет? – еще не народилось. Поэтому Ахбедный старается уга-

дать сам. Работа изнурительная, жестокая. Напуганное воображение говорит без обиняков: не пройдет! – но в сердце в это же время закипает робкая надежда: а вдруг... пройдет!

Весы колеблются, склоняются то на ту, то на другую сторону. В большинстве случаев дело решается под влиянием бессознательного наития. Придет знакомец и скажет, что в данную минуту нет никакой надежды на сочувствие общественного мнения; придет другой знакомец и скажет, что теперь самое время провозглашать истину в науке, истину в литературе, истину в искусстве и что общество только того и ждет, чтобы проникнуться истинами. Какое из этих двух мнений возьмет верх? К чести Ахбедного я должен сказать, что в большинстве случаев одерживает победу последнее мнение: жажда «дерзнуть» так велика, что заставляет с новым вниманием перечитать инкриминированный литературный вклад, и именно с целью хоть с грехом пополам напечатать его. Да нельзя ему иначе и поступить. Характер газеты, несмотря на оговорки, настолько определился, что и сотрудники могут писать только в известном тоне. Все точно сговорились: сообщают о растратах, воровствах, проявлениях дикого произвола и т. п. Из чего же тут выбирать? Словом сказать, статья перечитывается вновь, карандаш работает неумолимо; на помощь являются и фигура умолчания, фигура иносказания; переменяются инициалы, ставятся многоточия... Готово!

– Кажется, в этом виде можно? – рассуждает сам с собой Ахбедный и, чтобы не дать сомнениям овладеть им, звонит и передает статью для отсылки в типографию. На другой день статья появляется, урезанная, умягченная, обезличенная, но все еще с душком. Ахбедный, прогуливаясь по улице, думает: что-то скажет про мои урезки корреспондент? Но встречающиеся на пути знакомцы отвлекают его мысли от корреспондента.

– Эге! да вы еще живы! – восклицает один.

– Как только земля вас носит! – приветствует другой.

– Ну, батюшка, теперь ждите! – прорицает третий.

Такие приветствия и прорицания известны под именем общественного чутья. Произнося их, читатель как бы заявляет о своей проницательности и своими изумлениями указывает на ту действительность, осуществление которой ни для кого не покажется неожиданностью.

За всем тем Ахбедный продолжает корпеть и изнывать над газетою.

Мелочи жизни. Сочинение М. Е. Салтыкова. СПб, 1887.

Щедрин Н. Полное собрание сочинений. В 20 т. 1937. Т. 16. С. 609–622.

Письма к тетеньке

Из письма одиннадцатого

Милая тетенька.

Представьте себе, ведь Ноздрев-то осуществил свое намерение: передо мною лежат уж два номера его газеты. Называется она, как я посоветовал: «Помои – издание ежедневное». Без претензий и мило. В программе-объявлении сказано: «мы имеем в виду истину» – еще милее. Никаких других обещаний нет, а коли хочешь знать, какая лежит на дне «Помоев» истина, так подписывайся. «Мы не пойдем по следам наших собратьев, – говорится дальше в объявлении, – мы не унизимся до широковещательных обещаний, но позволим сказать одно: кто хочет знать истину, тот пусть читает нашу газету, в противном же случае пусть не заглядывает в нее – ему же хуже!». А в выноске к слову «истина» сделано примечание: «Все новости самые свежие будут получаться нами из первых рук, немедленно и из самых достоверных источников». А в том числе, конечно, будет получаться и клевета.

Внешний вид газеты действует чрезвычайно благоприятно. Большого формата лист; бумага – изумительно пригодная; печать – сделала бы честь самому Гутенбергу; опечаток столько, что редакция может прятаться за ними, как за каменной стеной. Внизу подписано: редактор-издатель Ноздрев; но искусно пущенный под рукою слух сделал известным, что главный воротило в газете – публицист Искариот. Не тот, впрочем, Искариот, который удавился, а приблизительно. Ноздрев даже намеревался его ответственным редактором сделать (то-то бы розничная продажа пошла!), но не получил разрешения, потому что формуляр у Искариота нехорош.

Со стороны внутреннего содержания газета делает впечатление еще более благоприятное. В передовой статье, принадлежащей перу публициста Искариота, развивается мысль, что ничто так не предосудительно, как ложь. «Нам все дозволяется, – говорит Искариот, – только не дозволяется говорить ложь». И далее: «Никогда лгать не надо, за исключением лишь того случая, когда необходимо уверить, что говоришь правду. Но и тогда лучше выразиться надвое». Затем рассматривает факты современной жизни, вредные – одобряет, полезные – осуждает, и в заключение восклицает: «так должен думать всякий, кто хочет оставаться в согласии с истиной!». А Ноздрев в выноске примечает: «Полно, так ли? Ред.». Вторая передовая статья

подписана «Сверхштатный Дипломат» и посвящена вопросу: было ли в 1881 году соблюдено европейское равновесие? Ответ: было, благодаря искусной политике, а чьей – не скажу. Примечание Ноздрева: «Скромность почтенного автора будет совершенно понятна, если принять в соображение, что он сам и есть тот “искусный политик”, о котором идет речь в статье. *Ред.*». В фельетоне фельетонист Трясучкин уверяет, что никогда ему не было так весело, как вчера на рауте у княгини Насофеполежаевой. Раут имел отчасти литературный характер, потому что княгиня декламировала: «Ах, почто за меч воинственный я свой посох отдала», но «из заправских литераторов» были там только двое: он, Трясучкин, да поэт Вулкин. Оба в белых галстуках. И когда княгиня произносила стих: «Зрела я небес сияние», то в гостиную вошел лакей во фраке и в белом галстуке и покурил духами. Так что очарование было полное. А когда, вслед за тем, сюрпризом явился фокусник, то вышел такой поразительный контраст, что все залились веселым смехом. Но ужина не было, «так что мы с Булкиным вынуждены были отправиться к Палкину и пробыли там до шести часов утра». Против имени княгини Насофеполежаевой Ноздрев заметил: «Урожденная Сильвупле, дочь действительного статского советника, игравшего в свое время видную роль по духовному ведомству», а против фамилии поэта Булкина: «нет ли тут какого недоразумения?». На второй странице – разнообразнейшая «Хроника», в которой против десяти «известий», в выносках, сказано: «Слышано от Репетилова», а против пяти: «Не клевета ли?». За хроникой следует тридцать три *собственные* телеграммы, извещающие редакцию, что мужик сыт. Но и тут выноска: «Истина вынуждает нас сознаться, что телеграммы эти составлены нами в редакции для образца». Третья страница посвящена корреспонденции из городов, коих имена не попали в «Список городских поселений», изданный статистическим отделом министерства внутренних дел. На четвертой странице – серьезная экономическая статья: «Наши денежные знаки», в которой развивается мысль, что ночью с извозчиком следует рассчитывать непременно около фонаря, так как в противном случае легко можно отдать двугривенный вместо пятиалтынного, «что с нами однажды и случилось». Статья подписана *Не верьте мне*, а в выноске против подписи сказано: «Не только верим, но усерднейше просим продолжать. *Ред. Ноздрев*». Наконец на самом кончике последнего столбца объявление: «ДЕВИЦА!! ищет поступить на место к холостому че-

ловеку солидных лет. Письма адресовать в город Копыс Прасковье Ивановне». Выноска: «Очень счастливы, что начинаем предстоящую серию наших объявлений столь любезным предложением услуг; надеемся, что и прочие девицы (sic) не замедлят почтить нас своим доверием. *Конторицик Любострастных*».

Второй номер еще лучше. Начинается передовой статьей: «Военный бред», в которой указывается, что в тылу у нас – Белое море и Ледовитый океан. Статья подписана: «Бывший начальник штаба войск эфиопского принца Амонасро, из «Аиды». Во второй статье публицист Искарriot сходит с высот теоретических на почву современности и разбирает по суставчикам газету «Пригорюнившись сидела», доказывая, что каждое ее слово есть измена. Затем помещено письмо Трясучкина, который извещает, что поэт Булкин совсем не «недоразумение», а автор известного стихотворения «Воззри в лесах на бегемота», а редактор Ноздрев в выноске на это возражает: «Но кажется, что это стихотворение, или приблизительно в этом роде, принадлежит перу Ломоносова?». Телеграммы опять составлены в стенах редакции, и по этому поводу Ноздревым сделано следующее «заявление»: «Нсвозможно, чтоб редакция на свой счет получала телеграммы из всех городов. Она свое дело сделала, т. е. составила и обнародовала образцы, а затем охотники, желающие видеть свои телеграммы напечатанными, обязываются уже на собственный счет посылать таковые в редакцию». На четвертой странице новая экономическая статья экономиста *Не верьте мне*, в которой развивается мысль, что когда играют в карты на мелок, то справедливость требует каждодневно насчитывать умеренные проценты. И в выноске: «Так мы и делаем. Ред.». В конце опять одно объявление: «Кухарка!! такое одно кушанье знает, что пальчики оближешь. Спросить на Невском от 10 до 11 часов вечера девицу “Ребята хвалили”». Выноска: «Наши вчерашние ожидания постепенно оправдываются, но пускай же и прочие кухарки поспешат к нам с своими объявлениями. *Конторицик Любострастных*».

И внизу, под обоими номерами достолюбезная подпись: редактор-издатель Ноздрев!!

Я разом проглотил оба номера, и скажу вам: двойственное чувство овладело мной по прочтении. С одной стороны, в душе – музыка, с другой – как будто больше чем следует в ретиреде замечтался. И надо откровенно сознаться, последнее из этих чувств, кажется, преобладает. По крайней мере, даже в эту минуту я все еще чувствую, что пахнет, между тем как музыки уж давным-давно не слышать.

Но что всего больше поразило меня в новорожденном органе – это неизреченная и даже, можно сказать, наглая уверенность в авторитетности и долговечности. «Уж мне-то не заградят уста!», «Я-то ведь до скончания веков говорить буду!» – так и брызжет между строками. Во втором номере Ноздрев даже словно играет с персонами, на заставках команду имеющими. «Нас спрашивают некоторые подписчики, – говорит он, – как мы намерены поступить в случае могущей приключиться горькой невзгоды? то есть отдадим ли подписчикам деньги назад по расчету или употребим их на собственные нужды? На это отвечаем положительно и твердо: никакой невзгоды с нами не может быть и не будет. Мы не с тем предприняли дело, чтоб итти навстречу невзгодам, а с тем, чтобы направлять таковые на других. Тем не менее считаем за нужное оговориться, что не невозможен случай, когда опасения подписчиков рискуют оказаться и небезосновательными. А именно: ежели публика выкажет холодность к нашему изданию и не предоставит нам достаточных средств для его продолжения. Тогда мы еще подумаем, как нам поступить с подписчиками».

Таким образом, оказывается, что ежели вы, например, подпишетесь на «Помои», то для того, чтобы не потерять денег, вы обязываетесь уговаривать всех ваших родственников, чтоб и они на «Помои» подписались... Справедливо ли это?

Но можете себе представить положение бедной «Пригорюнившись сидела»? Что должны ощущать почтеннейшие ее редакторы, читая, как «Помои» перебивают ее косточки и в каждой строчке прозревают измену. ... Ведь у нас так уж исстари повелось, что против слова: «измена» даже разъяснений никаких не полагается. Скажет она: то, что я говорила, с незапамятных времен и везде уже составляет самое заурядное достояние человеческого сознания, и только «Помоям» может казаться диковиною – сейчас ей в ответ: а! так ты вот еще как... нераскаянная! Или скажет: Я совсем этого не говорила, а говорила вот то-то и то-то – и тут готов ответ: а! опять за лганье принялась! опять хвостом вертишь! Словом сказать, выгоднее и приличнее всего окажется простое молчание. «Помои» будут растабарывать, а «Пригорюнившись сидела» – молчать. Таково их взаимное провиденциальное назначение.

По-видимому, тактика Ноздрева заключается в следующем. По всякому вопросу непременно писать передовую статью, но не затем, чтобы выяснить самую суть вопроса, а единственно ради того,

чтобы сказать по поводу его «русскую точку зрения». Разумеется, выищутся люди, которые тронутся таким отношением к делу и назовут его недостаточным, – тогда подстеречь удобный момент и закричать: караул! измена!

Такого рода моменты называются «веяниями», а ведь известно, что у нас, коли вплотную повеет, то всякое слово за измену сойдет. И тогда изменников хоть голыми руками хватай.

Замечательно, что есть люди – и даже не мало таких, – которые за эту тактику называют Ноздрева умницей. Мерзавец, говорят, но умен. Знает, где раки зимуют, и понимает, что по нынешнему времени требуется. Стало быть, будет с капитальцем.

Что Ноздрев будет с капитальцем (особливо ежели деньгами подписчиков распорядится) – это дело возможное. Но чтобы он был «умницей» – с этим я, судя по вышедшим номерам, никак согласиться не могу. Во-первых, он потому уж не умница, что не понимает, что времена переходчивы; а во-вторых, он до того в двух номерах обнажил себя, что даже виноградного листа ему достать неоткуда, чтобы прикрыть, в крайнем случае, свою наготу. Говорят, будто бы он меценатами заручился, да меценаты-то чем заручились?

Покаместь, однако ж, ему везет. У меня, говорит, в тылу – сила, а ежели мой тыл обеспечен, то я многое могу дерзать. Эта уверенность развивает чувство самодовольства во всем его организме, но в то же время темнит в нем рассудок. До такой степени темнит, что он, в иступлении наглости, прямо от своего имени объявляет войны, заключает союзы и дарует мир. Но долго ли будут на это смотреть меценаты – неизвестно.

Не дальше, как сегодня, под живым впечатлением только что прочитанных номеров, я встретился с ним на улице и, по обыкновению, спутался. Вместо того чтоб перебежать на другую сторону, очутился с ним лицом к лицу и начал растабарывать. «Как, говорю, вам не стыдно выступать с клеветами против газеты, которая, во всяком случае, честно исполняет свою задачу? Если б даже убеждения ее...». Но он мне не дал и договорить.

– Прежде всего, – прервал он меня, – я не признаю клеветы в журналистике. Журналистика – поле для всех открытое, где всякий может свободно оправдываться, опровергать и даже в свою очередь клеветать. Без этого немислимо издавать мало-мальски «живую» газету. Но, главное, надо же, наконец, за ум взяться. Пора раз навсегда

покончить с этими гнездами разъявшегося либерализма, покончить так, чтоб они уж и не воскресли. Шадить врага – это самая плохая политика. Одно из двух: или сдаться ему в плен, или же бить, бить до тех пор...

Так вон он что, милая тетенька, собрался совершить. Покончить с «врагами» – с чьими? с своими собственными, ноздревскими врагами... ах! Спрашивается: неужто ж найдется в мире какая-то «сила», которая согласится войти в союз с Ноздревым, с целью сокрушения ноздревских врагов!

Нет, как хотите, а Ноздрев далеко не «умница». Все в нем глупо: и замыслы, и надежды, и способы осуществления. Только вот негодование как будто скрашивает его и дает повод думать, что он нечто смекает и что-то может совершить.

Вся его сила заключена именно в этом негождении; в нем, да еще в эпидемически развившейся путанице понятий, благодаря которой, куда ни глянешь, кроме мути, ничего не видишь. Пользуясь этими двумя содействиями, он каждодневно будет твердить, что все, кто не читает его паскудной газеты, – все это враги и потрясатели. И найдутся простецы, которые поверят ему...

Но вы, милая тетенька, не верьте! Не увлекайтесь ни ноздревскими клеветами, ни намеками на ноздревскую авторитетность и на каких-то случайных людей, которые будто бы поддерживают его авторитетность. Смотрите на Ноздрева как можно проще: как на продукт современного веянья, то есть как на бездельника и глупца. Тогда для вас не только сделается ясным секрет его беззастенчивости, но и паскудный лист, в котором он выливает свои душевные помои, перестанет казаться опасным, а пребудет только паскудным, чем ему и быть надлежит. ...

Отечественные записки. 1882. № 3.

Салтыков-Шедрин М. Е. Собрание сочинений:

В 20 т. М., 1972. Т. 14. С. 396–401.

Приключение с Крамольниковым (Сказка-элегия)

Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явно ощутил, что его нет. Еще вчера он сознавал себя сущим; сегодня вчерашнее бытие каким-то волшебством превратилось в небытие. Но это небытие было совершенно особого рода. Крамольников

торопливо ощупал себя, потом произнес вслух несколько слов, наконец, посмотрелся в зеркало; оказалось, что он – тут, налицо, и что в качестве ревизской души он существует в том же самом виде, как и вчера. Мало того: он попробовал мыслить – оказалось, что и мыслить он может. И за всем тем, для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того не-ревизского Крамольникова, каким он сознавал себя накануне. Как будто бы перед ним захлопнулась какая-то дверь или завалило впереди дорогу, и ему некуда и незачем идти.

Переходя от одного предположения к другому и в то же время с любопытством всматриваясь в окружающую обстановку, он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую литературную работу, и вдруг все его существо словно электрическая струя пронизала...

Не нужно! не нужно! не нужно! ...

Сначала он подумал: «Какой вздор!» – и взялся за перо. Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: *Не нужно!!*

Он понял, что все оставалось по-прежнему, – только душа у него запечатана. Отныне он волен производить свойственные ревизской душе отправления; волен, пожалуй, мыслить; но все это ни к чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других.

Он стоял изумленный; смотрел и не видел; искал и не находил. Что-то бесконечно мучительное жгло его внутренности. А в воздухе между тем носился нелепо-озорной шепот: поймали, расчухали, уличили! – Что такое? что такое случилось?

Положительно, душа его была запечатана. Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, – человеческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а склад трупов... И вот теперь трупный период для него наступил. Обмену света и добра пришел конец. И сам он, Крамольников, – труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей дея-

тельности, – тоже трупы... Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастья столь глубокого.

Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем. Читатель не олицетворялся для него в какой-нибудь материальной форме и тем не менее всегда предстоял перед ним. В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельно. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными, ненужными...

И вдруг, в эту минуту, – рухнуло и последнее благо. Разверзлась темная пропасть, поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл...

...Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других.

Знал он, что пошехонская страна исстари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то незаслуживающая доверия. Реки расползлись вширь, и что ни год, то меняют русло, пестрея песчаными перекатами. Атмосферические явления поражают внезапностью, похожею на волшебство: сегодня – жара, хоть рубашку выжми, завтра – та же рубашка колом стоит на обывательской спине. Лето короткое, растительность бедная, болота неоглядные... Словом сказать – самая неспособная, предательская природа, такая, что никаких дел загадывать вперед не приходится.

Но еще более непостоянны в Пошехонье судьбы человеческие.

Смерд говорит: от суммы да от тюрьмы не открестись; посадский человек говорит: барыши наши на воде вилами писаны; боярин говорит: у меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я их вовсе ссы-

кать не могу. Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой долине: пронесет бог – пан, не пронесет – пропал.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что обопрется совесть? на чем она воспитается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. ... Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастье. Быть может, он усматривал впереди чудо, которое уймёт снедавшую его скорбь.

Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие? – в этом весь вопрос... К тому же и в прошлом не все была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких просветов пошехонцы несомненно чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех вообще людей свет представляет нечто желанное. Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи. Истина эта так естественно вытекает из всех определений человеческого существа, что нельзя допустить даже минутного сомнения относительно ее грядущего торжества. Крамольников верил в это торжество и всего себя отдал напоминаниям о нем.

Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстанавливать в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом, собственно, заключалась задача всей его деятельности.

Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он мечтал, а заурадное, жестокое пошехонское волшебство.

Не нужно! не нужно! не нужно!

К чести Крамольникова должно сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что, при полном отсутствии винослов-

ности, подобного рода вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности настигшего его факта, – он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уже жестоко и резко. Не раз приходилось ему, в течение долгого литературного пути, играть роль *anima vilis* (низшего существа (лат.)). – *Примеч. сост.*) перед лицом волшебства, но, до сих пор, последнее хоть душу его оставляло нетронутой. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя изумленным. Весь он был словно расшиблен, везде, во всем существе, ощущал жгучую и совсем новую боль.

И вдруг он вспомнил о «читателе». До сих пор он отдавал читателю все силы вполне беззаветно; теперь в его сердце впервые шевельнулось смутное чаянье отклика, сочувствия, помощи...

И его инстинктивно потянуло на улицу, как будто там его ожидало какое-то разъяснение.

Улица имела обыкновенный пошехонский вид. Крамольникову показалось, что перед глазами его расстилается немое, слепое и глухое пространство. Только камни вопияли. Люди сновали взад и вперед осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумлением, почти ослеплением. Однако ж Крамольникову сгоряча показалось, что даже эта немая улица нечто знает. Ему этого так страстно хотелось, что он вопль камней принял за вопль людей. Тем не менее отчасти он не ошибался. Действительно, там и сям раздавалось развязное гуденье. То было гуденье либералов, недавних друзей его. Одних он обгонял, другие шли навстречу. Но увы! никакого оттенка участия не виделось на их лицах. Напротив, на них же успела лечь тень отступничества.

– Однако, похоронили-таки вас, голубчик! живо! – сказал один, – строгонько, сударь, строгонько! Ну, да ведь тоже и вы... нельзя этого, мой друг; я вам давно говорил, что нельзя! Терпели вас, терпели, – ну, наконец...

– Но что же такое «наконец»?

– Да просто, «наконец» – и все тут! скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать и, буде можно, – усматривать. Вам, сударь, следовало самому заранее догадаться; а ежели вам претило присоединиться от полноты души, ну, так хоть слегка бы: разбирайте, мол, каков я там... внутри! А то все с плеча! все с плеча! Ну, и надоело. –

Я и сам – разве, вы думаете, мне сладко? Не со вчерашнего дня, чай, меня знаете! Однако, и я поразмыслил да посоветовался с добрыми людьми... Господи, благослови ... Бух!

Другой сказал:

– Да, любезный друг, жаль вас, очень жаль! Приятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дельное что-нибудь отыщешь... Даже приятелям, бывало, спешишь сообщить. В канцеляриях цитировали. У меня был знакомый, который наизусть многое знал. Но, с другой стороны, есть всему и предел. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока вас прихлопнут. Что такое это «другое» – выяснится потом, но не теперь... Вот я, вслед за другими, смотрел-смотрел, да и говорю жене: надо же! Ну, и она говорит: надо! Я и решился.

– На что же вы решились?

– Да просто – идти общим торным путем. Не заглядываясь по сторонам, не паря ввысь, не думая о широких задачах... Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и серенько, положим, но ведь, с одной стороны, блистать-то нам не по плечу, а с другой стороны – семейство. Жена принарядиться любит, повеселиться... Сам тоже, имеешь положение в свете, связи, знакомства; видишь, как другие вперед да вперед идут, – неужто же все потерять? Вы думаете, я так-таки навсегда, нет, я тоже с оговорочкой. Придут когда-нибудь и лучшие времена... Вот, например, ежели Николай Семеныч... Кормило-то, батюшка, нынче... Сегодня Иван Михайлыч, а завтра Николай Семеныч... Ну, тогда и опять...

– Да ведь Николай-то Семеныч – вор!

– Вор! Ах, как вы жестоко выражаетесь!

Наконец, третий просто напрямки крикнул на него:

– И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете – вот что! Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имеете право, позвольте вас спросить? «В приятельских отношениях с господином Крамольниковым, говорит, а посему...» Я – туда-сюда. «Какие же, говорю, это приятельские отношения, вашество? Так, буфон – отчего же после трудов и не посмеяться!». Ну, дали покамест двадцать четыре часа на размышление, а там что будет. А у меня, между тем, семья, жена, дети... Да и сам я в поле не обсевок... Можно ли было этого ожидать! Повторяю: какое вы имеете право? ах-ах-ах!

Крамольников не считал нужным продолжать беседу и пошел дальше. Но так как на пути его стоял дом, в котором жил давний его однокашник, то он и зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.

Лакей принял его радушно; по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.

Наконец, он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он лямку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене вейния дрожал за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему самому казалось странным чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор, прочитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться, стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказал: «Очень рад!». Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг...

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей, выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что неожиданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямки отрезала Крамольникову:

– Нет Якова Ильича дома; его из-за вас к начальнику позвали, и жив он теперь или нет – неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.

Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.

– Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения! – сказал Воробушкин взволнованным голосом. – На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так и сказал: «На вас неизгладимое пят-

но!». А у меня жена, дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу...

...Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отныне он был осужден на одиночество – это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с своим читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.

Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его, как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.

Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли. «Неужто, – спрашивал он себя, – для того, чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?»

Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью; один говорил: «Жена принарядиться любит»; другой: «Жена» – и больше ничего... Но особенно тяжело выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо спал, добывал на стороне работишку – все ради семьи. И, за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки...

Что же это такое? Что такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?

Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его.

«Отчего же, – говорил ему внутренний голос, – эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо прежде, как представляются теперь? Не оттого ли, что ты был прежде раб, создававший за

собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно? Из-под пера твоего лился протест, но ты облакал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, – все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.

Твой труд был бесплоден. ...

Post scriptum от автора. Само собой разумеется, что все написанное выше – не больше как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные суммы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателями.

Русские ведомости. 1886. № 252.

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1974. Т. 16. С. 197–205.

Н. В. ШЕЛГУНОВ

Очерки русской жизни

Отрадное явление

... Восьмидесятые годы начались под гнетущим впечатлением 1 марта¹, и поколение, воспитавшееся в это десятилетие, слагалось умственно под исключительными влияниями. Оттого ли, что в поколении восьмидесятых годов не нашлось особенно умных, даровитых и образованных представителей, или по другим причинам, но только оно выросло умственно и нравственно однобоким.

Органом восьмидесятников явилась «Неделя»², в которой вожди этого поколения и излагали свои общественные и художественные теории. ...

¹ 1 марта 1881 года был убит народовольцами Александр II.

² «Неделя» – еженедельная политическая и литературная газета, выходившая в 1866–1901 годах в Петербурге. В 80–90-х годах являлась органом либерального народничества.

Недостаток проницательности лучше всего указывает на размер умственных средств этих людей, назвавших себя «партией действия» (хорошо действие, когда партия избрала своим лозунгом: «сиди у моря и жди погоды!»). Они не сообразили ни обстоятельств, при которых развивались и вступали в жизнь, ни случайного характера этих обстоятельств. Почему им показалось, что русская жизнь резко откололась от своего прогрессивного предыдущего и что для нее наступило время нового откровения, тайны которого дано постигнуть и провозгласить восьмидесятиникам, это их секрет. Но, не поняв, что они захвачены случайным потоком жизни и измолоты им, что они, в сущности, лишь «пожертвованное поколение», они собственную измолотость превратили в общественный принцип и общественную теорию и начали проповедовать нирвану¹. И еще перед кем! Перед теми, кто горит и кипит жизнью, кто полон всякими личными и общими вопросами, кто ищет на них ответов и указаний, кто ищет повсюду пророка и учителя, который бы указал путь для истинной, человеческой деятельности! И в ответ-то на эти страстные вопросы людей, жаждущих деятельности, им предлагается теория «маленьких дел», «среднего человека» и будущей хорошей погоды, если люди будут скромно дремать на берегу моря! Что же удивительного, что от восьмидесятников отвернулось готовящееся сменить их поколение, и пророкам «Недели» теперь уже в Петербурге не внемлют даже в тех кружках, в которых еще недавно газета эта принималась за общественно-руководящий орган.

Учение о «малых делах» и «средних людях» – учение очень не новое, и его можно проповедывать только в том виде, а не переиначивая и придумывая свое, как это делают восьмидесятники «Недели». Еще Иван Аксаков много лет тому назад призывал к «малым делам», потом этим занимался Тургенев. Но, говоря о «малых делах», люди эти говорили не о том, о чем говорят теперь. Тогда было время крепостное, и задача руководящих умов заключалась в том, чтобы обратиться на крепостное право и на положение не только народа, но и всей России общественное внимание. Это была очень важная и очень опасная работа, на которую могли идти лишь смелые люди. Проповедь о малых делах была тогда тем более необходима, что даже более ум-

¹ Нирвана – угасание, затем блаженство (санскр.). В буддийской религии блаженное, вечное состояние, которое наступает после смерти.

ные люди тогдашнего общества упражнялись в диалектических спорах об «абсолюте», об «я-не я» и т. д. ... Вот против этого-то направления мысли и ратовали писатели, призывавшие к «маленьким делам», которыми они считали улучшение господствующих порядков, смягчение положения крепостных, водворение правды и справедливости в суде и администрации.

И дела эти действительно маленькие, земные, повседневные, которыми каждый из нас или сам занят, или приходит с ними в постоянное соприкосновение. Вся наша жизнь только и состоит что из подобных мелочей, вся она ими опутана и перепутана, точно так же, как и мы все спутаны и запутаны взаимно в одно нераспутываемое целое сетью этих тонких, многообразных и многочисленных мелочей и ниточек, которых не разорвешь и от которых неизбежно подчас освободиться, если они где-нибудь уж чересчур давят и режут.

И все эти дела – мелкие дела, и становятся они большими, когда захватывают большое число людей. При крепостном праве освобождали крестьян отдельные владельцы поодиночке зачастую, освобождали и целыми деревнями. Но освобождение стало «большим делом», когда онохватило 22 миллиона народа. И в то же время это большое дело свершилось очень мелочною, единоличною работою, работою мысли в каждой отдельной голове, что крепостных освободить нужно, и последовавшей затем решимостью осуществить эту мысль, дать на нее отдельное согласие. Вот эти-то отдельные согласия и явились целым, большим, широким делом, хотя все оно состояло из отдельных маленьких частиц. И в нашей общей перемене понятий бытовых, семейных, общественных повторилось то же. ...

Все эти малые дела, большие только по их большим результатам, создают не титаны и не верстовые гиганты, а обыкновенные средние люди, имеющие чувство справедливости и человеческие понятия о человеческих правах. И это тоже «средние», да только не те «средние», которые создали «средний» уровень Петербурга, не те «средние», которые создали и крепостное право, и многое другое, что опять тоже «средние» изменили на иное положение отношений. ...

Малые дела и большие! Всякое дело будет ничтожно и мало, если человек будет ничтожен и мал, если он между своим делом и общим делом не находит связи и не творит своего дела в этой связи. Петр Великий создал государство и в то же время шил сапоги и плел лап-

ти. Он знал и понимал, что он делает и какое место и лапти, которые он плел, и сапоги, которые он шил, занимают в общегосударственной экономике жизни. А вот сапожник, живущий на Охте и работающий на петербургский Гостиный двор, этого не понимает, как не понимают той же разницы учителя наши в «Неделе», когда они смеются над *великими* делами и предлагают заняться *маленькими*.

Да не о малых и больших делах они и думают, а то бы они нашли и указали и для настоящего времени такие маленькие дела и маленькие задачи, о подобных которым, например, думал Иван Аксаков и другие, когда они усиливались тянуть общественное внимание из отвлеченных высот на практическую почву общественных перемен. Но об этом восьмидесятники и думать не думают, и такое думанье не входит даже и в программу их мышления. Они совершенно искренно ... считают желательным, чтобы люди не занимались никакими так называемыми идейными вопросами и оставили бы в покое «идеи высшего порядка», т. е. такое мышление, которое между сапожным ремеслом и государственно-общественным строительством видит и умеет найти связь и при котором каждый, кроме своего маленького, делаемого им, дела, знает и понимает, какое место и оно, и он сам занимают в общем строе гражданской жизни. Они просто выкорчевывают общественное сознание, учат тому, чтобы не думать и не глядеть дальше своего носа. Вот с каким «новым словом» они выступили и желали бы покорить этим словом под свою власть всю Россию! ...

Восьмидесятники думали *из себя*, думали практически, соображая лишь опасности и трудности, которые их окружали. Они мало учились, мало читали и, растерявшись в заключениях и выводах, остановились на идее общественного индифферентизма.

Урок этот, вероятно, не пропал даром. По крайней мере, теперешняя молодежь начинает не с этого, не с общего и последнего, представляющего уже вывод и практическую программу общественного поведения, а с частного – с изучения тех общественных фактов, из которых, как логический вывод, должно последовать уже и само собою – что делать?

Теперь в Петербурге очень распространяется самообразование и спокойное, серьезное научное изучение общественных вопросов. Изучение это обыкновенно кружковое, заключается в простом накоплении знаний по всем отраслям общественно-государственного ве-

дения и социальной экономии. Кроме юридически-государственных и экономических сведений, входит еще и изучение социально-экономического, административного и государственного состояния России. ...Конечно не вся эта громадная масса знаний обхватывается сразу каждою отдельною группой. Изучение специализируется как бы факультетски, и каждый кружок занимается преимущественно одним отделом, выдвигая его вперед, а другие ставит на второе место. Такая программа и умна, и практична.

Движение это пока возникающее, и вполне оно еще не организовалось. Но если все пойдет так и дальше, то нужно думать, что для тысячи девятисотых годов оно создаст поколение деятелей просвещенных и образованных, какого до сих пор Россия еще не выставляла. ...

Возникшее серьезное самообразование важно не по одному тому, что поднимет и расширит уровень общественных понятий: Оно еще важнее потому, что поднимет уровень общественной и личной нравственности. С тех пор, как пошла пропаганда о «малых делах» и «малых и средних людях», явилась у нас какая-то фальшивая приниженность, приниженность неискренняя, замаскировывающая другие чувства, смешанная с гордыней, крайности чего так резко совмещались в Федоре Достоевском. Любопытно противоречие, в которое впадают восьмидесятники между теорией и практикой своего учения. Казалось бы, им-то, поприжатым, и следовало бы протестовать против «малости» во имя человеческого достоинства. Они же свою приниженность возводят в закон. ...

Учение о «малости» принесло уже свои плоды, в особенности в провинции, где труднее самообразование, да труднее, пожалуй, найти свое дело. ...Вот в чем заключается чуть ли не самая вредная сторона поучения восьмидесятников, и против этого течения мысли следует протестовать и бороться изо всех сил. Нельзя не прибавить, что и граф Толстой влил в это направление не одну каплю своего собственного меда. Поэтому поворот в мыслях петербургской молодежи, на которую и влияние восьмидесятников, и влияние графа Толстого уже утратило свою силу и молодежь начинает думать самостоятельно, не прицепляясь ни к чьему хвосту, составляет очень крупное и отрадное явление в теперешней умственной жизни Петербурга.

Русская мысль. 1891. Кн. 4.

Шелгунов Н. В. Очерки русской жизни. 1895. С. 1093–1094.

Павловские очерки

Вместо вступления

Размышления о павловском колоколе

Село Павлово лежит над Окой, на нескольких горах и по оврагам. Горы эти дают свои названия разным частям Павлова: Семенова, или, как называют ее иногда по-старинному, Семенья-гора, Дальняя круча, Троицка-гора. На Троицкой горе стоит старая церковь, видная издалека с пароходов, бегущих книзу по излучинам Оки. Около церкви разбит небольшой садик, в садике находится квадратная площадка с шатровым навесом, заменяющая колокольню. Под этим навесом, на толстой деревянной перекладине, висит громадный колокол, каких не много увидите вы даже и в больших городах.

Небольшая калитка в церковной ограде выводит из сада прямо к обрыву Троицкой кручи, а с этого обрыва видны, как на ладони, Ока, заокские луга с деревнями и самое Павлово.

Раннею еще осенью, приехав в Павлово на пароходе, я ходил с трех часов утра в понедельник по павловским улицам, присматриваясь к картинам и прислушиваясь к разговорам кустарной «скупки», которая происходит раз в неделю и начинается еще при огнях. Тогда цены начали уже сильно «низнуть», как говорят в Павлове, и поэтому картины и разговоры, не особенно привлекательные и в обыкновенное время, теперь произвели на меня впечатление угнетающее. Когда взошло солнце и огни в скупщицких подвалах погасли один за другим, меня потянуло из этой человеческой свалки в кривых улицах куда-нибудь на простор, в уединение. Я еще не знал Павлова, но случайно пустынные взвозы и кривые переулки вывели меня к собору на горе; тропинка в церковном садике привела к калитке. Переступив ее, я очутился на круче и остановился, восхищенный открывшимся передо мною видом.

Солнце было еще невысоко. Вчера выпал дождь, и луга за Окой в разных местах курились плотными белыми туманами, из-за которых кое-где сверкали окна далеких, тоже кустарных деревень. Ока нежилась в берегах, синяя и сверкая искрами далеко под береговыми ярами. По ней грузно сновал паром от одного берега к другому, точно большой водяной жук, между тем как легкие лодки мелькали взад и

вперед, как комарики. И паром, и лодки были нагружены рабочим народом. Народ сновал по улицам Павлова, под моими ногами. Кучи кустарей, толпившихся ранее, подобно муравьям у муравейников, около скупщицких подвалов, теперь редели, и муравьи расплзались по улицам, по базару, скучиваясь у возов с деревенскими продуктами, у лавок. Гул этой толпы едва достигал сюда, уменьшенный, как и самые фигуры. Картина была полна жизни, солнечного блеску и оживления. А когда, вдобавок, откуда-то сверху, из ничтожного, едва заметного облачка посыпался вдруг редкий дождик и капли, сверкая, протянулись в синем воздухе золотыми нитками, то казалось, что это радостное, благосклонное утро шутит и заигрывает с бодрю, полную рабочего оживления страной.

Но это была только иллюзия. В действительности впечатления, которые я принес с собою на Троицкую кручу, были спутанны и неясны. Кустарное село имеет несомненно свою собственную физиономию, и я не мог сказать о ней, по первому впечатлению, что «таких много». Но выражение ее мне как-то не давалось ...

Вчера один мой знакомый, живущий в Павлове, восторженный поклонник кустарной формы промышленности, сводил меня к мастеру-ковалю. В доме нам сказали, что хозяин в кузнице, а кузница в саду. И действительно, маленькая, черная и покривившаяся набок кузница едва виднелась среди цветников. Ни одной грядки с картофелем или капустой здесь не было. Все небольшое пространство пестрело цветами, которых запах смешивался с запахом дыма из кузницы. Худой, весь черный коваль, с впалую грудью и непомерно развитыми руками, представлял странное зрелище среди этого цветущего и благоухающего царства.

– Да вот, – сказал он, заметив мое удивление, – никакой более охоты не имею... Иные к вину привержены, кто кочетинные бои уважает, а я больше насчет цветов.

И он с гордостью оглядел свое цветущее царство, а мой знакомый с гордостью посмотрел на него.

– Вы видите, – сказал мой знакомый, – собственная семья, собственный дом и собственный садик с цветами... Здесь есть все элементы, указывающие, что рабочий остался человеком, а не превратился в винт сложного механизма.

Теперь я искал глазами этот садик и не мог разыскать. Не только этого, но и других «собственных» садиков не было видно. «Собствен-

ные» дома, правда, виднелись в изобилии, а один из них вскарабкался даже на кручу и виднелся в нескольких саженьях под моими ногами. Но что это был за домик! Какая-то игрушка, с крохотными стенами, крохотною крышей, игрушечною трубой, из которой вилась совсем игрушечная струйка дыма, и совсем уже смешотворными оконцами. И таких «собственных» домов, на отшибе, без плетня, без кола, виднелось всюду очень много. Кустарь хватается за последнюю возможность самостоятельной жизни с такими же усилиями, как эти домишки, за каждый выступ глинистого обрыва. Но как жить и вместе работать в такой конурке?

И все Павлово, расстилавшееся подо мной по оврагам, по горам и обрывам, производило такое же впечатление. Как мало здесь новых домов! Свежего, сверкающего тесу, новых бревен, которые бы показывали, что здесь строятся, что новое вырастает на смену дряхлого и повалившегося, совсем незаметно. Зато разметанных крыш, выбитых окон, подпертых снаружи стен сколько угодно. Среди лачуг высятся «палаты» местных богачей, из красного кирпича, с претенциозною архитектурой, с башенками, шпицами и чуть ли не амбразурами... Когда же над этим хаосом провалившихся крыш и нелепых палат взвилась струйка белого пара и жидкий свисток «фабрики» прорезал воздух, то мне показалось, что я наконец схватил общее впечатление картины: здесь как будто умирает что-то, но не хочет умереть, — что-то возникает, но не имеет силы возникнуть...

На площадку, заменяющую колокольню, взошел какой-то молодой человек в черном подряснике, с длинными волосами, и стал раскачивать огромный стержень колокола, собираясь звонить к ранней обедне. Чугунное сердце завизжало и заскрипело в гнезде, причетник с усилием тянул веревку, а под конец сам весь подавался за стержнем. Я со страхом ждал первого удара, думая о том, какая масса звона хлынет сейчас на меня из-под этой громады.

И вдруг какой-то дребезжащий стук, а за ним жалкий, надтреснутый хрип пронесся над моею головой, упал с кручи и замер в лугах, за Окой. За этим ударом последовал другой, за ним третий и все такие же жалкие, такие же надтреснутые и хриплые. Тяжело было слушать эти разбитые стоны и выкрикивания меди; казалось, вот-вот с последним ударом большой колокол издаст последний глухой хрип и оборвется.

— Сломан, — сказал мне в промежутке старик, сидевший невдалеке, на скамейке, которого я не заметил ранее, — сломан колокол-те. Оттого и хрипит...

И сам он тоже закашлялся, причем этот кашель, в котором слышалась многолетняя разъедающая железная пыль, удивительно напоминал хрипы колокола.

Я оглянулся. Действительно, внизу в теле огромного колокола виднелась большая зазубрина, от которой сверху змеилась широкая трещина.

Старик поднялся со скамейки и между тем, как ветер трепал на нем жалкую одежку, он с досадой махал рукой по направлению к колокольне.

– Ну, будет уж, будет. Чего тут... Так вот и Павлово наше, – сказал он мне, поворачиваясь, чтобы уйти. – Бухает, бухает, а толку мало.

И он опять махнул рукой, закашлялся и побрел шагом человека, которому, в сущности, и идти-то некуда («все толку мало»). А я остался, слушая, как усердствует звонарь, и думая про себя: «Неужели это и есть настоящее впечатление, которого я искал? Неужто этот старик, проживший здесь свой век, сказал правду, и этот грузный, надтреснутый колокол есть настоящий символ, прообраз знаменитого кустарного села? Павлово – один из оплотов нашей «самобытности» против вторжения чуждого строя, – неужели оно тоже бухает без толку, предсмертным, надрывающим хрипом? Как будто в «кустарном» бытовом строе тоже есть своя зияющая трещина...»

Таково было первое впечатление, произведенное на меня кустарным селом.

На «Скупке»

Скупка, ее логика и ее разговоры

Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная нора, прилавок, трепетный огонек сального огарка в фонаре, освещающий фигуру за прилавком, и напряженные лица кустарей, напирających с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, спокоен, – они взволнованы. Он развешивает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает цену за другие. Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежды у тех, кто подходит, – страха у тех, чьи образцы в руках скупщика, – вражды на лицах отходящих... «Вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру», – невольно приходит в голову при виде этого человека, сидящего у фонаря за прилавком в середине загороженного входа.

Но, с другой стороны, если бы скупщик не засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если бы не явился ни один, все Павлово принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить работу за недостатком материала.

Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти замки и ножи, а отсюда, из его подвалов, они разойдутся по всему белому свету, попадут в Турцию и в Персию, и на далекие недоступные рынки неведомых стран Средней Азии.

Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и в переулках, горят такие же огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цену до той степени, до какой только масса будет подаваться. И он должен не отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже и Москва возьмет у других.

И вот он окидывает толпу острым, пронизательным взглядом. Он ее давно изучил; он видит, как люди жмутся, точно испуганные бараны, и думает, что «ноньче народ станет уступать до последнего». Это его не радует и не печалит, он просто принимает это к сведению.

– Рука, что ли, Иван Иванович? – и кустарь кидает образцы на прилавок.

Скупщик медленно разворачивает и равнодушно отодвигает товар:
– Не рука.

Может быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить свое положение и расшатать положение другой стороны. Для него отодвинутые образцы – несколько гривенников барыша, для кустаря, работавшего их целую неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому огню, а в оставшейся толпе этот эпизод уже посеял некоторую долю неуверенности и уныния.

– Рука, что ли? – спрашивает следующий.

– Почем отдашь?

– По-прежнему, Иван Иванович, как всегда.

– Без полтины.

– Много дороже слышали...

– Надо было отдавать.

И он опять завертывает образцы и отодвигает их, обращаясь к следующему.

Это он пробует, до какой степени народ поддается. Через некоторое время, после нескольких уступок, после того, как кустари обежали другие огни, он уже отлично знает положение сегодняшнего рынка.

Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым он ведет дело давно и с которым пускается иногда в приятельские разговоры.

– Не сойдутся опять образцы у тебя с товаром. Личка¹ у вас плоха, – говорит он.

– Личка у нас ноне, Иван Иванович, первый сорт. Ноне мы рабочих нажали несколько. Забудут спать-то.

– Почему?

– По шести гривен.

– Уступай, Потапыч, уступай.

– Уступлено, Иван Иванович, сами знаете, по восьми брали.

– Знаю, что по восьми, да уступить надо. Ноне, сам видишь, до слез уступает народ.

Уступает до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ему? В общем человек все-таки человек, и слеза народа иному скупщику, может быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше уже не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция – пресс... Кустарь – материал, лежащий под прессом, скупщик – винт, которым пресс нажимается. Мне самому пришлось видеть, как во время приемки², которая следует за скупкой, торговец взял в руки связку образцов, оглядел их, посмотрел записную цену и швырнул с досадой в общую кучу.

– Еще упала цена! Все уступают да уступают. Этот замок полгода назад шел по рублю, ноне вон по шести гривен валят. Из-за чего работают только, дьяволы, – за такую цену отдавать!

– Разве это вам невыгодно? – спросил я, удивленный этой досадой на дешевизну покупки.

Оказалось, что в данном случае, действительно, ему было невыгодно: на прежних базарах он запасся большим количеством товара, и если бы цена поднялась, он продал бы дешевый товар дороже. Те-

¹ Личить – обтачивать поверхность ножей на камне перед полировкой. – *Примеч. В. Г. Короленко.*

² На скупке принимаются от кустаря образцы, к которым привешивается ярлычок с обозначением условленной цены. Во время приемки кустарь доставляет условленное количество самого товара. – *Примеч. В. Г. Короленко.*

перь цена еще упала, и ему придется, наоборот, дорогой товар пускать по более дешевой цене. Но он, конечно, жмет на скупке так, как всегда; необходимо дожать до последней возможности.

К огню подходит молодой мастер и молча, угрюмо кидает товар на прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него скупщический пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик окидывает его проницательным взглядом и с особенным вниманием присматривается к образцам. Мастер с оттенком презрения наблюдает эту процедуру. Он знает, что образцы у него безукоризненные, что скупщику это известно, что именно потому-то он и не может отдать товар так дешево, как отдают другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее количество товара; форма остается та же, но вес и работа – другие. Он – артист своего дела, гордый своим искусством, один из тех, которые до последней возможности не идут на компромиссы...

– Почему?

– Знаете сами, почему брали.

– Теперь дешевле.

– А как?

– Полтина.

Мастер сам берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет скупщик.

– За полтину этот товар отдавать – солону надо есть. Не научились еще дети у нас.

– Научатся, – говорит скупщик хладнокровно.

Много, конечно, нужно упражняться в жестоком деле, чтобы так спокойно кинуть ближнему такое слово. Но в этой железной торговле вырабатываются и железные сердца, не знающие жалости. ...

Я насчитал около тридцати скупщицких огней. Из них только пять или шесть принадлежали крупным местным торговцам; остальные светились на столиках, поставленных где-нибудь на улице, под стенами домов. За такими столиками торговалась мелкота, вроде моего знакомого по постоялому двору, кое-где мастера-кустари, присоединяющие к работе за станком также и скупку. Это та часть кустарной массы, где мелкий скупщик еще не вылупился окончательно из мастера. Вот он принял двух-трех рабочих; ему повезло, он нанимает еще. Сколотив несколько десятков лишних рублей, он начинает скупать товар у других кустарей и в один из понедельников зажигает

огонь и садится за столик. Почти все огни, горящие теперь в крупных кладовых, загорались таким образом, на маленьких столиках, прямо из-под горнов кустарей.

Аверьян называл мне имена этих торговцев, сопровождая свои объяснения бесцеремонными прибаутками и крепкими словцами. Вообще, видимо, и он, и другие кустари, кучками собиравшиеся теперь на улице, после того, как они отдали образцы, относились к этой мелкоте с большим презрением. Впрочем и из торговцев покрупнее редкого звали за глаза иначе, как Петькой, Васькой или Митькой.

Русская мысль. 1890. № 9.

Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1955. Т. 9.

С. 7–11, 21–27.

Мултанское жертвоприношение

1 октября 1895 года в 4 часа 50 минут вечера в зале суда в Елабуге раздался звонок из комнаты присяжных заседателей. Это значило, что совещание присяжных кончилось... Через минуту публика наполнила зал, вышел суд, и старшина присяжных подал лист председателю.

Председатель посмотрел приговор и вернул его. Старшина взял лист в руки и прочел семь вопросов, составленных в одних и тех же выражениях.

«Виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года в селе Старом Мултане, в шалаше при доме крестьянина Моисея Дмитриева, с обдуманном заранее намерением и по предварительному соглашению с другими лицами лишил жизни крестьянина завода Ныртов Мамадышского уезда, Казанской губ., Конона Дмитриева Матюнина, вырезав у него голову с шеей и грудными внутренностями?»

На скамье подсудимых было семь человек, вотяков Старого Мултана, и семь раз старшина присяжных на приведенный выше вопрос ответил с заметным волнением:

– Да, виновен, но без заранее обдуманного намерения.

Относительно троих к этой формуле было прибавлено:

– И заслуживает снисхождения.

Несколько секунд в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер. Потом коронные судьи удалились для постановления своего приговора. Семь обвиненных вотяков остались за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось.

Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них, и вместе я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек, с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица, церковный староста мултанской церкви. В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились...

– Крестос страдал... – прошептал он с усилием.

Казалось, эти два слова имели какую-то особенную силу для этих людей, придавленных внезапно обрушившейся тяжестью.

– Крестос страдал, – зашамкал восьмидесятилетний старик Акмар, с слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, согбенный и дряхлый.

– Крестос страдал, нам страдать надо... – шепотом, почти автоматически повторяли остальные, как будто стараясь ухватиться за что-то, скрытое в этой фразе, как будто чувствуя, что без нее – одно отчаяние и гибель.

Но Кузнецов первый оторвался от нее и закрыл лицо руками.

– Дети, дети! – вскрикнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывавших еще более бледное лицо...

Я не мог более вынести этого зрелища и быстро вышел из зала. Проходя, я видел троих или четверых присяжных, которые, держась за ручки скамьи, смотрели на обвиненных. Потом мне передавали, что двое из них плакали.

Публика двигалась взад и вперед как-то странно; почти никто не уходил совсем, и никто не мог долго оставаться в зале; входили и уходили, как в доме, в котором посередине комнаты, окруженный желтыми огнями свечей, лежит мертвец, и кто-то бьется и рыдает о нем за дверью.

Я тоже не мог уйти и не мог оставаться, входил в зал и опять уходил. Обвиненные или тупо глядели вперед, или громко плакали, опустив головы на руки; дамы из публики смотрели на них широко открытыми глазами, внезапно отворачивались и быстро уходили. В настроении этой публики ясно чувствовалась весьма понятная жалость.

Но, кроме жалости, тут было еще тяжелое, гнетущее сомнение.

Когда я, ожидая судебного приговора, в третий раз вошел в зал, – публика столпилась в одном месте поближе к решетке. В углу этой решетки, рядом с караульным, вытянувшимся у своего ружья и, как будто нарочно, принявшим вид совершенно глухого, ничего не слышащего и не видящего человека, стоял дед Акмар. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.

– Православной! – говорил он. – Бога ради, ради Христа... Коди кабак, коди кабак, сделай милость.

– Тронулся старик, – сказал кто-то с сожалением.

– Коди кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто ее убивал, может скажут. Христа ради... кабак коди, слушай...

– Уведите их в коридор, – распорядился кто-то из судейских.

Обвиняемых вывели из зала...

II

Описанным выше приговором во второй уже раз вотяки села Мултана признаны виновными в принесении языческим богам человеческой жертвы. Во второй уже раз судебным приговором устанавливается, что в Европейской России среди чисто земледельческого вотского населения, живущего бок о бок с русским одной и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоящего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений! Если вы представите себе, на основании сказанного выше, что Мултан – глухая деревушка, окруженная лесными дебрями, затерянная и одинокая, – то вы сильно ошибетесь. Это большое село, окруженное давно распаханными старыми полями, отстоящее лишь в пяти-десяти верстах от большой пристани Вятские Поляны, на реке Вятке, и в полуторах десятках верст от большого пермско-казанского тракта. В Старом Мултани вот уже пятьдесят лет существует церковь, пятьдесят лет вотское село служит центром православного прихода; в нем живут постоянно два священника с причтом, и тридцать лет дети вотяков Старого Мултана учатся в церковно-приходской школе... Один из обвиненных в принесении человеческой жертвы, Василий Кузнецов, – местный торговец, староста мултанской церкви...

Если вы подумаете далее, что один только Мултан обвиняется в сохранении, по какой-то несчастной случайности, ужасного переживания ужасного обычая, то вы опять ошибетесь. Обвинение мултанцев было бы невозможно, если бы следствие не постаралось собрать множество слухов, по большей части неизвестно откуда исходящих, – слухов о том, что среди вотяков вообще сохранился обычай человеческих жертвоприношений. Эти слухи не касались непосредственно Мултана: они шли с дальних мест, со стороны «Учинской и Уваткулинской», из других местностей, из других уездов. Из отчета об этом деле, напечатанного в «Русских ведомостях», видно, что обвинение ставилось не против данных только семи лиц. Они, по мнению обвинителя, явились лишь исполнителями. На вотском кенеше (мирском сходе) ставится решение: принести человеческую жертву. Нищий убит в родовом шалаше, но не для данного рода. Его кровь нужна будто бы для жертвы за всю деревню. Может быть, даже не за одну деревню, а за многие деревни «вавожского края»... Этого мало. Ученый эксперт, казанский профессор Смирнов, отстаивавший существование ужасного культа среди современного вотского населения, приводил общие «предания», не относившиеся специально к Мултану, слухи, исходившие из других уездов, даже сказки не вотские, а родственного вотякам черемисского народа. Вы видите, что ужасное обвинение ширится, растет, что данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в Вятском крае, бок о бок с русским народом и, повторяю, тою же земледельческой жизнью... Постарайтесь представить себя по возможности ясно в роли вотяка-крестьянина, соседа русской деревни, в роли вотяка-учителя, наконец, в роли священника из Вятского края, – и вы сразу *почувствуете* все ужасное значение этого приговора.

Предполагаю, что у читателя является возражение: не следует, конечно, преувеличивать значение и силу нашей культуры в темной среде деревенской Руси. И в христианской деревне много тьмы и невежества: у нас есть лешие и ведьмы, в наши глухие деревушки залетают огненные змеи, у нас приколачивают мертвых колдунов осиновыми колами к земле, у нас убивают ведьм... В Сибири еще недавно убили мимо идущую холеру, в виде какого-то неизвестного странника. «Холера» умерла, как умирает обыкновенный человек, пришибленный ударом кола, а убийцы суждены и осуждены судом... «Что же

мудреного, – спрашивает у меня один корреспондент, – что вотяки полужычники, которые, вдобавок, несомненно сохранили обычай кровной жертвы, – могли принести и человеческую жертву? И что нового открыло нам в этом отношении мултанское дело?».

Мне кажется, что здесь есть крупное смешение понятий. Да, суеверия очень сильны, – и убийство ведьмы произошло еще лет пятнадцать-двадцать назад даже в бельгийской деревне. Что же? Вы не удивитесь поэтому, если бы в бельгийской деревне было доказано существование каннибальского культа? В наши деревни летают огненные змеи... Слышали ли вы, однако, чтобы целое общество, хотя бы подлиповцев, решило на общественном сходе принести огненному змею торжественную каннибальскую жертву? У нас приколачивают колдунов осиновыми колами. Значит ли это, что наша культура равна культуре антропофагов и каннибалов?

Нет, не значит. Оставим формальную принадлежность к той или другой религии, оставим также и церковно-приходскую или иную школу. Я полагаю, что даже между полным язычником, живущим общесоюзной жизнью с земледельческим христианским населением, и язычником-каннибалом – расстояние огромное. Язычник, ограничивающийся принесением в жертву гуся, и язычник-каннибал – это представители двух совершенно различных антропологических или, по крайней мере, культурных напластований, отделенных целыми столетиями. Выражаясь символически, – между ними приблизительно такое же расстояние, как между жертвоприношением Авраама (отмечающим воспрещение человеческой жертвы в ветхом завете) и принесением двух голубей в иерусалимский храм иудеями первых годов христианской эры...

Далее, я полагаю, что между язычником, сохранившим где-нибудь в глубине лесов или в пустынной тундре всю чистоту своего языческого культа, и язычником-земледельцем, вкрапленным в течение столетий в самую среду русского народа, опять должна быть значительная разница. Дело тут даже не в культурной миссии официальных миссионеров, а в простом вековом близком общении на почве общего труда и общих интересов с земледельческим и христианским народом. ...

Как ни плоха была его школа, как ни слаба обращенная к нему проповедь, все-таки они не могли не отдалить инородца еще на одну ступень от его первобытных верований. ...

И, однако, кто-то убил нищего и взял у него голову и сердце! Значит, во всяком случае – это убийство суеверное?

Я не знаю. Но если и так, то в нем участвовали один или двое. Бывают вспышки паники, страсти, когда в толпе сразу просыпаются, оживают инстинкты пещерных предков, даже зверей. Тогда-то и убивают проходящую мимо холеру. Здесь не то. Здесь необходимо допустить существование культа, при котором молитвенное настроение души в целом сельском обществе, нет, в целом крае, – спокойно, сознательно, постоянно или, по крайней мере, периодически направляется в сторону человеческих жертвоприношений. Канныализм здесь является постоянно действующим, живым культом, охватывающим еще в наше время огромную площадь, живущим в сотнях тысяч умов, исповедующих по наружности христианскую веру...

Нет, нельзя закрывать глаза на весь ужас этого явления, если оно существует, нельзя сравнивать его ни с какими суевериями! Суеверия вы найдете еще во всех слоях общества; канниализм отодвинулся от нас на тысячелетия.

Так, по крайней мере, мы думали до сих пор. Теперь оказывается, что он жив, что это – не частная вспышка случайного переживания, а хроническое явление по всей площади, занимаемой вотским племенем.

Но если это так, – то нужно понять размеры и значение этого явления. Нет, это не равносильно обычным суевериям, к которым мы уже пригляделись и привыкли. Это шире всех вопросов о силе или слабости официальной миссии. Повторяю: перенеситесь мысленно в положение вотяка, сколько-нибудь сознательно относящегося к этому обвинению, – и вы почувствуете всю его тяжесть. Вы почувствуете также и то, что это обвинение против самого культурного типа не одних вотяков, но и их соседей, неспособных вековым общением облагородить соседа-инородца хотя бы до степени невозможности канниализма в культурной атмосфере, которой они дышат сообща!

Я полагаю, что мысль моя ясна: как существуют геологические напластования и формы, только этим напластованиям сродные, так же есть напластования культурные, отделенные друг от друга столетиями и разными наслоениями пережитого прошлого. Канныализм есть форма, свойственная давно погребенным, самым низким слоям культуры, потонувшая на расстоянии столетий, и население, в котором она была жива, представляло собой низшую ступень в развитии человеческого типа... Существование языческих обрядов не может

еще служить доказательством человеческого жертвоприношения. Нужны доказательства более прямые.

Вот почему я полагаю, что мултанское дело есть дело «особой важности», на которое следует обратить самое пристальное внимание. Не закрывать глаза, конечно, не отстранять неприятные выводы, – но присмотреться серьезно и строго, с чем в действительности мы имеем дело. Недостаточно приговорить несколько человек, – нужно узнать, что тут было, какому богу приносятся эти жертвы, как широк его культ... Но прежде всего: действительно ли этот культ существует... Нужно, чтобы рассеялся этот густой туман, эта туча недоумения, нависшая над мрачной драмой, нужно, чтобы настоящее зло, если оно есть, не скрывалось ни за какими сомнениями...

Русское богатство. 1895. № 11.

Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1955. Т. 9.
С. 344–351.

В. М. ДОРОШЕВИЧ -

Репортер

Я никогда в жизни не видал такой визитной карточки.

– «Икс Игрек Дзет. Репортер газеты такой-то».

Всегда:

«Корреспондент газеты такой-то».

«Хроникер газеты такой-то».

Иногда даже:

«Интервьюер».

В крайнем случае, просто:

«Сотрудник».

И никогда:

– Репортер.

Я даже не знаю, существует ли в русском разговорном языке слово «репортер». Есть слово «репортеришка».

Чаще всего с прибавлением слова «всякий».

– Всякий репортеришка, – и туда же смеет писать!

Это слово ругательное, и рассерженный обыватель, если хочет выругать обидевшего его журналиста, делает презрительную гримасу и говорит:

– Репортеришка!

Немудрено, что и сами гг. репортеры стараются избегать своего звания:

– Вы уж напишите, пожалуйста, в редакционном удостоверении «корреспондент», а не «репортер».

– Почему же?

– «Репортер» – это очень плохо звучит.

Если вы видите в афише новой пьесы в числе действующих лиц репортера, – заранее можете быть уверены, что это непременно шантажист, мошенник, человек, готовый за грош «на все».

Какой драматический «лев» не лягнул своим копытом «репортера»?

Если вы встречаете репортера в повести, романе, рассказе, – можете быть спокойны, что это лицо в лучшем случае только комическое, в худшем – самое презренное.

Он залезает под стол, чтоб подслушать чужие разговоры, и берет пять рублей, чтоб не разглашать семейных тайн.

Какой из «орлов», державших с своим копыте когда-либо перо беллетриста, не «живописал» так беднягу репортера?

«Репортер», – это слово, мало отличающееся, по общему мнению, от слова «клеветник».

И всякий по этому случаю считает возможным и удобным клеветать на репортера.

Раз человек клеветник, отчего же на него не клеветать?

Откуда, однако, взялась эта клевета, ставшая «общим мнением»?

Несомненно, это «общее мнение» имеет свою историческую подкладку.

Старые газетные работники помнят еще именно таких «репортеров», каких до сих пор выводят гг. драматурги и описывают гг. беллетристы.

Грязных, нечесанных, немых, которых даже в редакциях не пускали дальше передней.

Они подслушивали разговоры, сидя под столом, потому что их никуда нельзя было пустить.

Это был безграмотный народ, писавший «еще» с четырьмя ошибками и которых мазали за их «художества» горчицей.

Хорошенькие времена! Одинаково хороши были все: и те, кто доводил себя до мазанья горчицей, да и те, кто находил в этом удовольствие и «нравственное удовлетворение».

Но кто и теперь не говорит при виде идущего репортера:

– Вон репортеришка бежит!

И кому какое дело, что он бежит, в сущности, по общественному делу! ...

Ежедневно сведения, добываемые репортерами, перепечатываются десятками, иногда сотнями газет.

Если бы репортеры получили вознаграждение от всех газет, которые пользуются их трудом, – вид «бегающего репортеришки» прошел бы в область преданий.

Пусть это вознаграждение со стороны каждой газеты было бы очень мало, – пропорционально достаткам каждой газеты, – в общем это составило бы солидную сумму и подняло бы благосостояние этих бедняг, получающих гроши за сведения, интересующие всю Россию.

Если хотите составить себе понятие об отношении, которое составляет интерес, возбуждаемый часто репортерскими заметками и гонораром, который получают авторы за эти сообщения, – я сообщу вам факт из собственной практики.

Лет 15 тому назад, когда я был репортером, мне удалось добыть одно сведение, очень сенсационное, которое я, со свойственной репортерам краткостью, изложил в 7 строках.

Эти семь строк обошли решительно все русские газеты.

Так как сведение, сообщенное в них, имело большой общественный интерес, то оно вызвало ряд фельетонов, передовых статей во всех больших столичных газетах.

Возникла даже полемика.

А я мог внимать всему поднятому мою шуму, пересчитывая 21 (двадцать одну) копейку, полученную мною за мои 7 строк!

В особенности, стоя близко к газетному делу, становится обидно и больно: как мало и материального и нравственного вознаграждения получают эти люди за свой честный, за свой добросовестный, часто талантливый, всегда нелегкий труд.

Эти люди, составляющие фундамент газетного дела.

Рассуждения, обобщения фельетонистов и передовиков, это – все соус, в котором подаются факты.

Но самое ценное, самое существенное – факты, это ведь принадлежит репортерам.

И что же за это?

Что – этим безвестным, безыменным труженикам?

Когда умирают люди, подписывающие свои статьи, – публика хоть несколько дней поскучает, не видя в газетах привычной подписи.

Когда умирает репортер, это проходит незаметно.

Его строк больше нет, но вместо них есть другие строки, такие же безыменные.

И эти серые строки смыкаются над его памятью, как смыкаются волны над головой утонувшего человека.

И неизвестно, – был ли здесь когда-нибудь человек!

Но пусть так!

Газета, живущая всего один день, очень плохой путь к бессмертию.

Об этом труженики очень мало думают.

Пусть и это будет так!

Ведь, покупая в ювелирном магазине брошь, вы не думаете о тех, кто добывает это золото.

А не будь их, не было бы и великолепной броши.

Репортеры получают такие гроши сравнительно с интересом, который часто возбуждают их заметки, и той пользой, которую эти скромные заметки приносят.

Но пусть и это будет так!

Справедливость – очень редкая птица.

Но за что же это обидное, это незаслуженное отношение к самой профессии, не менее честной, чем все другие профессии, и более полезной, чем многие другие.

Почему репортеру неловко сказать:

– Я репортер! ...

Почему им приходится быть тем колодцем, из которого все пьют и в который чаще всего плюют.

Репортеры, которые были когда-то и о которых я говорил, умерли как люди и вымерли как тип. ...

Все изменилось.

Среди репортеров нет более людей, пишущих «еще» с четырьмя ошибками.

Им не нужно залезать под столы, чтоб подслушивать, что происходит в заседаниях, – они желанные гости во всяком учреждении, не боящемся света.

К ним лично относятся ... с таким же точно почтением, как и ко всякому честному человеку, занимающемуся полезным общественным трудом.

И только одно, – они все еще не решаются, не могут решиться сказать громко и открыто, с гордостью и достоинством:

– Я репортер!

«Пустяк!» – скажете вы.

Посмотрел бы я, что сказали бы вы, если б вам неловко было назвать ту профессию честную, которою вы занимаетесь!

Вчера хоронили моего дорогого товарища В. О. Клепацкого, и это горькое чувство обиды шевелилось в моей душе; его не могли сгладить даже всеобщие сожаления, которые окружали безвременную могилу этого честного уважаемого газетного труженика.

Мне думалось:

– Да! Ты служил великому делу – гласности. Ты был «только репортер», но ты помогал суду быть «гласным» судом, передавая отчеты об его заседаниях в газете. Ты помогал дать нравственное удовлетворение правым и обиженным, доводя до всеобщего сведения судебные приговоры. Да! Ты пользовался заслуженным уважением как человек. Но почему-то ты, честный слуга честного дела, не мог с гордостью назвать своей профессии: «Я репортер»!

Как скоро умирают люди, и как долго живут предрассудки...

Дорошевич В. М. Избранные страницы. М., 1986. С. 18–22.

В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

Сухаревка

Сухаревка – дочь войны. Смоленский рынок – сын чумы.

Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы.

После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что «все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревской башни». И в первое же воскресенье горы награбленного

имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок.

Это было торжественное открытие вековой Сухаревки.

Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который единственный со своим полком остался верен Петру во время стрелецкого бунта.

Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и «колдун Брюс» делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд – одна нелепее другой.

По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.

Против роскошного дворца Шереметьевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толклось множество народа, и у всякого была своя цель.

Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что исстари Сухаревка была местом сбыта краденного. Вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренные» вещи, скупщики возили их возами. Вещи продавались на Сухаревке дешево, «по случаю». Сухаревка жила «случаем», нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем; или он «укупит» у не знающего цену нуждающегося человека, или из-под полы «товарца» приобретет, а этот «товарец» иногда дымом поджога пахнет, иногда кровью облит, а уж слезами горькими – всегда. За бесценнок купит и дешево продает.

Лозунг Сухаревки: «На грош пятаков!»

Сюда одних гнала нужда, других – азарт наживы, а третьих – спорт, опять-таки с девизом «на грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценнок: окружают барышники, чуть не с силой вырвут. И тут же на глазах перепродадут втридорога. Вор за бесценнок – только бы продать поскорее – бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в боль-

шинстве случаев его надували. Недаром говорили о платье, мебели и прочем: «Сухаревской работы!»

Ходили сюда и московские богачи с тем же поиском «на грош пятаков».

* * *

... Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава – Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мирволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух был единственно знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один только знал все. Его звали «Сухаревский губернатор». ...

Он жил совершенно одиноко, в квартире его – все знали – было много драгоценностей, но он никого не боялся: за него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал: принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами и главным образом с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все – и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица, – ну, разыщет, сами громилы скажут и своего выдадут...

Был с ним курьезный случай: как-то украли медную пушку из Кремля, пудов десяти весу, и приказало ему начальство через три дня пушку разыскать. Он всех воров поднял на ноги.

– Чтоб была у меня пушка! Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян... Чтоб завтра пушка оказалась, где приказано.

На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте, у стены. Благодарность получил.

Уж много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца кремлевской стены послушными громилами, принесена на Антроповы ямы и возвращена в Кремль, а первая так и исчезла.

В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне два ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров.

Громили и карманники очень соболезновали:

– Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было... Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович, – прямо голыми руками бери! ...

* * *

...Из властей предержавших почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Н. И. Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы. И всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно, одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешена такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания.

Особенно он дорожил следующей карикатурой.

Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом (сбор всех частей). На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать.

Подпись:

«Далеко Арапке до тряпки» (в то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве – Арапов).

– Вот идиоты, – говорил Н. И. Огарев.

Ну кто бы догадался! Так бы и прошла насмешка незаметно... Я видел этот номер «Будильника», внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали.

В те времена палаток букинистов было до тридцати. Здесь можно было приобрести все что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты! Шесть дней рыщут – ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а «стрелки» скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собирав-

шимся в трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста и каждый букинист знал каждого покупателя: что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора И. Е. Забелин, Н. С. Тихонравов и Е. В. Барсов.

Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, человек пять, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем за дешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали напрокат книгу, уплачивая по пятачку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали.

Букинисты и антиквары (последних звали «старьевщиками») были аристократической частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь и публика была чище: коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купчества. ...

На этой «аристократической» части Сухаревки вперемижку с букинистами стояли и палатки антикваров.

Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудях барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке в палатках или рогожах около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам: сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала.

И любители роются в товаре и всегда находят что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отправляет домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

– Что покупаете? – спрашиваю как-то его.

– Серебряный звон!

Для Сухаревки это развлечение.

Колокол льют! Шушукуются по Сухаревке – и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся нелепые рассказы и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит:

– Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел... Народишу там!..

Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай:

– Колокол льют!

...С восьмидесятых годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал «серебряный звон». За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших «на грош пятаков».

Это был покупатель со строго определенной целью – купить «серебряный звон», а не «грош пятаков». ...

Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталу, серебру и фарфору, но таких было мало, большинство покупателей мечтало купить за «красненькую» настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его, или купить из «первых рук» краденое бриллиантовое кольцо за полсотни... Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазней, а кольцо – бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать «на грош пятаков». Ни образования, ни знания, ничего, кроме тятенкиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется.

И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез, и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины, с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталась:

– Племянница Венеры Милосской!

– Что?!

– А рука-то где! А вы говорите!

Еще обидится! И пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника.

Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием. ...

Старая Сухаревка занимала огромное пространство в пять тысяч квадратных метров. А кругом, кроме Шереметьевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки – сапожные и с готовым платьем, куда покупателя за-таскивали чуть ли не силой. В ближайших переулках – склады мебели, которую по воскресеньям выносили на площадь.

Главное же, народной Сухаревкой была толкучка и развал.

Какие два образных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит! Или развал: развоят нескончаемыми рядами на рогожах немудреный товар и торгуют кто чем: кто рваной обувью, кто старым железом; кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщами снуют: окружают, затырят, вытасят. Кричи «караул» – никто и не послушает, разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул! Ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и ба-рышники шайками. ...

После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью.

В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца – один за правую руку, другой за левую.

За два рубля чиновник покупает подержанные штиблеты, обувается и уходит, лавируя между лужами.

Среди торговцев – спор:

– Не дойдет!

– Дойдет!

– На пару пива?

– На сколько?

– На четверть часа.

– Пошло.

– Нет, бриться идет!

Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке, тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал. Здесь бритье стоило три копейки, а стрижка – пять.

По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неуме-

лый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано: «бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить!

– Ну, недорезанный, садись! – приглашает его на тумбу московский Фигаро.

Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту галдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал.

Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.

– Пожалте-с, у нас покупали!

Тащат и тащат. Хочешь не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики: всякий свое дело делает и свои заученные слова говорит. Срепетовка ролей и исполнение удивительные. Заставят пересмотреть, а то и примерить все: и шубу, и пальто, и поддевку.

– Да ведь мне ничего не надо!

– Теперь не надо. Опосля понадобится. Лишнее знание не повредит. Окромя пользы, от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар – своими глазами убедились.

Шумит зазывала на улице у лавки.

Идет строгая дама.

– Сударыня, сударыня! Из брюк чего-нибудь не желаете ли!.. – кричит ей вдогонку при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих.

А какие там типы бывали! Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на масленицу и Пасху в балаганы на Девичьем поле в деды-зазывалы. Ему было под сорок, жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макариевич. Не Макарыч, а из поколения – Макариевич.

У лавки солидный и важный, он был в балагане неузнаваем с своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:

– Ррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны¹ – двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. – И пойдет и пойдет...

Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди «Юшку-комедианта» слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы. А он седой бородой трясет, да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

¹ Женщина с бородой, которую в то время показывали в цирках и балаганах.

– Чего ты чужой карман шарить?

И все завертят головами, а он уже дальше: ворону увидал – и к ней.

– Дура ты, дура! Куда тебя зря нечистая сила прет... Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у, к началу!

Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз.

А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет:

– Эге-эге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем. Знай наших, не умирай скорча.

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается.

Толпа замрет.

– Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя!

И балаган всегда полон, где Юшка орет.

Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпой. Он мне ответил:

– Это что, толпа – баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на Сухаревке попробуй! Мужик в одиночку втолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще труднее – кулугуру степному, да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под Девичьим, а в сто раз потруднее! А у меня за тридцать лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты – толпа. Толпу... зимой купаться уговорю!

Сухаревка была особым миром, никогда более не повторяемым. Она вся в этом анекдоте:

Один из посетителей шмаровинских «сред», художник-реставратор, возвращаясь в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала, по обыкновению, заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имеющейся у него.

Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище!

А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру.

Он купил свою собственную вазу!

*Гиляровский В. А. Сочинения: В 2 т. Калуга, 1994. Т. 1.
С. 36–39, 42–45, 49, 51–53.*

ЦЕНЗУРА: ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Устав о цензуре и печати

Если по соображениям высшего правительства найдено будет неудобным оглашение или обсуждение в печати в течение некоторого времени какого-либо вопроса государственной важности, то редакторы изъятых от предварительной цензуры повременных изданий постановляются о том в известность через Главное Управление по делам печати по распоряжению министра Внутренних Дел.

1873, июнь 16.

Устав о цензуре и печати. СПб., 1890. Ст. 140. С. 21.

Если распространение освобожденной от предварительной цензуры книги или номера повременного издания, выходящего без цензуры реже одного раза в неделю, министром Внутренних Дел признано будет особенно вредным, то он может, сделав распоряжение о предварительном задержании такого произведения, представить о запрещении оного в свет на окончательное разрешение Комитета министров.

1872, июнь 7.

Устав о цензуре и печати. СПб., 1890. Ст. 149. С. 22.

Министру Внутренних Дел предоставляется, в случае неисполнения редактором выходящего в свет без предварительной цензуры повременного издания распоряжения о несоглашении или необсуждении в печати какого-либо вопроса государственной важности (ст. 140), приостановить выпуск в свет такого издания не свыше трех месяцев.

1873, июнь 16.

Устав о цензуре и печати. СПб., 1890. Ст. 156. С. 23.

Распоряжения о печати

Августа 27. Высочайше утвержденное положение Комитета министров (Собр. Узак. 1882 г. Сентября 14, ст. 639) – *О временных мерах относительно периодической печати.*

Комитет министров, рассмотрев представление министра Внутренних Дел о временных правилах для печати, полагал: впредь до

изменения в законодательном порядке действующих постановлений о печати постановить:

I. Редакции выходящих в свет не менее одного раза в неделю повременных изданий, вызвавших третье предостережение, обязываются, по истечении срока приостановки (ст. 50 прил. к ст. 4 примеч. Уст. ценз.: т. XIV Свода Зак. По Прод. 1876 г.) и по возобновлении представлять нумера их для просмотра в Цензурные комитеты не позже 11 часов вечера, накануне дня выпуска в свет, причем цензорам предоставляется право, в случаях усматриваемого ими значительного вреда от распространения такого повременного издания, приостанавливать выход его в свет, не возбуждая судебного преследования против виновных. Порядок представления поименованных в сем пункте повременных изданий в цензуру для просмотра, а также срочность или бессрочность сего обязательства – устанавливаются по ближайшему рассмотрению министра Внутренних Дел.

II. Редакции повременных изданий, выходящих без предварительной цензуры, обязываются по требованию министра Внутренних Дел сообщать звания, имена и фамилии авторов статей, печатаемых в упомянутых изданиях.

III. Вопросы о совершенном прекращении повременных изданий, выходящих как под предварительную цензуру, так и без нее, или о приостановке их без определения срока ее, с воспрещением редакторам и издателям оных быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий, предоставляются совокупному обсуждению и разрешению трех министров: внутренних дел, народного просвещения и юстиции и обер-прокурора святейшего синода, при участии сверх того и тех министров или главноуправляющих отдельными частями, коими возбуждаются подобные вопросы. Порядок решения таких дел подчиняется общим для коллегиальных учреждений основаниям.

IV. Вышеприведенные правила распространяются в одинаковой степени и на повременные издания, арендуемые у правительственных и ученых учреждений.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье.
Том 2. 1882 г. СПб., 1886. С. 390–391. № 1072.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
----------------------	---

XVIII ВЕК

1. ЖУРНАЛИСТИКА ПЕРИОДА МОНОПОЛИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

Указ от 16/28 декабря 1702 года	4
«Ведомости» (1702–1727)	4
«Примечания» (1728–1742)	7
Известия о северном морском ходе россиян из уст некоторых рек, впадающих в ледяное море, для проведывания восточных стран	7
М. В. Ломоносов	
О должности журналистов в изложении ими сочинений, назначенных для поддержания свободы рассуждений	10

2. ИДЕИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Начало частноиздательской практики. А. П. Сумароков	
О домостроительстве	12
Сон. Счастливое общество	14
Н. И. Новиков	
Трутень	18
Д. И. Фонвизин	
Всеобщая придворная грамматика	24
Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей	27
И. А. Крылов	
«Почта духов»	32
А. Н. Радищев	
Беседа о том, что есть сын Отечества	33
П. А. Плавильщиков	
Нечто о врожденном свойстве душ российских	40
Цензура: документы и материалы	44

XIX ВЕК

3. ЖУРНАЛИСТИКА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

И. М. Борн	
На смерть Радищева	46
В. В. Попугаев	
Негр	47

И. П. Пнин	
Гражданин	48
Письмо к издателю	49
О влиянии правительства на промышленность	52
В. К. Кюхельбекер	
Земля безглавцев	54
А. А. Бестужев	
Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов	57
Цензура: документы и материалы	62
 4. ЖУРНАЛИСТИКА 30-х ГОДОВ XIX ВЕКА	
Н. А. Полевой	
Письмо издателя к NN	66
А. С. Пушкин	
О записках Видока	68
Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов	69
Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем	76
Газета «Северная пчела»	
Внутренние известия	80
Смесь	81
Нравы	84
Моды	86
Современная политика	87
Корреспонденция	89
От издателей Северной Пчелы и Сына Отечества к читателям	91
Объявление	92
О. И. Сенковский	
Аукцион	92
Теория образованной беседы	96
 5. ЖУРНАЛИСТИКА 40-х ГОДОВ XIX ВЕКА	
В. Г. Белинский	
Ничто о ничем	99
«Парижские тайны»	104
Письмо к Гоголю	107
Взгляд на русскую литературу 1847 года	115
А. И. Герцен	
«Москвитянин» и вселенная	120
А. А. Григорьев	
Гоголь и его последняя книга	125
В. Н. Майков	
Общественные науки в России	134
Об отношении производительности к распределению богатства	139

И. Киреевский	
О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России	145
А. С. Хомяков	
О старом и новом	151
Избранные места из сочинений	157
6. ЖУРНАЛИСТЫ 1850–1860-х ГОДОВ О ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА	
А. С. Хомяков	
О возможности русской художественной школы	163
Е. Н. Эдельсон	
Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической критики	168
П. В. Анненков	
О мысли в произведениях изящной словесности	179
О значении художественных произведений для общества	180
А. В. Дружинин	
Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения	182
Ап. Григорьев	
Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства	186
Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина	192
И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо»	193
После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу	195
В. П. Боткин	
Стихотворения г. Фета	196
М. А. Антонович	
О почве (не в агрономическом смысле, а в духе времени)	198
Н. Н. Страхов	
Бедность нашей литературы	204
Отцы и дети (Время. 1862. №4)	208
7. ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ЛОНДОНЕ	
Братьям на Руси	216
Крещеная собственность	217
Объявление о «Полярной звезде»	220
Предисловие к «Колоколу»	221
(Сечь или не сечь мужика?)	224
Под спудом	225
Нас упрекают	227

Из отдела «Смесь»	230
От редакции	230
(Письмо из провинции)	234
Н. Г. Чернышевский	238

8. ЖУРНАЛИСТИКА 60-х ГОДОВ XIX ВЕКА

Н. Г. Чернышевский	
Об искренности в критике	239
Критика философских предубеждений против общинного землевладения	241
Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X	242
Русский человек на rendez-vous	245
Г-н Чичерин как публицист	247
Современник. Политика. 1859 г. № 8	250
Суеверие и правила логики	253
Материалы для решения крестьянского вопроса	254
Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов Г. К. Кэри	256
Барским крестьянам от их доброжелателей поклон	259
Н. А. Добролюбов	
Что такое обломовщина?	263
Новый кодекс русской практической мудрости	269
Темное царство	270
Народное дело. Распространение обществ трезвости	272
Из письма С. Т. Славутинскому	275
Г. З. Елисеев	
Внутреннее обозрение мартовского номера «Современника» за 1861 год	276
М. Е. Салтыков-Щедрин	
Наша общественная жизнь	276
Материалы из сатирической газеты «Свисток»	
Н. А. Добролюбов	
Юное дарование, обещающее поглотить всю современную поэзию	281
Н. А. Некрасов	
Отъезжающим за границу	283
Козьма Прутков	
Проект введения единомыслия в России	286
Д. И. Писарев	
Пчелы	288
К. С. Аксаков	
О внутреннем состоянии России	293
Статьи из «Молвы» (1857 г.)	304
Цензура: документы и материалы	308

9. ЖУРНАЛИСТИКА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

М. Е. Салтыков-Щедрин	
Мелочи жизни	311
V. В сфере сеяния	335
Письма к тетеньке	349
Приключение с Крамольниковым	354
Н. В. Шелгунов	
Очерки русской жизни	362
В. Г. Короленко	
Павловские очерки	367
Мултанское жертвоприношение	374
В. М. Дорошевич	
Репортер	380
В. А. Гиляровский	
Сухаревка	384
Цензура: документы и материалы	393

Учебное издание

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
XVIII–XIX ВЕКОВ

Тексты

Составитель Иванова Любовь Дмитриевна

Редактор Т. А. Сасина
Компьютерная верстка Н. В. Комардиной

Лицензия ИД № 05974 от 03.10.2001. Подписано в печать 20.11.2001.
Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Бумага для множительных аппаратов. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 22,6. Усл. печ. л. 23,25. Тираж 1000 экз. Заказ **576**
Издательство Уральского университета. 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.